

Закон цивилизации и упадка: Очерк истории

Брукс Адамс

The image shows the front cover of the book 'The Law of Civilization and Decay' by Brooks Adams. The cover is a light cream or yellowish color with a slightly textured appearance. The title is printed in a black, serif font, centered on the page. The words 'THE LAW OF' are on one line, 'CIVILIZATION AND DECAY' are on the next line, and 'An Essay on History' is on the third line in a smaller, bold, blackletter-style font. Below the title, the author's name 'BROOKS ADAMS' is printed in a small, black, sans-serif font, preceded by the word 'BY' on the line above.

THE LAW OF
CIVILIZATION AND DECAY

An Essay on History

BY

BROOKS ADAMS

Электронная книга проекта Гутенберга "Закон цивилизации и упадка: очерк истории"

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Закон цивилизации и упадка: Очерк истории

Автор: Брукс Адамс

Дата выхода: 14 февраля 2014 г. [Электронная книга № 44908]

Последнее обновление: 24 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: спродюсировано Шоном (scribe_for_hire@yahoo.com) на основе изображений страниц, щедро предоставленных в Интернете архивом (<https://archive.org/details/lawofcivilizatio00adam>).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ЗАКОН ЦИВИЛИЗАЦИИ И УПАДКА: ОЧЕРК ИСТОРИИ" ***

ЗАКОН цивилизации и упадка : Очерк истории

АВТОР BROOKS ADAMS

Нью-Йорк

КОМПАНИЯ MACMILLAN

ЛОНДОН: MACMILLAN & CO., Ltd.

1897

Все права защищены

Авторское право, 1896,

Компанией MACMILLAN COMPANY.

Настроено и напечатано на электротипе в сентябре 1896 года. Перепечатано в феврале, сентябре 1897 года.

Норвуд Пресс

Дж. С. Кушинг и Ко. Berwick & Smith

Норвуд, Массачусетс, США

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая вниманию публики второе издание *Закона цивилизации и упадка*, я пользуюсь возможностью, чтобы решительно заявить, что ценность, которой может обладать это эссе, заключается в его свободе от любых предвзятых предубеждений. Все теории, содержащиеся в книге, будь то религиозные или экономические, являются следствием, а не причиной того, как разворачивались факты. Я был пассивен.

Ценность истории заключается не во множестве собранных фактов, а в их связи друг с другом, и в этом отношении автор может нести не большую ответственность, чем любой другой научный наблюдатель. Если последовательность событий, по-видимому, указывает на существование закона, управляющего общественным развитием, такой закон может быть предложен, но одобрять или не одобрять его было бы так же бесполезно, как обсуждать моральные основы всемирного тяготения.

Несколько лет назад, когда я писал очерк истории колонии Массачусетского залива, я глубоко заинтересовался некоторыми религиозными аспектами Реформации, которые, казалось, с трудом согласуются с теориями, обычно выдвигаемыми для их объяснения. После того как книга была опубликована, я продолжил читать богословие и шаг за шагом вернулся через схоластов и крестовые походы к возрождению паломничества в Палестину, которое последовало за обращением гуннов. Как свирепые язычники, гунны долгое время закрывали дорогу в Константинополь; но перемена, охватившая Европу после 1000 года, когда был коронован святой Стефан, была очевидна: Запад получил импульс с Востока. Таким образом, я убедился, что религиозный энтузиазм, который, стимулируя паломничество, восстановил сообщение между Босфором и Рейном, был той силой, которая привела к ускоренному движению, достигшему кульминации в современной централизации.

Тем временем я думал, что обнаружил не только то, что вера в течение одиннадцатого, двенадцатого и начала тринадцатого веков выражалась преимущественно через архитектуру, но также и то, что, по крайней мере, во Франции и Сирии существовала четкая связь между церковной и военной системами строительства, и что одно невозможно понять без другого. В торговых городах той же эпохи, напротив, религиозная идея не принимала определенной формы художественного выражения, поскольку готика никогда не процветала в Венеции, Генуе, Пизе или Флоренции, и ни одна чистая школа архитектуры не процветала в атмосфере меркантилизма. Более того, торговля с самого начала казалась враждебной воображению, поскольку после великой торговой экспансии XIII века по всей Европе начался всеобщий упадок архитектуры; и вывод, который я сделал из этих фактов, заключался в том, что экономический инстинкт, должно быть, выбрал какое-то другое средство для своего выражения. Мои наблюдения привели меня к предположению, что чеканка монет может быть таким средством, и в конечном итоге я пришел к выводу, что, если мы хотим понять развитие торгового сообщества, к нему нужно подходить через его деньги.

Еще одним убеждением, пришедшим мне в голову в результате изучения длительных периодов истории, была чрезвычайно малая роль сознательной мысли в формировании судеб людей. В

момент действия человек почти неизменно повинуется инстинкту, подобно животному; только после прекращения действия он размышляет.

Эти контролирующие инстинкты произвольны и разделяют людей на виды, достаточно отличные друг от друга, чтобы вызывать противоположные эффекты в идентичных условиях. Например, побуждаемый страхом, один тип бросится на врага, а другой убежит; в то время как любовь к женщинам или деньгам наложила отпечаток на определенные расы так же сильно, как свирепость или хитрость наложила отпечаток на льва или лису.

Как и другие личностные характеристики, особенности психики, по-видимому, в значительной степени передаются по наследству, и, если эти инстинкты передаются из поколения в поколение, очевидно, что по мере изменения внешнего мира те, кто получает это наследие, должны подниматься или опускаться по социальной лестнице в зависимости от того, хорошо или плохо их нервная система приспособлена к условиям, в которых они родились. Нет ничего более обыденного, например, чем обнаружить семьи, которые были знамениты в одном столетии, погружающиеся в безвестность в следующем, не потому, что дети выродились, а потому, что определенная сфера деятельности, которая давала предку полный простор, была закрыта для его потомства. Особенно это было верно в революционные эпохи, такие как Реформация; и семьи, занимавшие такое положение, очень часто вымирали.

Когда эта стадия была достигнута, Реформация начала приобретать новый облик, но прошло несколько лет, прежде чем я увидел, к чему привели мои исследования. Лишь очень медленно последовательность причин и следствий оформилась в моем сознании, последовательность совершенно неожиданная по своему характеру, рост которой напоминал расположение фрагментов надписи, которую нельзя прочесть, пока камни не будут установлены в определенном порядке. Наконец, когда историческая работа подходила к концу, я осознал, что исследуемые интеллектуальные феномены укладываются в ряд, который, казалось, несколько близко соответствовал законам, которые, как предполагается, регулируют движения материальной вселенной.

Теории можно проверить, только применив их к фактам, а факты, относящиеся к последовательным фазам человеческой мысли, сознательной или бессознательной, составляют историю; следовательно, если интеллектуальные явления развиваются в регулярной последовательности, история, как и материя, должна подчиняться закону. В подтверждение такого предположения я рискнул предложить гипотезу, с помощью которой можно классифицировать несколько наиболее интересных интеллектуальных фаз, через которые, по-видимому, должно пройти человеческое общество в своих колебаниях между варварством и цивилизацией или, что то же самое, в своем движении от состояния физической дисперсии к состоянию концентрации. Прилагаемый том содержит доказательства, на основании которых была выдвинута гипотеза, хотя вряд ли есть необходимость добавлять, что эссе такого объема на столь обширную тему можно рассматривать только как предположение.

Предлагаемая теория основана на общепринятом научном принципе, согласно которому закон силы и энергии имеет универсальное применение в природе и что животный мир является одним из источников рассеивания солнечной энергии.

Исходя из этого фундаментального положения, первый вывод состоит в том, что, поскольку человеческие общества являются формами животной жизни, эти общества должны

различаться между собой по энергии в той мере, в какой природа более или менее обильно снабдила их энергетическим материалом.

Мышление - это одно из проявлений человеческой энергии, и среди ранних и более простых фаз мышления выделяются две - Страх и Жадность. Страх, который, стимулируя воображение, создает веру в невидимый мир и, в конечном счете, развивает духовенство; и Жадность, которая растрчивает энергию на войну и торговлю.

Вероятно, скорость социального движения любого сообщества пропорциональна его энергии и массе, а его централизация пропорциональна его скорости; следовательно, по мере ускорения человеческого движения общества централизуются. На ранних стадиях концентрации страх представляется каналом, по которому энергия находит наиболее быстрый выход; соответственно, в примитивных и разрозненных сообществах воображение живое, и вырабатываются ментальные типы - религиозные, военные, художественные. По мере продвижения консолидации страх уступает место жадности, и экономический организм стремится вытеснить эмоциональный и воинственный.

Всякий раз, когда раса настолько богата наделена энергетическим материалом, что не расходует всю свою энергию в повседневной борьбе за жизнь, излишки могут накапливаться в форме богатства; и этот запас накопленной энергии может передаваться от сообщества к сообществу либо путем завоевания, либо путем превосходства в экономической конкуренции.

Каким бы большим ни был запас энергии, накопленный в результате завоеваний, раса рано или поздно должна достичь предела своей боевой энергии, когда она должна вступить в фазу экономического соперничества. Но поскольку экономический организм радикально отличается от эмоционального и военного, результатом экономической конкуренции, возможно, неизменно было рассеивание энергии, накопленной войной.

Когда избыточная энергия накапливается в таких количествах, что перевешивает производительную, она становится управляющей социальной силой. С этого момента капитал становится авторитарным, и энергия изливается через те организмы, которые лучше всего приспособлены для выражения власти капитала. На этой последней стадии консолидации развивается экономический и, возможно, научный интеллект, в то время как воображение угасает, а эмоциональный, воинственный и художественный типы мужественности приходят в упадок. Когда социальная скорость достигнута, при которой растрата энергетического материала настолько велика, что запасы воинственности и воображения не в состоянии воспроизводиться сами собой, обостряющаяся конкуренция, по-видимому, порождает два крайних экономических типа: ростовщика в его наиболее грозном обличье и крестьянина, нервная система которого лучше всего приспособлена к выживанию на скудной пище. Наконец, должна быть достигнута точка, когда давление не может идти дальше, и тогда, возможно, может последовать одно из двух результатов: может наступить период застоя, который может длиться до тех пор, пока не закончится война, истощение или то и другое вместе взятое, как, по-видимому, было в случае с Восточной империей; или, как в случае с Западной, может начаться дезинтеграция, цивилизованное население может погибнуть, и может произойти возврат к примитивной форме организма.

Однако факты, по-видимому, указывают на вывод о том, что когда высокоцентрализованное общество распадается под давлением экономической конкуренции, это происходит потому, что

энергия расы исчерпана. Следовательно, выжившим членам такого сообщества не хватает энергии, необходимой для возобновления концентрации, и они, вероятно, должны оставаться инертными до тех пор, пока не получают свежий энергетический материал путем вливания крови варваров.

БРУКС АДАМС.

Куинси, 20 августа 1896 года.

Содержание

ГЛАВА I

	СТРАНИЦА
Римлян	1

ГЛАВА II

Средневековье	48
---------------	----

ГЛАВА III

Первый крестовый поход	79
------------------------	----

ГЛАВА IV

Второй крестовый поход	103
------------------------	-----

ГЛАВА V

Разрушение Константинополя	124
----------------------------	-----

ГЛАВА VI

Разрушение Храма	152
------------------	-----

ГЛАВА VII

Английская реформация	186
-----------------------	-----

ГЛАВА VIII

Разрушение монастырей	220
-----------------------	-----

ГЛАВА IX

Изгнание йоменов	243
------------------	-----

ГЛАВА X

Испания и Индия	286
-----------------	-----

ГЛАВА XI

Современная централизация	313
---------------------------	-----

ГЛАВА XII

Заключение	352
------------	-----

Указатель	385
-----------	-----

ГЛАВА I РИМЛЯНЕ

Когда римляне впервые вышли из тумана сказок, они уже были расой землевладельцев, которые владели своей собственностью раздельно, и, поскольку было установлено право отчуждения, началось формирование относительно крупных поместий. Обычная семья, однако, владела, возможно, двенадцатью акрами, и, поскольку земля была пахотной и производила основное зерно, она обеспечивала плотное сельское население. Земледельцы, возделывавшие эту землю, принадлежали к военному типу и, вероятно, по этой причине, хотя и были в высшей степени одарены как администраторы и солдаты, были плохо приспособлены к тому, чтобы выдерживать напряжение неограниченной экономической конкуренции централизованного общества. Следовательно, едва их завоевания укрепились, как начался упадок, причины которого можно проследить до тех пор, пока они не затеряются на заре истории.

Латиняне не отличались экономической гибкостью; им не хватало инстинкта греков к торговле или сирийцев и индусов к мануфактуре. По сути, они были землевладельцами, а когда были наделены способностью к приобретению, - ростовщиками. Последние рано развились в отдельный вид, обладающий одновременно более тонким интеллектом и более упорным образом жизни, чем фермеры, и от несоответствия между этими двумя типами людей зависела судьба всей последующей цивилизации. В глубокой древности римское общество разделилось на кредиторов и должников; по мере консолидации власть первых возрастала, тем самым усиливая давление на слабых, пока, когда централизация достигла кульминации при цезарях, воспроизводство не замедлилось, начался распад, и после нескольких столетий упадка началось средневековье.

История монархии, вероятно, всегда должна оставаться предметом догадок, но представляется достаточно очевидным, что изгнание Тарквиниев было победой наследственной денежной касты, которой удалось сконцентрировать функции правительства в практически самовоспроизводящемся органе, созданном из их собственного ордена.^[1] Нибур продемонстрировал в одной из своих самых ярких глав, что ростовщичество изначально было привилегией патрициев; и некоторые из самых ожесточенных столкновений ранней республики, по-видимому, были решены против олигархии богатыми плебеями, которые были полны решимости разрушить монополию на ростовщичество. Во всяком случае, условия жизни явно благоприятствовали развитию инстинкта, который заставляет его обладателя высасывать жизненные силы из экономически слабых; и Маколей в предисловии к "*Вирджинии*" дал настолько яркую картину господствующего класса, что по крайней мере один отрывок следует прочитать целиком.

“Правящий класс в Риме был богатым классом; и он издавал законы и приводил их в исполнение исключительно в своих собственных интересах. Таким образом, отношения между кредитором и заемщиком были смешаны с отношениями между сувереном и подданным.

Великие люди держали значительную часть общества в зависимости с помощью огромных ростовщических авансов. Закон о долге, созданный кредиторами и предназначенный для защиты кредиторов, был самым ужасным из всех, когда-либо известных людям. Свобода и даже жизнь неплатежеспособных зависели от милости ростовщиков-патрициев. Дети часто становились рабами из-за несчастий своих родителей. Должник был заключен в тюрьму, но не в государственную тюрьму под присмотром беспристрастных государственных чиновников, а в частный работный дом, принадлежащий кредитору. Об этих подземельях рассказывали страшные истории”.

Но пленник - это расходы, а патриции хотели денег. Их задача состояла в том, чтобы истощить производительную силу должника, прежде чем продавать его, и, поскольку у рабов энергии меньше, чем у свободных людей, была разработана система, при которой плебеи оставались на своей земле и побуждались к труду надеждой освободить себя и своих детей от рабства. Нибур подробно объяснил, как это было сделано.

За взвешенные деньги человек мог заложить себя, свою семью и все, что ему принадлежало. В этом состоянии он становился *нексусом* и оставался во владении своим имуществом до нарушения условия, когда кредитор мог действовать в упрощенном порядке.^[2] Такой контракт удовлетворял требованиям, и ростовщикам оставалось только придумать судебное решение, достаточно серьезное для взыскания долга, чтобы заставить должника стать *нексусом*, когда ему была предложена альтернатива. Это не составило труда. Когда было возбуждено дело, у ответчика было тридцать дней отсрочки, а затем он был арестован и доставлен к претору. Если он не мог ни заплатить, ни найти залог, его заковывали в кандалы весом не менее пятнадцати фунтов и отводили домой к истцу. Там ему выдавали фунт кукурузы в день и давали шестьдесят дней на то, чтобы рассчитаться. Если он терпел неудачу, его снова приводили к претору и приговаривали. Согласно этому приговору, он мог быть продан или казнен, и, если истцов было несколько, они могли разделить его среди них, и ни одно лицо не несло ответственности за то, что разделало больше своей доли.^[3] Человек, приговоренный таким образом, затронул своих потомков, и поэтому, вместо того чтобы подчиниться, весь класс должников превратился в *пехи*, вечно трудившихся над выполнением контрактов, которые были им совершенно не по силам, и год от года все безнадежнее увязавших в долгах, поскольку обычно накопленные проценты вскоре увеличивали “основную сумму во много раз по сравнению с первоначальной суммой”.^[4] Нибур таким образом подытожил экономическую ситуацию:—

Чтобы понять положение должников-плебеев, пусть читатель, если он деловой человек, вообразит, что все частные долги в данной стране в течение года обращались в векселя с процентами в размере двадцати процентов или более; и что за их неуплату в упрощенном порядке следовало тюремное заключение и передача всего имущества должника его кредитору, даже если оно превышало сумму, которую он задолжал. Нам не нужны эти дополнительные обстоятельства, несовместимые с нашими нравами, личное рабство должника и его детей, чтобы составить представление об ужасном положении несчастных плебеев”.^[5]

Таким образом, ростовщик сначала истощал семью, а затем продавал ее; и поскольку его класс питался неплатежеспособностью и контролировал законодательство, законы были изобретательны как для создания долга, так и для того, чтобы сделать его прибыльным при заключении контракта. Одним из характерных приемов было предоставленное магистрату право налагать штрафы за “нарушения порядка”. Под этим заголовком “люди могли выдвигать

любые обвинения, какие им заблагорассудится, и благодаря более высоким классам шкалы штрафов они могли добиться всего, чего пожелали”.[6] Поскольку капиталисты владели судами и отправляли правосудие, у них были под рукой средства разорить любого плебея, чья собственность казалась заманчивой. Тем не менее, оплот ростовщичества находился в фискальной системе, которая вплоть до падения Империи была двигателем действующего банкротства. Политика Рима заключалась в том, чтобы распределять налоги; то есть, после оценки, продавать их мытарю, который собирал все, что мог. Бизнес был прибыльным в той мере, в какой он был грабительским, и страна подвергалась нерегулируемому законом налогу, направленному на обогащение спекулянтов. “Ubi publicanus est,” said Livy, quoting the Senate, “ibi aut jus publicum vanum, aut libertatem sociis nullam esse.”[7]

Ростовщичество было сливками этого бизнеса. Обычай заключался в том, чтобы давать неплательщикам займы под такие высокие проценты, что за этим почти наверняка следовало банкротство; затем людей казнили, и охота на рабов стала обычным подразделением налоговой службы. Во времена Цицерона движение транспорта опустошило целые провинции Малой Азии. Воздействие на латинское общество пятого века до нашей эры было исключительно разрушительным. Италия была полна мелких государств, постоянно воюющих, войска представляли собой неоплачиваемое ополчение, в состав которого входило все трудоспособное население, и хотя в хорошие времена фермы приносили достаточно урожая для семьи, когда мужчины служили в легионах, рабочей силы, несомненно, не хватало. Таким образом, кампании принесли нужду, а с нуждой пришла и неспособность платить налоги.

Еще во время Тунической войны Регул попросил освободить его от командования, потому что смерть его раба и некомпетентность нанятого им человека оставили его поля без присмотра; и если полководец и консул были стеснены отсутствием, то можно себе представить, что случилось с людьми в рядах. Даже в случае победы участь простого солдата была достаточно тяжелой, поскольку, помимо вероятности ранений и болезней, существовала еще и определенная потеря времени, за которую не было произведено никакой компенсации. Хотя плебеи составляли всю линейную пехоту, они не получили никакой части завоеванных земель, и даже награбленное было отнято у них и присвоено патрициями в их личное пользование.[8] В результате поражения открытая местность была захвачена, скот угнан или забит, фруктовые деревья вырублены, посевы опустошены, а дома сожжены. Говоря о галльском вторжении, Нибур указал, что опустошение противника и новые налоги, установленные для восстановления разрушенных общественных сооружений, привели к общей несостоятельности.[9]

Такие условия способствовали быстрому распространению различных типов мышления, и в очень ранний период римляне были воспитаны без воинского инстинкта, но более хитрыми и жизнестойкими, чем солдаты. Это были люди, которые придумали и привели в исполнение законы о ростовщичестве и которые считали личные обязательства самой дорогой привилегией своего ордена; Ливий также не пытается скрыть тот факт, “что каждый патрицианский дом был тюрьмой для должников; и что в периоды великих бедствий, после каждого заседания суда, стада приговоренных рабов вводили в цепях в дома знати”.[10]

Семья Клавдиев была известным представителем этого грозного типа, и картина, нарисованная Макколеем о великом ростовщике Аппии Клавдии, децемвире, настолько блестящая, что ее нельзя пропустить.

“Appius Claudius Crassus ... происходил из длинной линии предков, отличавшихся своим надменным поведением и непреклонностью, с которой они противостояли всем требованиям плебейского сословия. В то время как политическое поведение и манеры знати Клавдиев вызывали к ним самую яростную общественную ненависть, их обвиняли в отсутствии, если можно сделать хоть какую-то честь ранней истории Рима, класса качеств, которых в военном содружестве достаточно, чтобы покрыть множество преступлений. Главы семейства, по-видимому, были красноречивы, сведущи в гражданских делах и образованны по моде своего времени; но на войне они не отличались искусством или доблестью. Некоторые из них, как будто сознавая, в чем заключается их слабость, занимая высшие должности в магистратуре, сделали внутреннее управление своим отделом общественных дел, а военное командование оставили своим коллегам. Одному из них доверили армию, и он с позором потерпел неудачу. Никто из них не был удостоен триумфа....

“Его дед, которого звали, как и его самого, Аппий Клавдий, оставил имя, столь же ненавистное, как имя Секста Тарквиния. Этот старший Аппий был консулом более чем за семьдесят лет до введения Лицинианских законов. Воспользовавшись чрезвычайным кризисом общественных настроений, он заручился согласием палаты общин на отмену должности трибуна и был главой того Совета Десяти, которому было поручено все руководство государством. За несколько месяцев его администрация стала повсеместно одиозной. Она была сметена неудержимой вспышкой народного гнева; и память о ней до сих пор вызывала отвращение у всего города. Говорили, что непосредственной причиной падения этого отвратительного правительства было покушение Аппия Клавдия на целомудрие красивой молодой девушки скромного происхождения. История гласила, что децемвир, не сумев добиться успеха с помощью взяток и вымогательств, прибегнул к возмутительному акту тирании. Подлый иждивенец дома Клавдиев предъявил права на девицу как на свою рабыню. Дело было передано в суд Аппия. Нечестивый мировой судья, вопреки самым ясным доказательствам, вынес решение в пользу истца. Но отец девушки, храбрый солдат, спас ее от рабства и бесчестия, ударив ножом в сердце на глазах у всего Форума. Этот удар послужил сигналом к всеобщему взрыву. Лагерь и город восстали сразу; Десять человек были низложены; должность трибуна была восстановлена; и Аппий избежал рук палача только благодаря добровольной смерти”.[11]

Виргиния была убита в 449 году до нашей эры, как раз в разгар долгих потрясений, которые начались с присоединения к Святой горе и закончились законами Лициния. В течение этого столетия с четвертью ростовщичество истощило жизненные силы Рима. Нибур, несомненно, был прав в своем предположении, что мятежные легионы были заполнены некси, для которых сохранение существующего статуса означало рабство, и Моммзен также указал, что потрясения третьего и четвертого веков, когда казалось, что римское общество должно распасться, были вызваны “несостоятельностью среднего класса землевладельцев”.[12]

Будь Италия более спокойной, не исключено, что мелкие фермеры уже тогда погрязли бы в крепостном праве, которое ожидало их при империи, поскольку в мирное время патриции могли бы подавлять восстания вместе со своими клиентами; но накопление капитала едва началось, и должно было пройти несколько столетий, прежде чем деньги обрели свою окончательную форму в постоянной армии. Между тем войска требовались почти каждый год для защиты города; и, поскольку легионы были ополчением, они были врагом, а не инструментом обогащения. Однако до организации постоянной платной полиции они были высшим проявлением силы, и в противостоянии им денежная олигархия была беспомощна, что было

доказано переходом к Священной Монсе. Буря собиралась медленно. Сельское население было подавлено законами о ростовщичестве, и в 495 году до н.э. фермеры отказались платить налог. Консулу Публию Сервилию пришлось приостановить судебное преследование за долги и освободить должников из тюрем; но в конце кампании обещания, данные им в момент опасности, были отменены Аппием Клавдием, который строго следил за соблюдением законодательства о ростовщичестве и который в то время был слишком силен, чтобы ему можно было противостоять.

В том году люди подчинились, но на следующий легионам снова пришлось собираться; они снова вернулись с победой; их требования снова были отклонены; и тогда, вместо того чтобы распуститься, они двинулись боевым порядком в округ Крустумерия и заняли холм, который с тех пор назывался Священной Горой.^[13] Соппротивление даже не предпринималось; и точно такая же капитуляция была повторена в 449 году. Когда Виргиний заколол свою дочь, он бежал в лагерь, а его товарищи схватили знамена и двинулись на Рим. Сенат немедленно уступил, издал декрет об упразднении децемвирата, и победоносные когорты, выстроившиеся на Авентине, избрали своих трибунов.

Наконец, в последней великой борьбе, когда Камилл был назначен диктатором, чтобы принуждать народ, он обнаружил себя бессильным. Денежная олигархия рухнула при столкновении с вооруженной силой; и Камилл, вынужденный действовать в качестве посредника, поклялся построить храм Согласия при принятии законов Лициния.^[14] Законы Лициния предусматривали частичную ликвидацию, а также увеличение средств класса должников путем перераспределения общественной земли. Эта земля была захвачена в ходе войны и была монополизирована патрициями без какого-либо особого законного права. Лициний добился принятия закона, согласно которому для погашения основной суммы долга должны применяться невыплаченные проценты, а остающиеся к погашению остатки должны погашаться тремя ежегодными платежами. Он также ограничил количество общественного достояния, которым мог владеть любой человек, и распорядился, чтобы остаток, оставшийся после приведения всех владений к этому стандарту, был распределен участками площадью в пять акров.

Пирр видел глазами солдата, что сила Рима заключалась не в его полководцах, которые часто были ниже его по положению, а в его фермерах, которых он не мог сокрушить поражением, и это был класс, пользующийся благосклонностью законов Лициния. Они значительно умножились, когда ростовщики капитулировали, и, как заметил Маколей, эффект реформы был “исключительно счастливым и славным”. Это было действительно не что иное, как завоевание Италии. Рим“, в то время как инвалидность плебеев продолжалась ... едва смогла удержать свои позиции против вольсков и герниканцев. Когда эти недостатки были устранены, она быстро стала более чем достойной соперницей Карфагена и Македонии”.^[15]

Но щедрость природы к римскому земледельцу и солдату привела к его гибели. Терпеливый к страданиям, выносящий усталость, мудрый в советах, свирепый на войне, он разгромил всех, кто противостоял ему; и все же энергичный ум и крепкое телосложение, которые делали его победителем в битве, были его слабостью в мирное время. Он нуждался в дорогостоящем питании, и когда ему пришлось вступить в свободную экономическую конкуренцию с африканцами и азиатами, он умер с голоду. Такое соперничество было прямым результатом иностранных завоеваний и быстро возникло, когда Италия консолидировалась, и итальянцы

начали распространять свою власть на другие расы. Между основанием города и поражением Пирра прошло почти пять столетий, но спустя немногим более двухсот лет после победы при Беневенте Рим стал владыкой мира.

Действительно, за пределами полуострова, кроме Карфагена, мало что могло остановить продвижение легионов. После смерти Александра, в 323 году до нашей эры, Греция пришла в упадок, а к 200 году, когда Рим напал на Македонию, она пришла в упадок. Население Малой Азии, Сирии и Египта не было воинственным и никогда не могло справиться в битве с западными расами; в то время как Испания и Галлия, хотя и были населены свирепыми и выносливыми племенами, не обладали сплоченностью и не могли противостоять натиску организованных и дисциплинированных войск. Таким образом, расстояние, а не враждебная военная сила, определяло пределы древней централизации, поскольку римляне не были мореплавателями и, следовательно, не смогли поглотить Индию или открыть Америку. Таким образом, их относительно несовершенное движение стало самым существенным различием между древней и современной экономической системой.

В результате завоевания страны, населенные расами с низкой жизнеспособностью и большим упорством в жизни, были открыты как для торговли, так и для работорговли, и их дешевый труд истребил земледельцев Италии. Особенно после аннексии Малой Азии этот труд заполнил Сицилию, и выращивание зерновых туземцами стало невозможным, когда остров был разделен на огромные поместья, укомплектованные капиталистами восточными рабами, которые в Риме продавались дешевле всех конкурентов. Во втором столетии драгоценные металлы хлынули в Лациум потоком, огромные состояния были накоплены и вложены в землю, а азиатские провинции империи были лишены своих людей, чтобы эти инвестиции окупились. Не сохранилось данных, по которым можно было бы оценить, хотя бы приблизительно, масштабы этой вынужденной миграции, но она, должно быть, достигла огромных размеров, поскольку шестьдесят тысяч пленных были обычной добычей кампании, а после аннексии провинций они были обезлюдели из-за мытарей.

Лучшие полевые рабочие были родом из регионов, где бедность всегда была крайней и где на протяжении бесчисленных поколений мужчины были приучены к тяжелому труду, добывая скудную пищу. Такие районы, как Вифиния и Сирия, где рабов можно было купить практически даром, всегда обрабатывались расами, гораздо более жизнестойкими, чем любые европейцы. После того как Лукулл разграбил Понт, раб принес всего четыре драхмы, или, возможно, семьдесят центов.^[16] С другой стороны, конкуренция среди самих итальянцев обострилась. По мере того как капитал скапливался в руках сильнейших, бедные становились все беднее, и распространялся пауперизм. Еще во время Марсианской войны, в 90 году до нашей эры, Луций Марций Филипп подсчитал, что среди горожан насчитывалось всего две тысячи богатых семей. Примерно за триста лет природа выбраковала чистую плутократию из того, что изначально было по существу воинственной расой.

Первобытный римлянин был земледельцем высокого класса, который мог процветать и размножаться только при хорошем питании. Он был приспособлен к той стадии развития общества, когда остатки касты давали фермеру определенную фиксированность владения землей и когда цены поддерживались за счет расходов на связь с зарубежными странами. По мере централизации мира путем завоеваний эти барьеры были сметены. Экономическая конкуренция стала свободной, земля, как правило, концентрировалась во все меньшем

количестве рук, и эту землю обрабатывали восточные рабы, которые снизили заработную плату до самого низкого уровня, на котором человек может выжить.

Результатом стало разделение общества пополам, в основе которого лежало рабство, а свободные люди были разделены на ряд классов в соответствии с экономической мощностью разума. Богатство составляло дворянский титул великой олигархии, которая, таким образом, стала ядром Империи. Во главе стояли сенаторы, чей ранг передавался по наследству, если только они не теряли своего имущества, ибо, чтобы быть сенатором, человек должен был быть богатым. Август установил 48 000 долларов в качестве минимального сенаторского состояния и восполнил дефицит некоторым привилегированным семьям,[17] но Тиберий без промедления изгнал расточителей.[18] Вся латинская литература благоухает деньгами. Тацит, имевший богатые связи, никогда не переставал с презрением отзываться о людях низкого происхождения или, другими словами, о менее состоятельных. “Поппей Сабин, человек скромного происхождения”, возведенный в ранг по прихоти двух императоров;[19] “Кассий Север, человек среднего происхождения”;^[20] и в поэзии античности есть несколько более известных строк, чем те, в которых Ювенал описал бремя бедности:

“Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat
Res angusta domi.”^[21]

Пожалуй, ни один современный писатель не был так проникнут духом поздней Империи, как Фюстель де Куланж, и по этому поводу он был выразителен. Римляне не только не были демократичными, но и ни в один период своей истории Рим не любил равенства. В Республике ранг определялся богатством. Перепись населения была основой социальной системы. Каждый гражданин должен был заявить о своем состоянии перед магистратом, после чего ему присваивался ранг. “Бедность и богатство определяли юридические различия между людьми”.

Первая демаркационная линия пролегла между теми, кто владел землей, и теми, кто ею не владел. Первыми были *усердные* домовладельцы, укоренившиеся в почве. Последние были *пролетариями*. *Пролетарии* были равны в своей бедности; но *прилежные* были неравны в своем богатстве и, следовательно, были разделены на пять классов. Среди этих категорий все было неравным — налоги, военная служба и политические права. Они не смешивались друг с другом.

“Если перенестись в последнее столетие Республики ... то обнаруживаешь там аристократию, столь же сильно консолидированную, как древние патриции.... На вершине возник сенаторский орден. Чтобы принадлежать к нему, первым условием было обладать большим состоянием.... Римский разум не понимал, что бедняк может принадлежать к аристократии или что богатый человек не является ее частью”.^[22]

Архаичные обычаи долго сохранялись в Риме, поскольку город не был центром торговых обменов; и еще долго после смерти Александра, когда Греция достигла своего расцвета, Республика сохраняла чеканку медных монет. Регул обрабатывал свое поле с помощью одного раба и наемного слуги, и, по правде говоря, не было ничего экстраординарного в знаменитой встрече с Цинциннатусом у плуга, хотя такая простота поразила современника Августа. Наступающая централизация смела эти древние обычаи, причем централизация, марш которой, возможно, столь же резко отмечен миграцией бродяг в города, как и любым другим

отдельным явлением. Бродячие нищие сформировали пролетариат, для помощи которому были созданы “Законы милосердия”; и все же, хотя законы о бедных в той или иной форме считаются необходимостью в наше время, немногие институты древности подвергались более суровой критике, чем те, которые регулируют благотворительность. Со времен Катона и ниже существовала тенденция утверждать, что в Риме демагоги кормили чернь ценой жизней вольноотпущенников.

Вероятно, истиной является как раз обратное; предоставление населению продовольствия, по-видимому, было следствием разорения сельского хозяйства, а не его причиной. После того как итальянские земледельцы обанкротились из-за конкуренции низших рас, они, умирая от голода, устремились в столицу, но крупные спекулянты зерном, контролировавшие Сенат, лишь неохотно признали необходимость предоставления государственной помощи классу, который они уничтожили.

Задолго до Пунических войн карфагеняне обрабатывали Сицилию на капиталистических принципах; иными словами, они населяли владения рабами и вели торговлю, рассчитанную на крупные продажи и небольшую прибыль. Римляне, когда они аннексировали остров, всего лишь довели эту систему до логического конца. Имея всю Малую Азию в качестве рабочей силы, они намеренно морили голодом и перегружали работой своих полевых работников, поскольку дешевле было купить других, чем потерять контроль над рынком. Известная история о начале Войны рабов около 134 года до н.э. показывает, как далеко, по мнению современников сицилийских спекулянтов, они могли зайти.

Дамофил, богатый сицилийский землевладелец, когда однажды его рабы умоляли сжалиться над их наготой и нищетой, с негодованием спросил, почему они голодают и мерзнут, с оружием в руках, а перед ними расстилается страна. Затем он привязал их к кольям и содрал с них кожу плетью.[\[23\]](#)

Взятие Сиракуз Марцеллом подорвало карфагенскую власть на острове, и после падения Агриджента в 210 году до н.э. умиротворение страны шло быстрыми темпами. Вероятно, с самого начала, даже в вопросе транспортировки, провинции материковой части были в невыгодном положении из-за дешевизны морских перевозок, но в любом случае открытие сицилийской торговли зерном оказало немедленное и катастрофическое воздействие на Италию. Сразу же началась миграция бродяг в Рим, и в течение семи лет, в 203 году до н.э., состоялась общественная раздача пшеницы, вероятно, по совету Сципиона. Тем не менее благотворительность была частной и не безвозмездной. Напротив, была установлена плата в размере шести сестерциев, или двадцати пяти центов за бушель, что, по-видимому, составляло почти половину рыночной цены, и эта цена довольно регулярно поддерживалась в таких случаях вплоть до Империи. Этот промежуток охватывал весь период сицилийского господства в торговле зерном, поскольку в 30 году до н.э. Египет был аннексирован Августом.

Бедствие, последовавшее за свободной торговлей с Египтом, окончательно сломило сопротивление богатых безвозмездной помощи бедным. Ранее противодействие государственной помощи было настолько упорным, что до 123 г. до н.э. для бедных не было принято никаких юридических мер; и все же отчет, оставленный Полибием о состоянии Ломбардии к середине II века, показывает полный крах сельского хозяйства.

“Урожайность кукурузы в этом округе настолько высока, что пшеницу часто продают по четыре обола за сицилийский медимнус [около восьми центов за бушель, или чуть меньше двух сестерциев], ячмень - по два или литр вина за равную меру ячменя.... Дешевизна и изобилие всех продуктов питания также могут быть ясно продемонстрированы из того факта, что путешественники в этих краях, останавливаясь на постоянных дворах, не торгуются за определенные продукты, а просто спрашивают, какова плата за питание с человека. И по большей части трактирщики довольствуются ”половиной as (около половины цента) в день”.[24]

Эти цены указывают на столь полное отсутствие спроса, что должники среди крестьянства, должно быть, были разорены, и все же налогоплательщики оставались непреклонными. Безвозмездные раздачи были опробованы в 58 году до н.э. Лексом Клодием, но вскоре от них отказались как от дорогостоящих, и Цезарь приложил все усилия к сокращению расходов на нужды нуждающихся. Он надеялся достичь своей цели, сократив число получателей зерна наполовину, предусмотрев, что зерно не должно выдаваться иначе, как по предъявлению билета, и распорядившись, чтобы число владельцев билетов не увеличивалось. Закон природы возобладал над ним, поскольку включение Египта в экономическую систему Империи ознаменовало, по словам Моммзена, “конец старой и начало новой эпохи”.[25]

Среди рас, которые веками выживали на скудном питании, ни одна, возможно, не превзошла египетских феллахов. Даже на Востоке, вероятно, ни одно крестьянство не было так постоянно перегружено работой, так низкооплачиваемо и так облагаемо налогами.

“Если целью государства является получение максимально возможного дохода со своей территории, то в Старом Свете лагиды были абсолютными мастерами государственного управления. В частности, они были в этой сфере наставниками и образцами цезарей”.[26]

В первом веке Египет был, как и остается до сих пор, преимущественно страной дешевой рабочей силы; но это было и нечто большее. Долина Нила, обогащенная разливом реки, вернулась в стократном размере, без навоза; и этот замечательный район управлялся не как обычная провинция, а как частная ферма, принадлежащая гражданам Рима. Император приберег его для себя. Какой доход он получал от этого, не имеет значения; достаточно того, что треть всего зерна, потребляемого в столице, поступала оттуда. Согласно Афиней, некоторые из использовавшихся судов с зерном были около 420 футов в длину и 57 футов в ширину, или почти размером с современный пароход для атлантической торговли.[27] Таким образом, с начала христианской эры заработная плата египетских феллахов регулировала цены на зерновые в пределах, в которых торговля была свободна благодаря укреплению Рима, и можно с уверенностью сказать, что с тех пор те из высококормленных рас, которые были вынуждены выдерживать эту конкуренцию, были обречены на вымирание. Даже крайне сомнительно, что раздача зерна правительством существенно ускорила ход упадка. Испания должна была быть достаточно удалена от центра обмена, чтобы иметь свой собственный местный рынок, и все же Марциал, писавший около 100 г. н.э., описал испанского земледельца, который ел и пил продукты, которые он не мог продать, и получал за свою пшеницу всего четыре сестерция с бушеля, что было ценой, которую платили бедняки во времена Цицерона.[28]

Таким образом, в силу экономической необходимости в руках экономически сильных образовались огромные поместья. По мере того как стоимость зерновых падала, пахотные земли переходили под виноградники или пастбища, а поскольку провинции были не в состоянии поддерживать прежнее население, выселение шло гигантскими темпами. Если бы

римляне обладали универсальностью, позволяющей им обратиться к промышленности, фабрики могли бы предоставить временное убежище этому избыточному труду, но мануфактуры были монополизированы Востоком; поэтому разорившиеся крестьяне были либо порабощены за долги, либо скитались как нищие без гроша в кармане в города, где постепенно их численность настолько возросла, что они смогли вымогать безвозмездное пособие. Действительно, в течение третьего века их положение упало настолько, что они не могли даже приготовить пищу, которую им бесплатно давали, и Аврелиан приказал выпекать их хлеб в общественных печах.[29]

По мере развития централизации и ускорения передвижения людей сила все больше и больше выражалась исключительно через деньги, и канал, по которому деньги предпочли течь, заключался в инвестициях в землю. Социальная система способствовала росту крупных поместий. Римляне всегда испытывали чрезмерное уважение к землевладельцам и презрение к торговцам. Промышленность считалась подневольным занятием, и при Республике граждан, занимавшийся физическим трудом, был практически лишен политических прав. Даже коммерция считалась настолько недостойной аристократии, что сенаторам это было запрещено. “Земля всегда была в этом римском обществе главным источником и, прежде всего, единственным мерилем богатства”.

Закон Тиберия обязывал капиталистов вкладывать две трети своей собственности в землю. Траян не только требовал от претендентов на должность, чтобы они были богаты, но и чтобы они вкладывали по крайней мере треть своего состояния в итальянскую недвижимость; и вплоть до конца Империи сенаторский класс “был в то же время классом крупных землевладельцев”.[30]

Чем больше консолидировалась собственность, тем более неудержимым становился импульс капитала. При Империи небольшие владения становились все более редкими, и чем меньше их было, тем в более невыгодном положении оказывались их владельцы. Мелкий фермер едва ли мог выдержать конкуренцию с крупным землевладельцем. Великие владения капиталиста были обеспечены не только полным набором рабочих, виноградарей и пастухов, но и необходимыми ремесленниками. Бедный фермер зависел от своего богатого соседа даже в том, что касалось его инструментов. “Он был таким, каким был бы сегодня рабочий, который среди огромных фабрик работал в одиночку”.[31] Он покупал дороже и продавал дешевле, его норма прибыли неуклонно сокращалась; в конце концов, в хорошие годы он был вынужден жить на жалкие гроши, а первый неурожай разорил его.

Римский земледелец и солдат был обречен, ибо природа отвернулась от него; задача истории состоит лишь в том, чтобы установить его судьбу и проследить судьбу его страны после его ухода.

Из выселенных многие, конечно, перебрались в города и жили на милостыню, образуя пролетариат, класс, одинаково презираемый и утративший самоуважение: одних продали в рабство, других уморили голодом; но когда все вычеты сделаны, остается излишек, который нужно учитывать, и есть основания предполагать, что они остались на своих фермах в качестве арендаторов у покупателей.

В первом столетии такая аренда была обычным делом. Арендатор оставался свободным человеком, не подчиняясь своему арендодателю, при условии, что он платил арендную плату; но в случае неисполнения обязательств закон был суров. Все, что находилось на земле,

подлежало передаче в залог, а сам арендатор находился в залоге, если только он не мог предоставить обеспечение за то, что он задолжал. Следовательно, в случае продолжительной сельскохозяйственной депрессии все, что осталось от древнего сельского населения, вряд ли могло не перейти в положение крепостных, привязанных к земле долгами, которые невозможно было выплатить.

Несомненно, что такая депрессия действительно имела место и что она длилась несколько столетий. Также невозможно, чтобы его единственной причиной была египетская конкуренция, поскольку, если бы это было так, равновесие было бы достигнуто, когда африканские биржи были скорректированы, в то время как непрерывное снижение цен продолжалось еще долгое время после падения Западной империи. Единственное другое возможное объяснение этого явления состоит в том, что сокращение курса валюты началось вскоре после смерти Августа и продолжалось без особых перерывов вплоть до Карла Великого. Между падением Карфагена и рождением Христа римляне разграбили богатейшие части мира к западу от Инда; во втором веке - Северную Африку, Македонию, Испанию и части Греции и Малой Азии; в первом веке - Афины, Каппадокию, Сирию, Галлию и Египет. Эти страны приносили огромную массу сокровищ, которые доставлялись в Рим в качестве военной добычи, но которые не закреплялись там в результате торговых обменов и которые постоянно имели тенденцию возвращаться в естественные центры торговли. Поэтому, когда завоевания прекратились, источники новых слитков иссякли, а их количество в Италии уменьшалось по мере того, как торговый баланс становился все более и более неблагоприятным.

При Августе драгоценных металлов было много и они были дешевы, и цены на товары были соответственно высоки; но едва прошло целое поколение, как начал ощущаться дефицит, который проявился в обесценивании монеты - вернейшем признаке повышения курса валюты.

Говоря в целом, мануфактуры и более дорогие продукты древности поступали из стран к востоку от Адриатики, в то время как Запад был в основном сельскохозяйственным; и нет ничего более достоверного, чем то, что предметы роскоши были дороги при Империи, а еда дешевой.^[32] Поэтому обмены с самого начала были неблагоприятны для капитала; экспорт не покрывал импорт, и каждый год дефицит приходилось возмещать деньгами.

Римляне прекрасно понимали ситуацию, и это неблагоприятное соотношение причиняло им большое беспокойство. Тиберий подробно остановился на этом в письме Сенату еще в 22 году н.э. В том же году эдилы выдвинули предложения по некоторым финансовым реформам, и Сенат, вероятно, чтобы избавиться от деликатного вопроса, передал этот вопрос исполнительной власти. Большая часть ответа императора интересна, но есть один особенно примечательный абзац. "Если реформа действительно задумана, с чего она должна начинаться? и как мне восстановить простоту древних времен?... Как нам изменить вкус к одежде?... Как нам быть со своеобразными предметами женского тщеславия и, в частности, с той страстью к драгоценностям и безделушкам, которая истощает богатства Империи и отправляет деньги Содружества в обмен на скандалы иностранным нациям и даже врагам Рима?"^[33] Полвека спустя дела, по-видимому, обстояли хуже, поскольку Плиний не раз возвращался к этой теме. В двенадцатой книге своей "Естественной истории", после перечисления многих хорошо известных специй, духов, лекарств и драгоценных камней, которые всегда придавали восточной торговле такую огромную ценность, он подсчитал, что по самым скромным подсчетам, только в Аравию и Индию ежегодно экспортировалось 100 000 000

сестерциев, или около 4 000 000 долларов в монетах; и в то время, когда шелк ценился на вес золота, эта оценка, конечно, не кажется чрезмерной. Он добавил: “Так дорого обходятся нам удовольствия и женщины”.^[34]

Отток населения в Египет и азиатские провинции вряд ли мог быть менее серьезным. Адриан, кажется, почти завидовал первому, поскольку в своем письме Сервиану, раскритиковав народ, он отметил, что это также богатая и производительная страна, “в которой никто не сидел сложа руки” и в которой производились стекло, бумага и лен.^[35] Сирийцы были как промышленными, так и торговыми людьми. Тир, например, обрабатывал китайский шелк-сырец, окрашивал его и экспортировал. Тирское и Сидонское стекло было знаменито; местная аристократия была купцами и фабрикантами, “и, как позже богатства, приобретенные на Востоке, потекли в Геную и Венецию, так и коммерческие выгоды Запада потекли обратно в Тир и Апамею”.^[36]

Примерно через шестьдесят лет после окончательной консолидации империи при Августе этот непрерывный отток драгоценных металлов начал приводить к обесцениванию валюты и падению цен; и первым следствием снижения стоимости, по-видимому, стал финансовый кризис в 33 году н.э. Вероятно, снижение стоимости товаров по сравнению с деньгами уже затруднило должникам выполнение своих обязательств, поскольку Тацит предваряет свой рассказ указанием на то, что ростовщичество всегда было бичом Рима, и что незадолго до паники началась агитация против ростовщиков. с целью обеспечения соблюдения закона, касающегося процентов. Поскольку большинство сенаторов погрязли в ростовщичестве, они обратились за защитой к Тиберию, который предоставил то, что было равносильно приостановке судебного разбирательства, а затем, как только капиталисты почувствовали себя в безопасности, они приступили к осуществлению своей мести. Требовались ссуды, в размещении отказывали, а залогодателей безжалостно распродавали. “Денег было очень мало ... и из-за продаж при исполнении, монеты накапливались в имперской или государственной казне. После этого Сенат постановил, что каждый должен вложить две трети своего капитала займы в итальянскую недвижимость; но кредиторы призвали всех, и общественное мнение не позволило должникам пойти на компромисс”. Тем временем было большое волнение, но облегчения не было, “поскольку ростовщики копили с целью покупки по дешевке. Количество продаж обрушило рынок, и чем больше было продлено обязательств, тем сложнее становилась ликвидация. Многие были разорены, а потеря собственности поставила под угрозу общественное положение и репутацию”.^[37] Паника наконец утихла, но сокращение продолжалось и в следующий раз проявилось, двадцать пять лет спустя, в фальсифицированной чеканке. Со времен Пунических войн, примерно за два с половиной столетия до Рождества Христова, серебряный динарий стоимостью почти семнадцать центов был стандартом римской валюты, и он сохранял свой вес и чистоту неизменными до Нерона, когда он уменьшился с $\frac{1}{84}$ до $\frac{1}{96}$ фунта серебра, при этом чистый металл смешивался с $\frac{1}{10}$ меди.^[38] При Траяне, к 100 году нашей эры, сплав достиг двадцати процентов; при Септимии Севере сто лет спустя она возросла до пятидесяти или шестидесяти процентов, а ко времени Элагабала, 220 г. н.э., монета превратилась в жетон из неблагородного металла и была аннулирована правительством.

Нечто подобное произошло и с золотом. Золотой орех, хотя и сохранил свою чистоту, потерял в весе вплоть до Константина. В правление Августа она равнялась одной сороковой римского фунта золота, в правление Нерона - одной сорок пятой, в правление Каракаллы - одной пятидесятой, в правление Диоклетиана - одной шестидесятой, а в правление Константина -

одной семьдесят второй, когда монета перестала ходить по слухам и принималась только по весу.[39]

Отказ от динария был актом банкротства; финансовое положение также не улучшилось, пока администрация оставалась в Риме. Следовательно, напрашивается вывод, что к середине III века Италия потеряла сокровища, завоеванные ею в войне, которые постепенно оказались в центре обмена. Этот вывод подтверждается историей. Действия Диоклетиана, по - видимому, демонстрируют, что после 250 г. н.э. Рим перестал быть ни политической, ни коммерческой столицей мира.

Несомненно, Диоклетиан, должно быть, прожил жизнь, полную напряженной деятельности, находясь в центре событий, раз в тридцать девять лет поднялся из рабства до императорского титула; и все же Гиббон думал, что он даже не посещал Рим, пока не отправился туда праздновать свой триумф после того, как пробыл на троне двадцать лет. Казалось, он никогда не беспокоился о настроениях в городе. Когда его провозгласили императором, он проигнорировал Италию и обосновался в Никомедии на Пропонтиде, где жил до отречения от престола в 305 году. Его личные предпочтения, очевидно, не повлияли на него, поскольку его преемники подражали его политике; и все указывает на вывод, что он и те, кто последовал за ним, всего лишь уступили той же непреодолимой силе, которая закрепила экономическую столицу мира на Босфоре. В случае с Константином действие этой силы было заметным, поскольку она была не только достаточно мощной, чтобы преодолеть привычку всей жизни, но и побудить его взяться за гигантскую задачу строительства Константинополя.

Константин был провозглашен в Британии в 306 году, когда ему было всего тридцать два. Шесть лет спустя он победил Максенция, а затем единолично правил Западом до своей войны с Лицинием, которого он взял в плен в 323 году и впоследствии казнил. Таким образом, в пятьдесят лет он вернулся на Восток после почти двадцатилетнего отсутствия, и первым его поступком было избрание Византии своей столицей, города, расположенного почти напротив Никомедии.

Последовательность событий кажется простой. Очень скоро после банкротства правительства в Риме администрация покинула город и переместилась к границе между Европой и Азией; там, после примерно сорока лет колебаний, она навсегда обосновалась в истинном центре обмена, поскольку Константинополь оставался экономическим центром земли более восьми столетий.

Аналогичные выводы можно сделать и из колебаний курса валюты. В Риме монету не могли поддерживать на должном уровне из-за неблагоприятных обменных курсов; но когда политические и экономические центры совпали, в одном месте на Босфоре, обесценивание прекратилось, и золотой орех больше не падал.

Эта миграция капитала, вызвавшая возвышение Константинополя, была истинным открытием Средневековья, поскольку она привела к постепенному сокращению сельского населения и, таким образом, привела к распаду Запада. Победа принесла Риму богатство, а богатство проявило свою силу в постоянной полиции; по мере того как атака на войне уступала обороне, и индивидуальное сопротивление становилось невозможным, транспорт становился дешевым и безопасным, а передвижение людей ускорялось. Затем началась экономическая конкуренция, которая усиливалась по мере продвижения централизации, всегда отдавая предпочтение самому острому интеллекту и самой дешевой рабочей силе. Вскоре обмены стали постоянно

неблагоприятными, начался постоянный отток слитков на Восток, и по мере того, как отток истощал сокровища, накопленные в Риме за счет грабежей, начался спад, а с падением цен произошло то падение цен, которое сначала разорило, затем поработило и, наконец, истребило коренное сельское население Италии.

Во времена Диоклетиана древняя серебряная валюта давно была отменена, и в своем хорошо известном эдикте он говорил о том, что цены выросли в девять раз, если пересчитывать их в денарии неблагородного металла; покупательная способность чистого золота и серебра, однако, очень значительно возросла во всех западных провинциях. И это было еще не все. По-видимому, естественным законом является то, что когда общественное развитие достигнет определенной стадии и капитал накопится в достаточной степени, класс, который имел возможность его поглотить, попытается повысить стоимость своей собственности с помощью законодательства. Проще всего это сделать путем уменьшения количества валюты, которая является законным платежным средством для выплаты долгов. Валюта, очевидно, набирает силу по мере того, как она уменьшается в объеме, и константинопольские ростовщики интуитивно максимально сократили объем валюты Империи. После банкротства при Элагабале выплаты производились золотом по весу, и по мере того, как его становилось все меньше, его стоимость росла. Аврелиан издал эдикт, ограничивающий его использование в искусстве; и хотя есть множество оснований полагать, что серебро также увеличилось по покупательной способности, золото намного опередило его. Хотя не сохранилось статистических данных, с помощью которых можно было бы с какой-либо точностью установить движение серебра по сравнению с товарами, соотношение между драгоценными металлами в разные эпохи известно, и количество золота, по-видимому, удвоилось между Цезарем и Ромулом Августулом.

47 г. до н.э.	Золото	относилось	к	серебру как	1 : 8,9
1 н. э. при Августе,	“	“	“	“	1 : 9.3
100-200, Траян Северу,	“	“	“	“	1 : 9–10
“	“	“	1	:	12,5 450, Феодосий II,
“	“	“	“	1	: 18

Поскольку золото стало единственным законным платежным средством, это изменение соотношения представляет собой уменьшение за время существования Западной империи стоимости имущества по отношению к долгам по меньшей мере на пятьдесят процентов, при этом совершенно не учитывается удорожание самого серебра, которое было настолько значительным, что правительство было не в состоянии поддерживать денарий.[40]

Соппротивление силе централизованного богатства было напрасным. Говорят, что попытка Аврелиана реформировать монетные дворы вызвала восстание, которое стоило ему жизни семи тысяч его солдат; и хотя Проб продолжил его политику, а Диоклетиан снова чеканил монеты из обоих металлов в соотношении, экспансия была настолько враждебна интересам денежного класса, что к 360 году серебро было окончательно выброшено, и золото по закону стало единственным законным платежным средством для выплаты долгов.[41] Кроме того, ростовщики защитили себя от любых возможных манипуляций с монетными дворами, предусмотрев, что солидус должен проходить по весу, а не по названию; иными словами, они оставили за собой право отклонять любой золотой монетник, который содержал менее одной семидесятой фунта стандартного металла, веса, установленного Константином.[42]

Таким образом, в то время, когда истощение рудников привело к перебоям с ежегодными поставками слитков, старая составная валюта была разделена надвое, а оставшаяся половина была переведена только на вес, чтобы переложить убытки от обрезки и истирания на должника. Столь сильное сокращение привело к неуклонному падению цен, падению, которое с течением времени имело тенденцию скорее увеличиваться, чем уменьшаться. Но в длительные периоды снижения рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции фермерам бывает трудно выплачивать денежную ренту, потому что продажа их урожая с каждым годом приводит к все большему дефициту, и, наконец, наступает время, когда неплатежеспособность больше нельзя откладывать.

В своей первой главе Гиббон описал империю при Антонинах как переживающую "счастливейший период мира и процветания продолжительностью более восьмидесяти лет"; и все же нет ничего более определенного, чем то, что этот безмятежный век на самом деле был периодом разорения сельского хозяйства. На этот счет Плиний был откровенен, а Плиний был крупным землевладельцем.

Однажды он написал Кальвизию об инвестициях и подробно описал состояние собственности. Большое поместье, примыкавшее к его собственному, было выставлено на продажу, и он испытал искушение купить его, "потому что земля была плодородной и хорошо орошалась", на полях росли виноград и древесина, которые обещали хорошую отдачу, и все же эта естественная плодородность была омрачена нищетой земледельцев. Он обнаружил, что бывший владелец "часто захватывал "пиньору", или залоги [то есть все имущество, которым владели арендаторы]; и хотя, поступая таким образом, он временно уменьшал их задолженность, он оставлял их" без средств для обработки земли. Эти арендаторы были свободными людьми, которые были не в состоянии выплачивать арендную плату из-за падения цен и которые, потеряв свои инструменты, скот и домашнее имущество, остались нищими на фермах, которые они не могли ни обрабатывать, ни бросить. В результате имущество пострадало, арендная плата снизилась, и по этим причинам, а также из-за "общей суровости времени" его стоимость упала с пяти миллионов до трех миллионов сестерциев.[43]

В другом письме он объяснил, что был задержан дома из-за новых договоренностей со своими арендаторами, которые, по всей видимости, были неплатежеспособны, поскольку "за последние пять лет, несмотря на большие уступки, задолженность увеличилась. По этой причине большинство [арендаторов] не утруждают себя уменьшением своего долга, который они отчаялись выплатить. На самом деле, они грабят и потребляют все, что есть на земле, поскольку думают, что не могут накопить для себя". Средство, которое он предложил, состояло в том, чтобы больше не заключать договоров денежной аренды, а вести хозяйство на паях.[44]

Тон этих писем показывает, что во всем этом не было ничего необычного. Плиний нигде не намекает на то, что виноваты арендаторы или что можно найти людей получше. Напротив, он решительно заявил, что в такие трудные времена денег собрать было невозможно, и поэтому интерес землевладельца состоял в том, чтобы возделывать свои владения на паях, принимая единственную меру предосторожности - ставить рабов над арендаторами в качестве надсмотрщиков и приемщиков урожая.

Точно так же в сборнике такие задолженности названы обычными.[45] В еще одном письме Траяну Плиний заметил: "Continuæ sterilitates cogunt me de remissionibus cogitare".[46] Конечно, эти несостоятельные фермеры не могли занимать лучшего положения при работе на паях, чем

до своих бедствий, поскольку как банкроты они были полностью во власти своих кредиторов, и на них можно было охотиться, как на рабов, и вернуть обратно в оковах, если бы они сбежали. Они были привязаны к собственности долгом, который никогда не мог быть выплачен, и они и их потомки были обречены навсегда остаться *колониями* или крепостными, движимым имуществом, которое должно было быть приобретено или продано как часть недвижимости. По словам закона, “они считались рабами земли”.^[47] Древний воинственный земледелец, таким образом, “переходил от пункта к пункту, от долга к долгу, в почти вечное подчинение”.^[48] Освобождение было невозможно, поскольку об оплате не могло быть и речи. Он был привязан к земле на всю жизнь, и его дети после него унаследовали его рабство вместе с его долгом.

Обычаи, которых придерживались *колони*, были бесконечно разнообразны; они различались не только между сословиями, но и между работниками одного и того же сословия. В целом, однако, жизнь, должно быть, была тяжелой, поскольку крепостных в империи не умножалось, а нехватка сельской рабочей силы превратилась в хроническую болезнь.

Тем не менее, относительно положение *колона* было хорошим, поскольку его жена и дети принадлежали ему; рабство было язвой, разъедавшей плоть, а римская фискальная система в сочетании с ростовщичеством была рассчитана на порабощение всех, кроме олигархии, которая издавала законы.

Налоги провинций оценивались цензорами, а затем продавались за наличные мытарям, которые брали на себя сбор налогов. Италия сначала была освобождена от ответственности, но после ее банкротства ее постигла общая участь. Для управления этими предприятиями были созданы компании. Рыцари обычно распределяли капитал и делили прибыль, что соответствовало строгости их управления; и по мере расширения римских завоеваний эти компании становились слишком могущественными, чтобы их можно было контролировать. Единственными должностными лицами, которые могли действовать, были губернаторы провинций, которые боялись вмешиваться и предпочитали делиться прибылью от торговли, а не рисковать вызвать гнев столь опасного врага.^[49]

Согласно Плинию, взимание денежной ренты стало невозможным в правление Траяна. Причина заключалась в том, что при падении курса валюты цены на продукты падали, и каждый год урожай приносил меньше прибыли, чем годом ранее; следовательно, умеренная арендная плата в одном десятилетии становилась грабительской в следующем. Но налоги не упали вместе с падением стоимости; напротив, тенденция централизации всегда направлена на более дорогостоящее администрирование. При Августе было достаточно одного императора с умеренным домашним хозяйством; но в третьем веке Диоклетиан счел необходимым реорганизовать правительство при четырех цезарях, и все стало специализироваться в той же пропорции.

Таким образом, люди оказались зажатыми между верхним и нижним жерновами. Фактическое количество изъятых у них слитков было больше, цены на их собственность падали, а задолженность по налогам накапливалась именно так, как Плиний описывал накопление задолженности по арендной плате. Эти долги переносились из царствования в царствование и даже из века в век; и говорят, что Петроний, тесть Валента, ускорил восстание Прокопия, взыскав дань, не выплаченную после смерти Аврелиана сто лет назад.

Процессы, использованные при сборе выручки, были суровыми. Попытки применялись свободно,[50] а рабство было уделом неплательщиков. Вооруженные такой властью, мытари держали должников в своей власти. Хотя ростовщичество было запрещено, наиболее прибыльной частью торговли было открытие счетов в казначействе, принятие долгов и взимание процентов, иногда достигавших пятидесяти процентов. Хотя по мере падения цен давление становилось все более суровым, злоупотребления администрации, пожалуй, никогда не были так сильны, как ближе к концу Республики. В своей речи против Верреса Цицерон сказал, что положение народа стало невыносимым: “Все провинции в трауре, все свободные народы жалуются; каждое королевство упрекает нас в нашей алчности и несправедливости”.[51]

Хорошо известные деяния Брута типичны для того, что происходило везде, где проходили римляне. Брут предоставлял сенату Саламинии сорок восемь процентов годовых. Поскольку контракт был незаконным, он получил два декрета римского сената для своей защиты, а затем, чтобы добиться выплаты процентов, Скаптий, его деловой человек, одолжил у губернатора Киликии отряд войск. С этими словами он так плотно блокировал Сенат, что несколько членов умерли с голоду. Саламинцы, желая любой ценой освободиться от такого бремени, предложили сразу выплатить и проценты, и капитал; но на это Брут не согласился и, чтобы навязать провинции свои условия, потребовал от Цицерона дополнительных войск, “всего пятьдесят всадников”.[52]

Когда, наконец, в результате таких разбирательств должники были настолько измучены, что никакие пытки не могли выжать из них большего, их продавали в рабство; Никодим, царь Вифинии, когда его упрекали в том, что он не предоставил свой вспомогательный контингент, ответил, что все его трудоспособные подданные были лишены доходов фермерами.[53] И хотя администрация, несомненно, регулировалась лучше при империи, чем при Республике, угнетение провинций не прекратилось. Ювенал, писавший около 100 лет, умолял молодого дворянина, вступившего во владение его правительством, обуздать свою алчность, “пожалеть бедность союзников. Вы видите кости царей, высосанные из самого их мозга”.[54] И хотя свидетельство Ювенала может быть отвергнуто как чересчур поэтическое, к Плинию всегда следует относиться с уважением. Когда Максима отправили в Ахайю, Плиний счел за благо написать ему длинное письмо с советом, в котором он не только заявлял, что отнять у греков оставленную им тень свободы было бы “*durum, ferum, barbarumque*”; но и заклинал его постараться вспомнить, каким был каждый город, и не презирать его таким, какой он есть.[55]

Пожалуй, самым впечатляющим из всех является заявление Диона Кассия о том, что восстание во главе с Боадией в Британии в 61 году н.э., стоившее римлянам семидесяти тысяч жизней, было спровоцировано алчностью Сенеки, который, вынудив народ дать займы десять миллионов драхм (1 670 000 долларов) под ростовщические проценты, внезапно забрал свои деньги, причинив тем самым сильные страдания.[56] Как сказал Плиний с горечью и правдой, “Искусство скупости было наиболее развито в Риме”.[57]

Более сильный тип истребил более слабого; ростовщик истребил земледельца; раса солдат исчезла, и фермы, на которых они когда-то процветали, пришли в запустение. Процитируем слова Гиббона: “Плодородная и счастливая провинция Кампания ... Простиралась между морем и Апеннинскими горами от Тибра до Силаруса. В течение шестидесяти лет после смерти Константина и на основании результатов фактического обследования было предоставлено освобождение в

пользу трехсот тридцати тысяч английских акров пустынных и необработанных земель, что составляло одну восьмую всей поверхности провинции”.[58]

Это правда, что Гиббон в этом абзаце описывает Италию такой, какой она была в четвертом веке, незадолго до нашествия варваров, но похожая судьба постигла провинции при цезарях. Согласно Плутарху, в правление Домициана Греция была почти обезлюдена.

“ Она с большим трудом может собрать три тысячи человек, которых единственный город Мегара посылал до сих пор на битву при Платеях.... Ибо какая теперь польза от оракула, который до сих пор находился в Тегире или в Птоусе? Ибо едва ли за целый день вы встретите в тех краях хоть одного пастуха”.[59]

Валлон заметил, что Рим “в первые времена Республики был в основном озабочен тем, чтобы иметь многочисленное и сильное население свободных людей. При Империи у нее была только одна забота — налоги”.[60]

Выражаясь точнее, сила изменила канал, по которому она действовала. Местные фермеры и местные солдаты были ненужны, когда такой материал можно было купить дешевле на Севере или Востоке. За деньги когорты можно было пополнить немцами; за деньги можно было поселить рабов и крепостных на полях Италии; и в течение последнего столетия, до начала великих нашествий, одной из главных проблем имперской администрации было регулирование притока новой крови извне, без которой социальная система должна была рухнуть.

Более поздние кампании на Рейне и Дунае на самом деле были охотой на рабов гигантского масштаба. Проб привел из Германии шестнадцать тысяч человек, “самых храбрых и крепких из своей молодежи”, и распределил их группами по пятьдесят-шестьдесят человек между легионами. “Теперь их помощь стала необходимой.... Редкость браков и разорение сельского хозяйства повлияли на принципы народонаселения; и не только разрушили силу настоящего, но и лишили надежды будущие поколения”.[61]

Его импорт сельскохозяйственной рабочей силы был гораздо более значительным. Во фракийском поселении Проб основал сто тысяч бастарнов; говорят, что Констанций Хлор способствовал процветанию Галлии благодаря стадам рабов, которые он распределял между землевладельцами; в 370 году в долине По было высажено большое количество алеманнов, а на обширных пространствах общественного достояния были разбросаны варварские деревни, где сохранились родной язык и обычаи.

Вероятно, никто из этих немцев не был свободным человеком. Многие, конечно, были пленниками, проданными в рабство, но, возможно, большинство были крепостными. Часто племя, сильно теснимое врагами, просило разрешения перейти границу и поселиться как данники, то есть как *coloni*. В одном из таких случаев Констанций II. Был чуть не убит. Группа лимигантов, совершивших набег, сдалась и подала прошение о предоставлении земель на любом расстоянии при условии, что у них может быть защита. Император был в восторге от перспективы такого количества рабочих рук, не говоря уже о рекрутах, и пошел к ним, чтобы получить их подчинение. Увидев его одного, варвары напали на него, и он с трудом спасся. Его войска перебили немцев до последнего человека.

Эта непрекращающаяся эмиграция постепенно изменила характер сельского населения, и аналогичные изменения произошли в армии. Уже во времена Цезаря Италия была истощена;

его легионы в основном формировались в Галлии, и по мере того, как местные фермеры скатывались в крепостничество или рабство, а затем, наконец, исчезли, рекрутов набиралось все больше и больше из-за пределов Империи. Сначала они сражались поодиночке, затем племенами и нациями, так что, когда Аэций разбил Атиллу при Шалоне, сражение вели вестготы под командованием Теодориха, а снаряжение римлян и гуннов было настолько схожим, что при построении линий “представляло собой картину гражданской войны”.

Эта военная метаморфоза указала на исчезновение военного типа, и она распространилась по всему обществу. Рим не только не смог воспитать простого солдата, но и не смог произвести генералов. После первого столетия перемены были заметны. Траян был испанцем, Септимий Север - африканцем, Аврелиан - иллирийским крестьянином, Диоклетиан - далматинским рабом, Констанций Хлор - дарданским дворянином, а сыном Констанция от дакийской женщины был великий Константин.

Все эти люди были своеобразной разновидностью военных авантюристов, поскольку сочетали в себе качества, которые делали их не только эффективными начальниками полиции, но и приемлемыми в качестве глав гражданской бюрократии, олицетворявшей капитал. Северус был таким типом, и Северус никогда не был описан лучше, чем Макиавелли, который сказал, что он объединил свирепость льва с хитростью лисы. Эта бюрократия была ядром консолидированной массы, называемой Империей; она была воплощением денег, высшим выражением силы, и она признавала и продвигала людей, которые были приспособлены к ее потребностям. Когда такие люди были найдены, администрация считалась хорошей; но когда не появлялось никого, кто был бы точно приспособлен для службы в армии, и приходилось нанимать обычного офицера для поддержания мира, возникали трения, и солдат, даже обладавший высочайшими способностями, часто увольняли. И Стилихон, и Аэций были убиты.

Денежная олигархия, сформировавшая эту бюрократию, была ростом, столь же характерным для высокой централизации того времени, как священная каста характерна для децентрализации. Возможно, капиталистический класс поздней Империи был лучше понят и оценен Фустиелом де Куланжем, чем любым другим историком.

“Все документы, отражающие дух эпохи, показывают, что эта знать пользовалась таким же почетом у правительства, как и уважением у народа.... Именно из него имперское правительство обычно выбирало своих высших чиновников”.

Этих чиновников не искали среди низших классов. Высокие должности не давались в награду за долгую и верную службу; они по праву принадлежали знатным семьям. Империя сделала богатых сенаторами, преторами, консулами и губернаторами; все звания, за исключением только военных, были практически наследственными в богатом классе.

“Этот класс богат, а правительство бедно. Этот класс является хозяином большей части земли; он обладает местными достоинствами, административными и судебными функциями. У правительства есть только видимость власти и вооруженные силы, которые постоянно уменьшаются....

“Аристократия обладала землей, богатством, отличием, образованием, обычно моралью существования; она не знала, как сражаться и командовать. Оно самоустранилось от военной службы; более того, оно презирало ее. Одним из характерных признаков этого общества было то, что гражданские функции всегда ставились не на один уровень с армейскими чинами, а

намного выше их. Оно высоко ценило профессию врача, профессора, адвоката; оно не ценило профессию офицера и солдата и оставляло ее людям низкого сословия”.[62]

Это господство экономического инстинкта трансформировало все жизненные отношения, как домашние, так и военные. Семья перестала быть единицей, члены которой объединились из необходимости самозащиты, и превратилась в бизнес-ассоциацию. Брак принял форму контракта, расторгаемого по желанию любой из сторон, и, поскольку он был несколько дорогостоящим, становился редкостью. Как и в случае с утечкой их слитков на Восток, которая разорила их фермеров, римляне сознавали, как сказал Август, что бесплодие должно в конце концов передать их город в руки варваров.[63] Они знали это и стремились предотвратить свою участь, и мало что в истории производит более впечатляющее впечатление, чем бессилие древней цивилизации в ее конфликте с природой. С началом христианской эры государство взялось за решение этой задачи. Вероятно, в 4 году нашей эры императору удалось добиться принятия первого закона, благоприятствующего браку, и этот акт не оказался эффективным, он был дополнен знаменитыми Законами Юлии и Папии Поппеи от 9 года. Весной, на играх, рыцари потребовали отмены этих законов, и тогда Август, созвав их на Форум, произнес с ними хорошо известную речь, жестокость которой сейчас кажется невероятной. Те, кто был холост, были худшими из преступников, они были убийцами, они были нечестивцами, они были разрушителями своей расы, они напоминали разбойников или диких зверей. Он спросил *всадников*, ожидают ли они, что люди начнут подниматься с земли, чтобы заменить их, как в басне; и с горечью заявил, что, хотя правительство освобождало рабов с единственной целью увеличить число граждан, дети Марциев, Фабиев, Валериев и Юлиев, пусть их имена исчезнут с лица земли.[64]

Напрасно безбрачие было объявлено почти преступлением. Напрасно безбрачных объявляли неспособными к наследованию, в то время как отцам предлагали любую взятку, им отдавали предпочтение при назначении на должности, им даже давали избранные места на играх; по словам Тацита, “не из-за этого увеличилось браки и количество детей, ибо преобладали преимущества бездетности”.[65] Все, что было сделано, - это породить расу доносчиков и стимулировать юристов к новым ухищрениям.[66]

Когда богатство превратилось в силу, женщина могла быть такой же сильной, как и мужчина; поэтому она была эмансипирована. Благодаря легкому разводу она стала равноправной с мужчиной в брачном контракте. Она контролировала свою собственность, потому что могла ее защитить; и поскольку у нее была власть, она пользовалась политическими привилегиями. В третьем веке Юлия Домна, Юлия Мамея, Созмий и другие заседали в Сенате или руководили администрацией.

Эволюция этого централизованного общества была столь же логичной, как и любое другое творение природы. Когда сила достигла стадии, когда она выражалась исключительно через деньги, правящий класс перестал выбираться потому, что они были доблестными или красноречивыми, артистичными, образованными или набожными, и был выбран исключительно потому, что они обладали способностью приобретать и удерживать богатство. Пока слабые сохраняли достаточно жизненных сил, чтобы производить что-то, что можно было поглотить, эта олигархия была непобедима; и в течение очень многих лет после того, как коренное крестьянство Галлии и Италии погибло под бременем, новая кровь, влитая от более стойких рас, поддерживала жизнь умирающей цивилизации.

Слабость богатого класса заключалась в самой их силе, ибо они не только убивали производителя, но и в силу своей жадности не могли размножаться. Государство притворялось, что рассматривает брак как долг, и все же богатые семьи вымерли. В царствование Августа все патрицианские дома, кроме пятидесяти, вымерли, и впоследствии императору, казалось, было суждено оставаться всеобщим наследником благодаря завещаниям бездетных.

С крестьянством дело обстояло хуже. Ко второму веку для обработки полей пришлось импортировать рабочую силу варваров, и даже варварам не хватало жизненной стойкости, необходимой для того, чтобы переносить это напряжение. Они перестали размножаться, и население сократилось. Затем, несколько внезапно, наступил коллапс. С сокращением численности источники богатства иссякли, доходы не позволяли платить полиции, и от эффективности полиции зависела жизнь этой невоинственной цивилизации.

В ранние века каждый римлянин был землевладельцем, а каждый землевладелец был солдатом, служившим бесплатно. Сражаться было такой же важной частью жизни, как пахать. Но к четвертому веку военная служба стала коммерческой; легионы были таким же чистым выражением денег, как и сама бюрократия.

Со времени принятия сербской конституции изменения в армии шли в ногу с ускорением передвижения, что вызвало экономическую конкуренцию, централизовавшую государство. Триумфами над Ганнибалом и Пирром Рим был обязан скорее доблести своей пехоты, чем гению своих полководцев; но со времен Марии перепись перестала быть основой набора, и богатые отказывались служить в рядах.

Это само по себе было равносильно социальной революции; ибо с того момента, как богатым удалось уволиться со службы, а бедные увидели в этом ремесло, гражданин перестал быть солдатом, а солдат превратился в наемника. С этого времени армию можно было использовать “для любых целей, при условии, что они могли рассчитывать на свое жалованье и добычу”.^[67]

Администрация Августа организовала постоянную полицию, которая заменила наемников гражданских войн, и эта машина была величайшим триумфом и венцом славы капитала. Дион Кассий описал, как исчезли последние остатки итальянской армии. До времен Севера было принято набирать преторианцев либо из самой Италии, либо из Испании, Македонии или других соседних стран, население которых имело некоторое сходство с населением Лация. Север, после предательства гвардии Пертинаксу, распустил ее и реорганизовал корпус, отобранный из самых храбрых солдат легионов. Эти люди были ордой варваров, отталкивающих итальянцев своими привычками и ужасных на вид.^[68] Таким образом, группа наемных работников, собранных со всех концов земли, была сплочена деньгами. Более четырехсот лет этот отряд наемников подавлял восстания внутри Империи и регулировал вливание свежей крови извне с совершенной быстротой и точностью; и при этом он не отказывал в своих функциях, пока оставались деньги, которые его оживляли.

Но пришло время, когда ростовщичество настолько истощило жизнь общины, что поток слитков перестал течь из столицы к границам; затем, когда силы поддержки иссякли, линия войск вдоль Дуная и Рейна растянулась до тех пор, пока не прорвалась, и варвары хлынули беспрепятственно.

Так называемые вторжения не были завоеваниями, поскольку они не обязательно были враждебными; они были лишь логическим завершением процесса, который продолжался со

времен Траяна. Когда власть, контролировавшая немецкую эмиграцию, пришла в упадок, она свободно потекла в провинции.

К 400 году дезинтеграция зашла далеко вперед; империя рушилась не потому, что была коррумпированной или дегенеративной, а потому, что самая воинственная и энергичная раса, которую когда-либо видел мир, была настолько основательно истреблена людьми экономического склада ума, что мелкие группы жалких авантюристов могли бродить, где им заблагорассудится, по некогда римской земле, не встречая врага, способного противостоять им, за исключением таких же авантюристов, как они сами. Готы, а не римляне, победили Аттилу при Шалоне.

Вандалы, которые в течение двадцати лет кочевали от Эльбы до Атласа, были не нацией, не армией, даже не племенем, а разношерстной ордой северных варваров, разоренных провинциалов и беглых рабов — сбродом, который легионы Цезаря рассеяли бы как мякину, будь их столько же, сколько прибрежных песков; и все же, когда Гензерихий разбил Бонифация и разграбил Карфаген в 439 году, он вел за собой едва ли пятьдесят тысяч воинов.

ГЛАВА II СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

Вероятно, повышение курса римского денежного стандарта достигло кульминации во время нашествия гуннов в середине пятого века. В правление Валентиниана III золото продавалось в восемнадцать раз дороже серебра, и последней катастрофой для Валентиниана стало убийство Аэция в 454 году, с жизнью которого погасла последняя искра жизнеспособности в сердце римской централизации. Возвышение Рицимера и восшествие на престол Одоакра знаменуют последовательные шаги, благодаря которым Италия скатилась в варварство, а во времена Теодериха Остгота она превратилась в примитивное децентрализованное сообщество, бедность и неповоротливость которого защищали ее от конкуренции со стороны Африки и Азии. Остготы покорили Италию в 493 году, и к этой дате варвары заполонили весь цивилизованный мир к западу от Адриатики, в результате чего спрос на деньги для поддержания сплоченного общества прекратился, объем торговли сократился, рынок восточных товаров сократился, а золото стало накапливаться в центре обмена. По мере накопления золота его стоимость падала, и в первые годы VI века его соотношение к серебру составляло менее пятнадцати к одному, то есть снизилось на восемнадцать процентов.^[69] Поскольку цены соответственно выросли, давление на крестьянство ослабло, в Константинополь вернулось процветание, а распад Западной империи, возможно, продлил жизнь европейского населения Востока более чем на сто пятьдесят лет. Город, который Константин основал в 324 году на берегу Босфора, в действительности был ордой римских капиталистов, выброшенных к границам Азии потоком иностранных валют; и эти эмигранты принесли с собой в страну смешанной греческой и варварской крови свой язык и свои обычаи. В течение многих лет эти богатые властители безраздельно правили своей новой страной. Все, что мог сделать для них закон, было сделано. Они даже выделили пайки в свои поместья, которые должны были доставляться за

государственный счет, чтобы помочь своим детям содержать свои дворцы. Пока цены падали, ничто не помогало; аристократия беднела день ото дня. Их собственность, как правило, заключалась в земле, и та же жесткость, которая опустошала Италию и Галлию, действовала, хотя, возможно, и менее остро, и на дунайское крестьянство. К середине пятого века страна была истощена и находилась во власти гуннов.

Богатство - это оружие богатого общества; ибо, хотя само по себе оно лишено воинского инстинкта, оно может за деньги нанять солдат для своей защиты. Но чтобы получать доход от людей, они должны сохранять определенный избыток дохода после обеспечения средств к существованию, в противном случае правительству придется экономить на ежедневных поставках продовольствия, и за этим последует истощение. Финли объяснил, что хроническое истощение было нормальным состоянием Византии при римлянах.

“Вся избыточная прибыль общества ежегодно поступала в государственную казну, оставляя жителям лишь незначительную сумму, достаточную для продолжения рода налогоплательщиков. История, действительно, показывает, что сельскохозяйственные классы, от рабочего до землевладельца, были неспособны сохранить за собой сбережения, необходимые для замещения того обесценивания, которое время постоянно производит на весь принадлежащий капитал, и что их численность постепенно уменьшалась”.^[70]

При Феодосии II, когда золото достигло своего максимума, воцарилась полная прострация. Гунны шли, куда хотели, и одна толпа “варваров следовала за другой, пока оставалось что грабить”. Правительство больше не могло держать армии на поле боя. Один-единственный пример покажет, как низко пало сообщество. В 446 году Атила потребовал от Феодосия шесть тысяч фунтов золота в качестве условия мира, и, конечно, шесть тысяч фунтов золота, что составляло, возможно, 1 370 000 долларов, были небольшой суммой, даже если измерять ее по меркам частного богатства. Конец III века не был процветающим периодом в Италии, и все же до его избрания императором в 275 году состояние Тацита достигло 280 000 000 сестерциев, или более 11 000 000 долларов.^[71] Тем не менее Феодосий не смог добиться от народа этой незначительной компенсации, и ему пришлось взимать частную дань с сенаторов, которые сами были настолько бедны, что для оплаты продавали с аукциона драгоценности своих жен и мебель в своих домах.

Почти сразу после распада Западной империи ситуация изменилась. С падением цен на золото крестьянство возродилось, а греческие провинции процветали. В правление Юстиниана Велисарий и Нарсес прошли маршем из конца в конец Африки и Европы, а Анастасий разбогател.

Анастасий, современник Теодериха, взошел на престол в 491 году. Он не только построил знаменитую длинную стену от Пропонтиды до Эвксинского моря и оставил после себя сокровище в триста двадцать тысяч фунтов золота, но и уплатил своим подданным самые тяжелые из их налогов, и правление Юстиниана, сменившего его с интервалом всего в десять лет, всегда должно считаться расцветом византийской цивилизации. Это наблюдение не ново, его делали все, кто изучал историю Византии.

“Возросшее благосостояние ... внедрение в общество вскоре дало о себе знать; и блестящие подвиги правления Юстиниана должны быть прослежены до оживления политического тела Римской империи Анастасием”.^[72]

Юстиниан унаследовал трон от своего дяди Юстина, дарданского крестьянина, который не умел ни читать, ни писать. Но пастух-варвар был отменным солдатом, и армия, которую он оставил после себя, вероятно, не уступала легионам Тита или Траяна. В любом случае, если бы у Юстиниана было достаточно средств, есть основания предполагать, что он мог бы восстановить границы империи. Его трудность заключалась не в недостатке физической силы, а в нехватке богатых врагов; в шестом веке завоевания перестали приносить прибыль. Территория, открытая для вторжения, подвергалась опустошению на протяжении поколений, и вряд ли можно было найти страну, достаточно богатую, чтобы возместить расходы на кампанию наемников. Следовательно, чем больше император расширял свои владения, тем больше они истощались; и, в конце концов, чтобы обеспечить войны, субсидии варварам и строительство, Юстиниану пришлось прибегнуть к чрезмерному налогообложению. С новой нуждой пришел новый упадок, и, возможно, завершение строительства Святой Софии в 558 году можно рассматривать как точку, с которой раса, задумавшая этот шедевр, поспешила к своему вымиранию.

В седьмом веке азиатская конкуренция поглотила европейцев в Леванте, как за триста лет до этого поглотила земледельцев Италии; и это была болезнь, излечить которую могла только изоляция. Но изоляция центра обмена была невозможна, поскольку жизненно важным принципом экономической эпохи является конкуренция, и, когда облегчение, предоставленное падением Рима, было исчерпано, конкуренция сделала свое дело с неумолимой быстротой. При Иракии (610-640) численность населения быстро сокращалась, и к 717 году западная кровь иссякла настолько, что безраздельно воцарилась азиатская династия. Повсюду греки и римляне исчезали раньше армян и славян, и в течение многих лет, предшествовавших воцарению Льва Исаврийца, огромные пустынные пространства, где они когда-то жили, систематически заселялись более выносливой расой. Колонисты Юстиниана II. предоставили ему вспомогательную армию. После смерти Юстиниана в 711 году революция была завершена; население обновилось, и Константинополь превратился в азиатский город.[73] Новой аристократией были армяне, самый сильный экономический тип, который когда-либо существовал в Западной Азии; в то время как славянское крестьянство, лежавшее в их основе, было одним из самых стойких представителей человечества. На этом соперничество закончилось, ибо дальше оно идти не могло; и, по-видимому, с восшествия на престол Льва в 717 году до возвышения Флоренции и Венеции триста пятьдесят лет спустя византийское общество по своей неподвижности почти напоминало китайское. Такое движение, как иконоборчество, возникло в результате трений мигрирующих рас со старым населением. Как заметил Тексье об архитектуре: “Со времен Юстиниана и до конца Империи мы не можем заметить ни единого изменения в способах строительства”.[74]

Только много времени спустя, когда деньги, на которые оно поддерживалось, были переведены в Италию во время крестовых походов, социальная структура рухнула; и Гиббон заявил, что третья четверть десятого века “образует самый великолепный период византийских анналов”.[75]

Поздняя Византия была экономической цивилизацией, лишенной стремлений или воображения, и, возможно, самое яркое описание, которое сохранилось об этой показной, грязной, трусливой и косной расе, - это небольшой очерк еврея Вениамина из Туделы, который отправился в Левант в 1173 году.

Бенджамин называл жителей Константинополя греками из-за их языка и описывал город как огромную торговую метрополию, “общую для всего мира, без различия страны или религии”. Сюда стекались купцы с Востока и Запада — из Вавилона, Месопотамии, Мидии и Персии, а также из Египта, Венгрии, России, Ломбардии и Испании. Раввин считал этих людей хорошо образованными и общительными, любящими поесть и выпить, “каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей”. Они любили золото и драгоценности, помпезную роскошь и великолепный церемониал; и еврей с восторгом любовался дворцом с его колоннами из золота и серебра и чудесной короной, так усыпанной драгоценными камнями, что она освещала ночь без лампы. Греки также вызывали у него восторг великолепием своих одежд и конской сбруи, ибо, выезжая за границу, они походили на принцев; но, с другой стороны, он с некоторым презрением заметил, что они крайне трусливы и, подобно женщинам, вынуждены нанимать мужчин для своей защиты.

“Греки, населяющие страну, чрезвычайно богаты и обладают огромным количеством золота и драгоценных камней. Они одеваются в одежды из шелка, украшенные золотом и другими ценными материалами.... Ничто на земле не сравнится с их богатством”.

“Греки нанимают солдат всех наций, которых они называют варварами, для продолжения ... войн с ... турками”. “У них самих нет воинственного духа, и они, как и женщины, непригодны для войны”.^[76]

Перемещение рас в Восточной империи происходило с автоматической регулярностью. Более дешевый организм истребил более дорогой, потому что энергия действовала через деньги достаточно сильно, чтобы вызвать свободную экономическую конкуренцию; и доказательства, на которых основывается этот вывод, можно почерпнуть не только из книг. Чеканка монет и архитектура, скульптура и живопись рассказывают историю с одинаковой точностью.

Когда в четвертом веке богатство, утекавшее по Тибру, унесло в Босфор ядро латинской аристократии, оно унесло с собой и латинскую чеканку монет. На протяжении нескольких поколений эта монета претерпевала незначительные видимые изменения, но после окончательного раздела империи в 395 году между сыновьями Феодосия в составе правящего класса начались незаметные изменения; изменения, отражающиеся от поколения к поколению в выпусках их монетных дворов. Сабатье описал трансформацию, произошедшую за восемьсот лет, со скрупулезностью антиквара.

Если расположить набор византийских монет в хронологическом порядке, то монеты Анастасия, около 500 года, с первого взгляда демонстрируют влияние, которое не является латинским. На реверсе вместе с греческими буквами появились странные надписи. Столетие спустя, когда при Ираклии шел великий упадок, шрифт стал варварским, и преобладание греческих надписей доказывает неуклонное истощение римской крови. Еще пятьдесят лет, и к 690 году, при Юстиниане II, была разработана постоянная и конвенциональная фаза. Использовались религиозные эмблемы; голова Христа была отчеканена на золотом сыне, а неподвижность формы предвещала азиатское господство. Официальные костюмы, портреты императоров, некоторые священные надписи - все оставалось неизменным; и в 717 году на трон взошла армянская династия в лице Льва Исаврийца.^[77] Этот неподвижный период длился полных триста пятьдесят лет, пока мировые обмены сосредоточивались в Византии, а жившая там богатая раса обильно питалась из источника богатства, в котором она находилась. Но еще до крестовых походов поток торговли потек на юг, и, покинув Константинополь, он направился

прямо из Багдада в города Италии. Затем средства к существованию у менял постепенно иссякли. Начиная с правления Михаила VI, на монете были выгравированы изображения святых, а после революции, возглавляемой Алексеем Комнином в 1081 году, казнь пришла в упадок и началось унижение достоинства. Эта революция ознаменовала начало конца. Непосредственно предшествовавшая крестовым походам и сопровождавшаяся острым кризисом, она, вероятно, была вызвана изменением курса иностранных валют. Конечно, курс валюты резко упал, и золотые деньги вскоре стали настолько плохими, что Алексею пришлось оговорить выплату своих долгов в византии его предшественника Михаила.[78] В течение следующих ста лет, по мере роста итальянских городов, Империя приходила в упадок, а в XIII веке, когда Венеция установила свой постоянный серебряный стандарт, отчеканив “гроссо”, Константинополь превратился в руины.

В архитектуре проявляются те же явления, только по-другому облеченные. Хотя немцы, наводнившие Дунай, часто нападали на стены Константинополя, они никогда не становились правящим классом общества, потому что принадлежали к типу людей с богатым воображением. Деньги сохраняли свое господство, и пока они делали это, энергия выражала себя через экономический разум. Хотя Юстиниан был варварской крови, племянником варварского пастуха, окружавшая его аристократия, составлявшая ядро общества, не отличалась ни богатым воображением, ни набожностью. Едва ли христианская, она тяготела к язычеству или скептицизму. Художники принадлежали к касте подвластных, и они зарабатывали себе на жизнь, удовлетворяя вкусы знати; но знать любила великолепие и пышные приемы; следовательно, вся византийская архитектура предпочитала демонстрацию, и нигде так сильно, как в Святой Софии. “Искусство наслаждалось представлением Христа во всем великолепии власти.... Чтобы еще больше прославить его, все великолепие императорского двора было перенесено на небеса.... Христос больше не являлся в благожелательном обличье доброго пастыря, но в великолепном обличье восточного монарха: он восседает на троне, сверкающем золотом и драгоценными камнями”.[79] Тогда между Византией и Парижем лежала непроходимая пропасть; в то время как Византия оставалась экономической и материалистической, Париж вошел в славу эпохи воображения.

Германцы, вторгшиеся на римскую территорию, принадлежали к той же расе, что и греки, латиняне или галлы, но находились на другой стадии развития. Они возделывали фермы, строили деревни и, возможно, крепости, но они не были консолидированы и не имели ни наций, ни федераций. Они находились, по существу, в том же состоянии, в каком находилась обычная семья, когда она разделилась много веков назад, и их умонастроения радикально отличались от умов жителей стран за Дунаем и Рейном. У них было бесконечно больше воображения, и по мере того, как поток эмиграции хлынул с севера, воображение все больше и больше брало верх.

Хотя самые низшие из существующих дикарей относительно развиты, они предполагают, что сильнейшей страстью первобытного человека, должно быть, был страх; и страх не столько перед живыми существами, сколько перед природой, которая казалась ему решительно враждебной. Против диких зверей или таких же дикарей, как он сам, он мог одержать верх хитростью или силой; но против засухи и голода, мора и землетрясения он был беспомощен и считал эти бедствия злобными существами, созданными так же, как он сам, только более грозными. Его первой и самой неотложной задачей было успокоить их, и над классом воинов

возвышалась священная каста, функцией которой было посредничество между видимым и невидимым миром.

Первоначально эти ходатаи, по-видимому, были скорее колдунами, чем священниками, поскольку считалось, что духи враждебны человеку; и, возможно, первое представление о боге было достигнуто благодаря победе клана колдунов в битве. Как сказал Статий восемнадцать столетий назад, “*Primus in orbe deos fecit timor*”.[80] Вероятно, первые волшебники обрели свою власть благодаря открытию природных секретов, которые, хотя и могли быть переданы их потомкам, также могли быть обнаружены незнакомцами. Более поздние первооткрыватели станут соперничающими знахарями, и битва будет единственным испытанием, с помощью которого можно будет определить ортодоксальность соперников. Победители почти наверняка заклеили бы существ, которым служили побежденные, как дьяволов, мучающих людей. Пример этого процесса приведен в восемнадцатой главе 1 Царств:—

И Илия... сказал: доколе будете колебаться между двумя мнениями? если Господь Бог, следуйте ему; а если Ваал, то следуйте ему. И люди не ответили ему ни слова”.

Тогда Илия предложил, чтобы каждая сторона приготовила по тельцу, положила их на дрова и призвала свой дух; и тот, кто ниспослал огонь, должен быть Богом. И весь народ ответил, что это было хорошо сказано. И пророки Иезавели взяли своего тельца, приготовили его и зывали к “Ваалу с утра до полудня, говоря: о Ваал, услышь нас!” Но из этого ничего не вышло.

Тогда Илия насмеялся над ними, “и сказал: кричите громко: ... либо он разговаривает, либо он преследует, либо он в путешествии, или, может быть, он спит, и его нужно разбудить”.

И они громко кричали и резали себя ножами, пока “кровь не хлынула на них. И ... не было ни голоса, ни кого-либо, кто мог бы ответить”. Тогда Илия построил свой жертвенник, и зарезал своего тельца, и возложил его на дрова, и вылил на все двенадцать бочек воды, и наполнил водой ров.

И “сошел огонь Господень и пожрал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и вылизал воду, которая была во рву.

“И когда весь народ увидел это, они пали на лица свои и сказали: Господь, он есть Бог.

“И сказал им Илия: возьмите пророков Вааловых; пусть ни один из них не спасется. И они взяли их; и привел их Илия к ручью Кишон и умертвил их там”.

Немцы четвертого века были очень простой расой, которая мало что понимала в законах природы и поэтому относилась непонятные им явления к сверхъестественному вмешательству. Это вмешательство могло контролироваться только священниками, и, таким образом, вторжения вызвали быстрый рост влияния священного сословия. Сила каждой церковной организации всегда основывалась на чуде, и духовенство всегда доказывало свое божественное предназначение, как это делал Илия. В высшей степени это было в случае со средневековой Церковью. Вначале христианство было социалистическим, и его распространение среди бедняков, по-видимому, было вызвано давлением конкуренции; поскольку секта приобрела достаточное значение, чтобы подвергаться преследованиям, только при Нероне, одновременно с первыми признаками бедствия, появившимися из-за обесценивания динария. Но социализм был лишь преходящей фазой и исчез по мере того, как

денежная ценность чуда возросла и принесла Церкви богатство. При императоре Деции, около 250 года, магистраты считали христиан достаточно богатыми, чтобы использовать в своей службе золотые и серебряные сосуды, а к четвертому веку сверхъестественное настолько овладело народным сознанием, что Константин не только позволил обратить себя чудом, но и использовал чары как орудие войны.

Во время одного из своих маршей он поощрял веру в то, что видел в небе светящийся крест со словами “Этим победи”. На следующую ночь ему явился Христос и повелел изготовить знамя с таким же рисунком и, вооружившись им, уверенно выступить против Максенция.

Легенда, сохраненная Евсевием, возникла после этого события; но именно по этой причине она отражает ощущение эпохи. Воображение его людей стало настолько живым, что, верил он или нет, Константин счел целесообразным использовать Лабарум в качестве талисмана для обеспечения победы. На штандарте были изображены крест и мистическая монограмма; армия считала своих гвардейцев неуязвимыми, и в его последней и самой критической кампании против Лициния вид талисмана не только вызвал энтузиазм в его собственных войсках, но и посеял смятение во враге.

Битва при Мильвийском мосте в 312 году, благодаря которой Константин утвердился в Риме, вероятно, стала тем моментом, когда природа начала решительно дискриминировать людей с деньгами в Западной Европе. Столица уже покинула Италию; вскоре после этого христианство было официально признано, и в течение следующего столетия священник стал считаться такой же силой на войне, как и солдат.

Между тем, по мере того как население истощалось, оно приносило все меньше и меньше доходов, полиция приходила в упадок, а стражи порядка становились неспособными защищать границу. В 376 году готы, сильно теснимые гуннами, вышли к Дунаю и умоляли императора принять их в подданство. После зрелого обсуждения Валент-ский совет удовлетворил просьбу, и около пятисот тысяч немцев были расквартированы в Месии. Намерением правительства было рассеять это множество по провинциям в качестве колонов или призвать их в легионы; но отряд, выделенный для борьбы с ними, был слишком слаб, готы взбунтовались, разбили гвардию вдребезги и, опустошая Фракию в течение двух лет, разбили и убили Валента при Адрианополе. В следующем поколении дезорганизация римской армии стала полной, и Аларих нанес ей смертельный удар в своей кампании 410 года.

Аларих был не готским королем, а варваром-дезертиром, который в 392 году состоял на службе у Феодосия. Впоследствии он иногда выполнял имперские приказы, а иногда возглавлял банды мародеров за свой счет, но всегда испытывал трудности с оплатой труда. Наконец, во время переворота, в ходе которого был убит Стилихон, вспомогательный корпус поднял мятеж и избрал его своим военачальником. Утверждая, что его долги были выплачены, Аларих принял командование и с этой армией разграбил Рим.

Во время кампании отношение христиан было более интересным, чем стратегия солдат. Аларих был разбойником, возглавлявшим мятежников, и все же ортодоксальные историки не осуждали его. Они не осуждали его, потому что священный класс инстинктивно любил варваров, которых они могли внушать благоговейный трепет, в то время как они не могли произвести большого впечатления на материалистический интеллект старого централизованного общества. При империи священники, как и все другие люди, должны были подчиняться власти, которая

платила полиции; и до тех пор, пока из провинций можно было получать доход, христианская иерархия подчинялась богатой бюрократии, у которой были средства принуждать их.

“В качестве фундаментальной максимы римской конституции уже давно было установлено, что все категории граждан в равной степени подчиняются законам и что забота о религии является как правом, так и обязанностью гражданского магистрата”.^[81]

Их обращение мало что изменило в отношении императоров, и Константин и его преемники продолжали осуществлять высшую юрисдикцию над иерархией. Шестнадцатая книга Кодекса Феодосия в достаточной степени раскрывает полноту их авторитета. Теоретически епископы избирались духовенством и народом, но на практике император мог контролировать покровительство, если оно было ценным; и независимо от того, были ли епископы избраны или назначены, до тех пор, пока они создавались и оплачивались мирянами, они были зависимыми. Жречество могло стать автократическим только тогда, когда страх перед чудом освобождал его от ареста; и к середине пятого века этот момент приближался, как видно из результатов посольства Льва Великого к Атилле.

В 452 году гунны перешли Альпы и разграбили Аквилею. Римская армия была деморализована; Аэций не мог противостоять варварам на поле боя; в то время как Валентиниан был настолько охвачен паникой, что оставил Равенну, которая считалась неприступной, и отступил в столицу, которую было невозможно оборонять. В Риме, оказавшись беспомощным в открытом городе, император задумал призвать силу сверхъестественного. Он предложил Льву навестить Атиллу и убедить его пощадить город. Папа согласился без колебаний и с совершенной отвагой приказал отнести себя в палатку гунна, где его встретили с уважением, не омраченным страхом. Легенда, вероятно, довольно точно отражает ощущение того времени. Когда епископ предстал перед королем, Петр и Павел появились с обеих сторон, угрожая Атилле пылающими мечами; и хотя в этой конкретной форме явления можно усомниться, Атилла, без сомнения, был подавлен убеждением, что он недолго переживет взятие Рима. Поэтому он с готовностью согласился принять выкуп и покинуть Италию.

С научной точки зрения святой и колдун родственны; ибо, хотя святой использует сверхъестественное на благо человека, а колдун - во вред ему, оба имеют дело с магией. Средневековый святой был могущественным некромантом. Он исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, предсказывал будущее, тушил пожары, находил украденное имущество, вызывал дождь, спасал от кораблекрушения, разгромил врага, излечивал головную боль, был полновластен при рождении детей и, действительно, мог сделать почти все, о чем его просили, будь он жив или мертв. Считалось, что эта сила кроется в каком-то оккультном свойстве плоти, которое передается при контакте. Женщина в Библии сказала: “Если я только прикоснусь к его одежде, я буду здорова”. Более того, эта жидкость была субстанцией, прохождение которой можно было почувствовать, ибо “Иисус, сразу поняв в себе, что добродетель покинула его, развернул его в толще и сказал: кто прикоснулся к моей одежде?”^[82]

Все, что соприкасалось со святым, вероятно, было пропитано этим магическим качеством и, таким образом, становилось талисманом или реликвией, ценность которой зависела, прежде всего, от силы самого человека, а во-вторых, от тщательности, с которой был заряжен материал.

Гробница, в которой покоилось все тело, естественно, стояла выше всех; затем части тела, в соответствии с их важностью — голова, рука, нога, вплоть до волосков бороды. Затем появились

шляпы, сапоги, пояса, кубки - все, что действительно использовалось. Сама земля, на которой стоял великий чудотворец, могла иметь высокую ценность.

Святой Грааль, в котором содержалась кровь Христа, по команде владельца исцелял раны, воскрешал мертвых и наполнял себя отборной пищей. Евхаристия, хотя и не является реликвией в полном смысле этого слова и становится Богом только с помощью заклинания, в умелых руках могла бы останавливать пожары, излечивать болезни, изгонять бесов, излагать философию и выявлять лжесвидетельство, удушая лжеца.

Каждая награда в жизни должна была быть получена с помощью такого рода магии. Когда короли Франции начинали войну, они носили с собой заколдованное знамя Сен-Дени, и Фруассар рассказывал, как это было даже во времена правления Карла VI. это решило исход битвы при Рузбеке.[83]

Болезни лечились исключительно чудом, и Церковь сочла этот бизнес настолько прибыльным, что предала анафеме практикующих эксперименты. В тринадцатом веке святой Фома Кентерберийский и святой Иаков Компостеллоский были одними из самых известных целителей, и их святилища блистали дарами величайших и богатейших людей Европы. Когда Филипп Август тяжело заболел, Людовик Благочестивый получил разрешение посетить могилу Святого Фомы, находившуюся тогда на пике моды, и оставил в качестве части своего гонорара знаменитый "регал Франции" - драгоценный камень, настолько великолепный, что три с половиной столетия спустя Генрих VIII завладел им и вставил в кольцо на большом пальце. Рядом с этим чудесным драгоценным камнем, при разграблении во время Реформации, "королевский приемщик признался, что золото, серебро, драгоценные камни и священные облачения были изъяты... заполнили двадцать шесть тележек".[84] Старинные книги путешествий полны описаний этого чудесного святилища.

"Но великолепие могилы святого мученика Фомы, архиепископа Кентерберийского, превосходит всякое представление. Он, несмотря на свой большой размер, полностью покрыт пластинами из чистого золота; но золото едва заметно из-за множества драгоценных камней, которыми оно усыпано, таких как сапфиры, алмазы, рубины, балас-рубины и изумруды ... а также агаты, яшмы и сердолики, вставленные в рельефы, причем некоторые камеи такого размера, что я не осмеливаюсь упоминать об этом; но все это остается далеко позади из-за рубина, не больше ногтя большого пальца человека, который установлен справа от алтаря.... Говорят, что это был подарок короля Франции".[85]

Но рядом с этими святынями с мировым именем не было ни одной деревушки, расположенной слишком далеко, чтобы обладать своим местным фетишем, который обходился крестьянам дешево. Любопытный список из них был направлен правительству двумя посетителями Кромвеля в царствование Генриха VIII.

У монахинь церкви Святой Марии в Дерби была часть рубашки святого Фомы, почитаемой беременными женщинами; так же был и пояс святого Франциска в Грейс-Дье. В Рептоне было совершено паломничество к святому Гутлаку и его колокольчику, который надевали на голову от головной боли. Платок святой Одриды использовали при болях в груди, а жезл Аарона - при глистах у детей. В Бери Сент-Эдмундс святыню святого Ботульфа несли процессией, когда требовался дождь, "и мужчины из Кента ... несут оттуда ... восковые свечи, которые они

зажигают в конце поля, пока сеют пшеницу, и надеются на то, что в этом году на пшенице не вырастут ни плевелы, ни другие сорняки”.[86] Самым любопытным из всего, пожалуй, было то, что в Понтефракте почитались пояс и шляпа Томаса, герцога Ланкастерского. Считалось, что они помогают женщинам при родах, а также лечат головную боль.

Святой Фома Аквинский, великий почитатель евхаристии, использовал ее, чтобы помочь себе в своих лекциях. Когда он читал лекцию о догмате Вечери в Парижском университете, ему задавали много вопросов, на которые он никогда не отвечал, не медитируя у подножия алтаря. Однажды, готовя ответ на очень трудный вопрос, он положил его на алтарь и воскликнул: “Господь, который действительно пребывает в Святом Причастии, услышь мою молитву. Если то, что я написал о вашей божественной евхаристии, истинно, пусть это будет дано мне, чтобы учить и демонстрировать это. Если я обманут, остановите меня от предложения доктрин, противоречащих истине вашего божественного Таинства”. Немедленно Господь появился на алтаре и сказал ему: “Ты хорошо написал о Таинстве Моего тела, и ты ответил на вопрос, который был предложен тебе, настолько хорошо, насколько человеческий разум может постичь эти тайны”.[87]

Первобытные люди обращались непосредственно от самих себя к своим богам, и на протяжении всего Средневековья люди верили, что зависть и тщеславие столь же свирепы на небесах, как и на земле, и вели себя соответственно. Корнем монашеского движения была надежда получить преимущества с помощью лести.

“Некий клерк, который больше доверял Матери, чем Сыну, постоянно повторял "Аве Мария" в качестве своей единственной молитвы. Однажды, когда он был так занят, Христос явился ему и сказал: “Моя мать очень благодарит тебя за твои приветствия...*храни и мне привет на память*”.[88]

Для обеспечения постоянного заступничества было необходимо, чтобы хвалебная песнь и дым благовоний были постоянными, и поэтому монахи и монахини день и ночь трудились по своему призванию. Как заметил епископ Меца двенадцатого века, разбуженный однажды морозным утром звоном колокола святого Петра Бульонского, призывающего к заутрене: “Ни ночная дремота, ни горечь ледниковой зимы [не удержали их] от восхваления Творца мира”.[89]

Завещания монастырям носили характер страховых полисов в пользу лица, предоставляющего право, и его наследников не только от наказания в загробном мире, но и от несчастных случаев в этом. На этот счет сомнения невозможны, ибо вера дарителя изложена в бесчисленных хартиях. Седрик де Гильяк в письме la Grande-Sauve сказал, что он пожертвовал, потому что “как вода гасит огонь, так и подарки гасят грех”.[90] А анекдот, сохраненный Дагдейлом, показывает, насколько ценным вложением средств на случай несчастных случаев считался монастырь еще в XIII веке.

Когда Ральф, граф Честерский, основатель монастыря Дьюлакрес, возвращался морем из Святой Земли, однажды ночью его застигла внезапная буря. “Сколько еще времени до полуночи?” он спросил матросов. Они ответили: “Около двух часов”. Он сказал им: “Работайте до полуночи, и я уповаю на Бога, что вы получите помощь и шторм утихнет”. Когда было около полуночи, капитан сказал графу: “Милорд, верьте себя Богу, ибо шторм усиливается; мы

измотаны и находимся в смертельной опасности”. Затем эрл Ральф вышел из своей каюты и начал помогать с веревками и остальными корабельными снастями; вскоре шторм утих.

На следующий день, когда они плыли по спокойному морю, капитан сказал графу: “Милорд, скажите нам, пожалуйста, почему вы хотели, чтобы мы работали до середины ночи, а потом вы работали усерднее всех остальных”. На что он ответил: “Потому что в полночь мои монахи и другие, кого мои предки и я наделили в разных местах, встают и поют божественную службу, и тогда я верю в их молитвы, и я верю, что Бог, благодаря их молитвам и заступничеству, дал мне больше мужества, чем у меня было раньше, и заставил бурю прекратиться, как я и предсказывал”.^[91]

Филипп Август, попав в шторм в Мессинском проливе, проявил такую же уверенность на заутрене в Клерво и также был вознагражден за свою веру хорошей погодой к утру.

Силу воображения, стимулируемую тайной, которая в эпоху децентрализации окутывает действия природы, можно измерить по его эффекту в создании автократического класса чудотворцев. Между шестым и тринадцатым веками около трети территории Европы перешло в руки религиозных корпораций, в то время как основная масса высочайших талантов того времени искала выхода в монашеской жизни.

Сила действовала на всех; ибо, помимо религиозного экстаза, действовали амбиции и страх, которые привели к результатам, невообразимым, когда централизация породила материализм. Положение святого Бернара было более заметным и великолепным, чем у любого монарха его поколения, и агония ужаса, охватившая воинов, обычно была пропорциональна свободе, с которой они нарушали церковные предписания. Они бежали в монастырь, ища защиты от дьявола, и забрали с собой свое богатство.

Жерар ле Блан был даже больше известен своей жестокостью, чем храбростью. Однажды он возвращался в свой замок после совершения убийства, когда увидел, что демон, которому он служил, явился за ним. Охваченный ужасом, он поскакал туда, где шестеро кающихся только что основали Афлигемский монастырь, и умолял их принять его. Новость распространилась, и вся провинция возблагодарила Бога за то, что жестокое чудовище было так обращено.

Через несколько дней его примеру последовал другой рыцарь, такой же убийца, который посетил отшельников и, тронутый их набожностью и аскетизмом, решил отказаться от своего достояния и жить кающимся грешником.^[92]

Если бы переселения немцев были войнами на уничтожение, как их иногда описывают, воображение нового варварского населения могло бы быть настолько возбуждено, что между временами святого Бенедикта и святого Бернарда развилась бы чистая теократия. Но варвары не были движимы ненавистью; напротив, они легко смешались со старым населением, среди которого материализм Рима был подобен скале в приливе, иногда затопляемой, но никогда не уничтожаемой.

Препятствием, которое истинным эмоционалистами так и не удалось преодолеть, было наследование светского духовенства, которое вплоть до XI века, как правило, состояло в браке, а высшие сословия были скорее баронами, чем прелатами. Во Франции архиепископ Реймса, епископы Бове, Нуайона, Лангра и другие были графами; в то время как в Германии

архиепископы Майнца, Трева и Кельна были князьями и курфюрстами, стоящими на том же уровне, что герцоги Саксонии и Баварии.

Как феодальная знать, эти священнослужители были вассалами короля, несли феодальную службу, водили своих вассалов на войну, а некоторые из самых свирепых солдат средневековья были клерками. Мило Тревский был известным епископом восьмого века. Карл Мартелл передал архиепископство Реймса воину по имени Мило, которому также удалось получить Трирскую кафедру. Этот Милон был сыном Басина, последнего обладателя привилегии. Он был свирепым и нерелигиозным солдатом и в конце концов был убит на охоте; но в течение сорока лет, в течение которых он занимал свои должности, Бонифаций, при всей помощи короны и папы римского, не смог одолеть его, и в 752 году папа Захарий написал письмо, в котором советовал предоставить его божественному возмездию.^[93]

Такая система была несовместима с верховенством теократии. Суть теократии заключается в свободе от светского контроля, и эта тяга к свободе была доминирующим инстинктом монашества. Святой Ансельм, возможно, самый совершенный образец монаха, чувствовал это до мозга костей; это была главная страсть его жизни, и он настаивал на этом со всем пылом своей натуры: “*Nihil magis diligit Deus in hoc mundo quam libertatem ecclesiae suæ.... Liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam.*”

Однако лишь очень медленно, по мере распада империи, теократическая идея обретала форму. Еще в девятом веке папа пал ниц перед Карлом Великим и отдал дань уважения, как римскому императору.^[94]

Святой Бенедикт основал Монте-Кассино в 529 году, но прошли столетия, прежде чем орден бенедиктинцев пришел к власти. Первые монастыри были изолированными и слабыми и во многом зависели от милости мирян, которые вторгались в них и развращали. Аббаты, как и епископы, часто были солдатами, которые жили в крепостных стенах со своими женами и детьми, своими ястребами, своими гончими и своими латниками; и было сказано, что во всей Франции только Корби и Флери всегда сохраняли что-то от своей первоначальной дисциплины.

Только в первые годы самого мрачного века средневековья, когда децентрализация достигла кульминации, а воображение начало набирать полную силу, период монашеской консолидации начался с основания Ключи. В 910 году Вильгельм Аквитанский составил хартию^[95], которая, насколько это было возможно, предусматривала полную независимость его новой корпорации. Епископ не посещал их и не вмешивался в выборы настоятеля. Монахи были отданы непосредственно под защиту папы римского, который стал их единственным настоятелем. Иоанн XI. подтвердил этот устав своей буллой 932 года и разрешил присоединение всех монастырей, пожелавших принять участие в реформе.^[96]

Рост Ключи был поразительным; к XII веку две тысячи домов подчинились его власти, и его богатство было так велико, а постройки такими обширными, что в 1245 году Иннокентий IV, император Балдуин и Людовик Святой поселились все вместе в его стенах, а вместе с ними и вся свита прелатов и знати со своими слугами.

В одиннадцатом веке не существовало другой силы равной энергии. Монахи были самым богатым, способным и лучше всего организованным обществом в Европе, и их влияние на человечество было пропорционально их силе. Они интуитивно стремились к автократической власти, и в течение столетий, когда природа благоволила им, они переходили от триумфа к

триумфу. Сначала они захватили папство и сделали его самовоспроизводящимся; затем они дали бой мирянам за обладание светской иерархией, которая находилась под светским контролем с самого основания Церкви.

Около 1000 года в Риме царил хаос. Графы Тускулума, которые часто выбрасывали тиару, после смерти Иоанна XIX купили ее для Бенедикта IX. Бенедикту тогда было десять лет, но с возрастом ему становилось все хуже, и в конце концов он пал так низко, что был изгнан народом. Ему наследовал Сильвестр; но через несколько месяцев после его коронации Бенедикт вновь вошел в город и короновал Иоанна XX собственными руками. Вскоре после этого он напал на Ватикан, и затем в Риме вместе правили три папы. В этот кризис Григорий VI попытался восстановить порядок, купив папство для себя; но сделка лишь добавила четвертого папу к трем уже посвященным, и два года спустя он был смещен императором Генрихом, который назначил на его место своего собственного канцлера.

Это был последний триумф мирян, но триумф, который легче завоевать, чем поддерживать. Когда солдат назначил первосвященником христианского мира, он действительно внушал такой ужас, что ни один человек в великом собрании не осмелился протестовать; но через девять месяцев Климент был мертв, его преемник прожил всего двадцать четыре дня, отравленный, по слухам, вероломными итальянцами; и когда Генрих искал третьего папу среди своих прелатов, он встретил всеобщую робость принять этот пост. Затем монахам представился удобный случай: они воспользовались им и с безошибочным инстинктом утвердились на троне, с которого их никогда не изгоняли. Согласно живописной легенде, Бруно, епископ Тульский, соблазненный лестью придворных и соблазнами честолубия, принял тиару из рук императора и отправился в свое путешествие по Италии с великолепной свитой, а также со своей мантией и короной. По пути он свернул в сторону в Ключи, где Хильдебранд был приором. Гильдебранд, исполненный духа Божьего, упрекнул его в том, что он силой захватил место наместника Христа и принял священный сан из кощунственной руки мирянина. Он призвал Бруно отбросить свою помпезность и смиренно пересечь Альпы как паломник, заверив его, что священники и народ Рима признают его своим епископом и изберут в соответствии с каноническими нормами. Тогда он вкусил бы радости чистой совести, войдя в лоно Христа как пастырь, а не как разбойник. Вдохновленный этими словами, Бруно распустил свою свиту и вышел из ворот монастыря паломником. Он ходил босиком, и когда после двух месяцев благочестивых размышлений он предстал перед собором Святого Петра, он обратился к народу и сказал им, что это была их привилегия - избрать папу, и поскольку он пришел неохотно, он вернулся бы снова, если бы не их выбор.

Ему ответили одобрительными возгласами, и 2 февраля 1049 года он был возведен на престол как Лев IX. Его первым действием было назначение Хильдебранда своим министром.

Легенда повествует о триумфе Ключи так, как этого не могли бы сделать никакие исторические факты. Десять лет спустя, в царствование Николая II, теократия увековечила себя, приняв решение об избрании папы римского коллегией кардиналов, и в 1073 году Гильдебранд, воплощение монашества, был коронован под именем Григория VII.

С избранием Хильдебранда началась война. Римский собор, состоявшийся в 1075 году, постановил, что священный сан не должен признаваться в тех случаях, когда инвеститура была дарована мирянином, и что князья, виновные в присвоении инвеституры, должны быть

отлучены от церкви. Собор следующего года, отлучивший императора от церкви, также провозгласил знаменитые положения Барония — полное выражение теократической идеи:

“Что только римского понтифика можно назвать вселенским.

“Что он один может низложить или примирить епископов.

“Что его легат, хотя и более низкого ранга, имеет преимущество перед всеми епископами на соборе и может вынести приговор о низложении их.

.....

- Что все принцы должны целовать ноги только папе римскому.

.....

- Чтобы он мог низлагать императоров.

.....

“Что его суждения никто не может отменить, и он один может отменить суждения всех.

- Что его никто не может судить.

“Римская церковь никогда не ошибалась и не может ошибаться, как свидетельствует Священное Писание.

.....

“Что по его указанию и разрешению подданным законно обвинять своих князей.

.....

“Что он способен освободить от их верности подданных нечестивых”.^[97]

Монахи завоевали папство, но император все еще поддерживал свое светское духовенство, и на сейме в Вормсе, где он предпринял попытку низложить Гильдебранда, его поддержали его прелаты. Ни секунды не колеблясь, чародей произнес свое заклинание, и интересно увидеть в проклятии, которое он обрушил на мирянина, как глава монашества отождествился с духом, которому он служил. Священник вырос и стал богом на земле.

“Будучи столь тверд в этой уверенности, ради чести и защиты вашей Церкви, от имени всемогущего Бога, Отца, Сына и Святого Духа, вашей силой и авторитетом, я запрещаю правление германским и итальянским королевствами королю Генриху, сыну императора Генриха, который с неслыханным высокомерием восстал против вашей Церкви. Я освобождаю всех христиан от клятв, которые они дали или могут дать ему, и я запрещаю кому бы то ни было повиноваться ему как королю”.^[98]

Генрих двинулся походом на Италию, но во всей европейской истории не было драмы более грандиозной, чем искупление его святотатства. Для его солдат мир был огромным пространством, населенным теми фантастическими существами, которых до сих пор можно увидеть на готических башнях. Эти демоны подчинились римскому монаху, и его армия, отступив от императора под воздействием безымянного ужаса, оставила его беспомощным.

Григорий лежал, как волшебник, в крепости Каносса; но ему не нужно было плотское оружие, потому что, когда император достиг Альп, он был почти один. Затем его воображение тоже воспламенилось, им овладела паника, и он взмолился о пощаде.

Целых три дня он стоял босиком на снегу у ворот замка; и когда наконец его впустили, полуголого и онемевшего, он был парализован скорее ужасом, чем холодом. Затем было совершено великое чудо, посредством которого Бог был призван публично рассудить их.

Хильдебранд взял освященную облатку и разломил ее, сказав просителю: “Суждения человека ошибочны, Божьи непогрешимы; если я виновен в преступлениях, в которых вы меня обвиняете, пусть Он убьет меня, пока я ем”. Он поел и отдал то, что осталось, Генри; но, хотя для него на карту было поставлено больше, чем жизнь, он не осмелился попробовать хлеб. С этого часа его судьба была решена. Он подвергся епитимье и получил отпущение грехов; а когда ему удалось сбежать от ужасного старика, он возобновил войну. Но чары овладели им, ужас не отпускал его, даже сыновья предали его, и в конце концов его разум уступил под натиском, и он отрекся от престола. По его собственным словам, чтобы спасти свою жизнь, он “отправил в Майнц корону, скипетр, крест, меч, копье”.

7 августа 1106 года Генрих умер в Льеже, изгой и нищенствующий, и долгих пять лет его тело лежало у дверей церкви, проклятое, которое никто не осмеливался похоронить.

Такова была эволюция средневековой теократии, результат той социальной дезинтеграции, которая стимулирует человеческое воображение и заставляет людей съезживаться перед неизвестным. Сила, вызвавшая возникновение независимого священства, была эквивалентом магии, и именно нарастание этой силы в результате распада Западной империи привело к расколу христианского мира надвое. Латинская церковь отделилась от греческой, потому что она была отражением творческого разума. В то время как Запад становился эмоциональным, Константинополь оставался центром обмена, резиденцией богатого класса; и когда Ключи захватил Рим, антагонизм между этими непримиримыми инстинктами ускорил разрыв. Раскол начался в 1054 году, через пять лет после коронации Льва. Теория также не нова; она была объяснена Гиббоном давным-давно.

“Растущее величие Рима больше не могло мириться с наглостью мятежника; и Михаил Церуларий был отлучен от церкви в самом сердце Константинополя папскими легатами....

“По этому удару молнии мы можем датировать завершение раскола. Оно увеличивалось с каждым честолюбивым шагом римских понтификов; императоры краснели и трепетали при мысли о позорной судьбе своих царственных братьев в Германии; а народ был шокирован светской властью и военной жизнью латинского духовенства”.^[99]

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Пока механические искусства не продвинулись достаточно далеко, чтобы заставить атаку на войне преобладать над обороной, централизация не может начаться; ибо, когда глинобитная стена может остановить армию, полиция невозможна. Превосходство в атаке было секретом могущества богатого класса, контролировавшего Рим, потому что с помощью денег можно было поддерживать механизм, который исключал возможность индивидуального сопротивления и затруднял восстание. У Тита было едва ли больше проблем с захватом Иерусалима и рассеянием евреев, чем у современного офицера при аналогичных обстоятельствах.

По мере того как варвары наводняли римские провинции, а искусство приходило в упадок, менялись условия жизни. Оборона неуклонно уступала атаке, и по прошествии нескольких столетий городу с хорошим гарнизоном, прочными валами и обильным провиантом нечего было бояться величайшего короля. Даже маленькая квадратная нормандская башня была практически неприступна. Как объяснил Виоле-ле-Дюк, эти башни были всего лишь пассивными укреплениями, грозными для осаждающих только потому, что не существовало механизмов для проделывания бреши в стене. Осажденным дворянам оставалось только следить за своими людьми, следить за своими дверями, метать снаряды во врага, если он подходил слишком близко, подрываться на минах, если они были заминированы, и они могли бросать вызов огромной армии до тех пор, пока у них не кончалась еда. Голод был врагом, которого больше всего боялись.^[100]

К одиннадцатому веку эти башни выросли по всему Западу. Даже монастыри и церкви можно было защитить, и каждая такая крепость была резиденцией графа или барона, аббата или епископа, который был сувереном, потому что никто не мог его принудить, и который поэтому пользовался всеми правами суверенитета, развязывал войны, вершил правосудие и чеканил монеты. Только во Франции в двенадцатом веке насчитывалось около двухсот монетных дворов.

Вплоть до конца правления династии Меровингов золотой стандарт сохранялся, и его сокращение неуклонно продолжалось; но по непонятным причинам при второй расе покупательная способность слитков временно снизилась, и это расширение, вероятно, было одной из главных причин процветания правления Карла Великого. Возможно, облегчение было вызвано постепенным возвращением серебра в обращение, поскольку затем чеканка монет была реформирована, и установление серебряного фунта стерлингов в качестве меры стоимости можно рассматривать как основу всех денежных систем современной Европы.

Период процветания был, однако, кратким; постоянного пополнения запасов драгоценных металлов произведено не было, и цены продолжали падать, о чем свидетельствует быстрое обесценивание валюты. В этот второй период рецидива дезинтеграция достигла своего предела.

В течение десятого и одиннадцатого веков норманны наводнили побережье Франции и плыли вверх по рекам, сжигая и опустошая все, вплоть до Руана и Орлеана. Были разграблены даже монастыри Святого Мартина Турского и Сен-Жермен-де-Пре. Средиземное море кишело сарацинскими корсарами, которые взяли Фраксинетум близ Тулона, захватили перевалы в Альпах и вимали пошлину за проезд в Италию. Гунны-каннибалы захватили низовья Дуная и

закрыли дорогу на Константинополь. Западная Европа была отрезана от остального мира. Торговля почти прекратилась — дороги были такими плохими и опасными, а море кишело пиратами.

Древний запас научных знаний постепенно был забыт, и воображение дало полную волю. На философию это оказало решающее воздействие; христианство опустилось до уровня, когда оно более живо привлекало умы окружающих язычников, чем их собственная вера, и тогда обращение шло быстрыми темпами. В 912 году был крещен Ролло Нормандский; датчане, норвежцы, поляки и русские последовали за ним; а в 997 году святой Стефан взошел на престол Венгрии и вновь открыл латинским христианам путь ко Гробу Господню.

Возможно, судьба современной Европы зависела от того факта, что христианские святыни находились в Азии, и поэтому паломничество привело Запад в соприкосновение с Востоком. Но паломничество было результатом поклонения реликвиям, а поклонение реликвиям - жизненным принципом монашества. В эти столетия крайней доверчивости монашество пережило свой самый сильный рост. Способность к научным исследованиям была ненормальной, а экспериментальные знания приписывались колдовству. Монах Герберт, ставший папой римским как Сильвестр II, был, вероятно, самым замечательным человеком своего поколения. Хотя он был беден и имел скромное происхождение, он привлек к себе столько внимания, что его отправили в Испанию, где он учился в мавританских школах Барселоны и Кордовы и где постиг азы математики и географии. Его современники были настолько сбиты с толку его знаниями, что подумали, что это связано с магией, и рассказали, как его видели летящим домой из Испании на спине демона, которому он служил, и нагруженным книгами, которые он украл у волшебника, своего хозяина. Сильвестр умер в 1003 году, но долгое время спустя анатомия все еще осуждалась Церковью, и четыре отдельных собора предали анафеме экспериментальную медицину, потому что это угрожало уничтожить ценность святынь. Господство Ключни началось со святого Гуго, который был избран аббатом в 1049 году, в год избрания Льва. Затем корпорация получила контроль над Римом и еще двадцать пять лет вела отчаянную борьбу с остатками старой светской полицейской власти. Но хотя Хильдебранд сокрушил Генри, древний материализм укоренился слишком глубоко, чтобы его можно было искоренить за одно поколение, а тем временем воображение было доведено до неконтролируемой интенсивности. Среди людей закипело новое, более яростное возбуждение — видение завоевания талисманов, настолько могущественных, что их владельцы будут уверены в небесах и абсолюте на земле.

Притягательность Палестины почувствовалась очень рано, поскольку в 333 году был написан путеводитель под названием "*Маршрут из Бордо в Иерусалим*", в котором был указан маршрут через долину Дуная вместе с прекрасным описанием Святой Земли. В те дни, до нашествия варваров, путешествие было достаточно безопасным; но впоследствии сообщение почти прекратилось, и когда Стефан был крещен в 997 году, иерусалимские реликвии обрели всю прелесть новизны. Европа пылала энтузиазмом. Сильвестр предложил крестовый поход, а Хильдебранд заявил, что скорее рискнет своей жизнью ради святых мест, "чем будет править вселенной".

С каждым годом толпы на дороге увеличивались, по пути возникали монастыри, приютившие паломников, все население помогало им и благоговело перед ними, и к тому времени, когда

Клюни захватил тройную корону, они ушли настоящими армиями. Ингульф, секретарь Вильгельма Завоевателя, выступил в поход в 1064 году с семитысячным отрядом.

В тот век веры никакой такой мощный стимулятор не мог воспламенить человеческий мозг, как марш на Иерусалим. Крестовый поход был не вульгарной войной за вульгарную добычу, а союзом со сверхъестественным для завоевания талисманов, обладание которыми было равносильно всемогуществу. Слова Урбана в Клермоне, когда он впервые проповедовал священную войну, теперь потеряли свой смысл; но тогда они горели подобно огню в сердцах его слушателей, ибо он обещал им славу на земле и блаженство на небесах, и по существу он говорил так: "Вы больше не нападаете на замок или город, но вы предпринимаете завоевание святых мест". Если вы одержите победу, на вашу долю выпадут благословения небес и восточных царств; если вы падете, вам выпадет слава умереть там, где умер Христос, и Бог не забудет, что видел вас в Своем святом воинстве.^[101]

Урбан сказал им, "что под руководством их генерала Иисуса Христа... они, христиане, непобедимая армия", пойдут к верной победе. В одиннадцатом веке этот язык не был метафорой, ибо клюнийский монах говорил как выразитель бога, который действительно был среди них, предлагая крест, который он принес из могилы, и обещая им триумфы: не обычные триумфы, которые могут быть одержаны человеком без посторонней помощи, но трансцендентную славу, которая принадлежит существам другого мира.

Итак, крестоносцы отправились на битву, настоящие сказочные рыцари, облаченные в непробиваемые доспехи, верхом на чудесных конях, вооруженные неуязвимыми мечами и несущие в себе зачарованные жизни.

Целые деревни, даже целые районы опустели; земля потеряла свою ценность; то, что нельзя было продать, было брошено; и крестьянин, нагруженный своим скудным имуществом, отправлялся пешком со своей женой и детьми на поиски Гроба Господня, настолько не разбираясь в пути, что принимал каждый город по дороге за Сион. Хотел он того или нет, аристократ должен был вести своих вассалов или быть покинутым, и верхом во главе их со своими ястребами и гончими он отправился в ту чудесную страну богатства и великолепия, где королевства ждали прихода преданного рыцаря Бога. Так мужчины, женщины и дети, князья и крепостные, священники и миряне бесчисленной пестрой толпой устремились к этому могучему кресту и гробнице, обладатель которых был возвышен над ограничениями плоти.

У крестоносцев не было ни комиссариата, ни обоза с припасами, ни боевых машин, ни другого оружия, кроме того, что было у них в руках, и святых реликвий, которые они носили с собой. Не было ни генерала, ни общего языка, ни организации; и вот по неизвестным дорогам, среди враждебных народов они странствовали от Рейна до Босфора, а от Босфора до Сирии.

Эти ранние крестовые походы были вооруженным переселением, а не военным вторжением, и если бы они встретились с решительным врагом, то были бы уничтожены; но случилось так, что сирийцы и египтяне находились в состоянии войны, и ссора была настолько ожесточенной, что халиф фактически искал союза с христианами. Даже при таких обстоятельствах гибель людей была невероятной, и, если бы Антиохия не была предана, голодающий сброд, должно быть, погиб под ее стенами. В Иерусалиме франки также были доведены до последней крайности, прежде чем овладели городом; и если бы не прибытие корпуса генуэзских инженеров, которые построили передвижные башни, они бы мучительно умерли от голода и жажды. Прибытие этого

подкрепления также не было предопределено заранее. Напротив, итальянцы случайно потеряли свои корабли в Иоппии и, оставшись без крова, как раз вовремя обратились за защитой в лагерь осаждающих.

Крестоносцы были настолько неспособны к регулярным действиям, что даже когда башни были закончены и вооружены, вожди не знали, как засыпать ров, и Раймонду Сен-Жильскому не нашлось ничего лучшего, как предложить пенни за каждые три камня, брошенных в ров.

15 июля 1099 года Иерусалим был взят штурмом; почти ровно через три года после начала марша. Восемь дней спустя Готфрид де Бульон был избран королем, а затем захватчики распространились по полосе гористой местности, граничащей с побережьем Палестины и Сирии, и вожди построили замки в горных ущельях и связали себя прочным союзом против общего врага.

Децентрализация колонии была почти невероятной. Ядром королевства было баронство Иерусалим, которое простиралось только от египетской пустыни до ручья к северу от Бейрута и вглубь страны до Иордана и отрогов холмов за Мертвым морем, и все же оно было разделено на более чем восемнадцать независимых феодальных владений, чьи лорды обладали всеми правами суверенитета, вели войны, вершили правосудие и чеканили деньги.^[102]

Помимо этих мелких государств, порты были переданы итальянским городам, чьи флоты помогли в завоевании. Венеция, Генуя и Пиза располагали резиденциями в Аскалоне, Иоппии, Тире, Акко и Бейруте, которыми управляли консулы или виконты, враждовавшие друг с другом и с центральным правительством.

Таково было королевство, в котором правил Годфри, но было еще три подобных ему, которые вместе составляли франкскую монархию. К северу от баронства Иерусалим лежало графство Триполи, а за пределами Триполи, простирающееся до Армении, находилось княжество Антиохия. К востоку от Антиохии графство Эдесса простиралось вдоль подножия Таврских гор и несколько неопределенно простиралось за Евфратом.

Таким образом, на севере Эдесса была окраиной Христианского мира, в то время как на юге замок Карак, который контролировал караванную дорогу между Суэцем и Дамаском, занимал соответствующее положение среди холмов к востоку от Мертвого моря.

За горами великая равнина простирается в Центральную Азию, и на этой равнине франки никогда не могли удержаться на ногах. Их неспособность сделать это доказала их гибель, поскольку их позиция была открыта для нападения из Дамаска; и именно действуя из Дамаска как из базы, Саладину удалось форсировать перевал Баниас и рассечь латинские владения надвое в битве при Тверии.

Таким образом, значительная часть европейцев была вбита подобно клину между Египтом и Греческой империей, двумя высочайшими цивилизациями Средневековья, в то время как впереди лежали сирийские города на равнине, с которыми христиане находились в состоянии постоянной войны. Контакт был самым тесным, борьба за существование - самой острой, и варварский ум получил стимул, мало чем отличающийся от импульса, который Галлия получила от Рима; ибо промежуток, отделявший Восток от Запада в начале двенадцатого века, был, вероятно, не меньше того, который отделял Италию от Галлии во времена Цезаря.

Когда Годфри де Бульон принял крест, Византийская империя уже тонула. Восточная торговля, которая на протяжении стольких веков питала ее население, начала перетекать непосредственно из Азии в Италию, и по мере того, как экономическая аристократия столицы теряла свою подпитку, она теряла и свою энергию. Очевидно, он пал в 1081 году в результате революции, которая возвела на трон Алексия Комуэна. Из-за того, что Алексей разграбил Константинополь со сторонниками-полукровками из греков, славян и болгар, его называют первым греческим императором, но на самом деле чистая греческая кровь давным-давно исчезла. Население Византии в конце XI века представляло собой осадок множества рас — смесь славян, армян, евреев, фракийцев и греков; остаток самых стойких организмов после того, как исчезло все, что было выше. Армия представляла собой смешанную орду гуннов, арабов, итальянцев, бриттов, франков; короче говоря, всех, кто мог сражаться и был выставлен на продажу, в то время как Церковь была раболепной, фантазии умерли, а искусство и литература благоухали разлагающимся богатством.

Тем не менее, с момента падения Рима Константинополь был резервуаром, откуда Запад черпал все свои материалистические знания, и поэтому именно в те столетия, когда долина Дуная была закрыта, искусство достигло своего самого низкого уровня за Альпами и Рейном. После того, как в царствование Стефана паломничества возобновились, Босфор снова оказался на пути путешественников, и по мере того, как возвращающиеся паломники распространялись по Западу, на их пути последовало возрождение; возрождение, в котором дух Византии все еще можно отчетливо прочесть в архитектуре Италии и Франции. Святой Марк — слабая имитация Святой Софии, в то время как Виоле-ле-Дюк описал, как долго он колебался, прежде чем смог решить, греческой или французской была резьба Везеле, Отена и Муассака; и подробно остановился на кропотливой тщательности, с которой он изучал весь материал, прежде чем убедился, что камни были вырезаны художниками, получившими образование в Клуни, которые копировали византийские модели.^[103]

Но огромная пропасть между экономическим развитием и развитием воображения отделяла умирающее греческое общество от полудетства франков; пропасть по своей природе непроходимая, поскольку вызвана различием в мышлении, и которая, возможно, наиболее ярко проявляется в религиозной архитектуре; ибо религиозная архитектура, хотя и всегда воплощала высочайшие поэтические устремления каждой цивилизации, все же имела на Востоке и Западе диаметрально противоположные отправные точки.

Святая София полна духа эпохи Юстиниана. В постройке церкви не было никаких попыток придать ей таинственности или даже торжественности, поскольку разум архитектора, очевидно, был сосредоточен на решении проблемы обеспечения как можно большего и светлого пространства, в котором можно было бы отобразить функции плутократического двора. Его решение оказалось блестяще успешным. Он увеличил купол и уменьшил опоры, пока не осталось ничего, что могло бы помешать обзору, и казалось, что крыша подвешена в воздухе. Для его цели внешность имела мало значения, и он пожертвовал ею.

Концепция французских архитекторов была противоположной этой, поскольку она была в высшей степени эмоциональной. Полумрак высоких сводов, тускло освещенный приглушенным великолепием цветных окон, превратил интерьер готического собора в самое таинственное и волнующее святилище для празднования чуда, которое когда-либо было задумано человеком; в то время как снаружи двери и окна, шпили и контрфорсы были покрыты ужасающими фигурами

демонов и величественными фигурами святых, предостерегающими мирян от подстерегающей снаружи опасности и призывающими их искать убежища внутри.

Но если греки и франки не имели особого сходства друг с другом, то с сарацинами дело обстояло иначе, которые были тогда в полном расцвете своего интеллектуального расцвета и в зените своего материального великолепия.

В одиннадцатом веке, когда Париж все еще был скоплением хижин, прячущихся на островах Сены, а дворец герцога Нормандского и короля Англии был жалким Белым лондонским тауэром, Каир украшали шедевры, которыми до сих пор восхищается мир.

Присс д'Авенн считал, что среди городских ворот Баб-эль-Наср стоит на первом месте по “вкусу и стилю”, а знаменитые Баб-эль-Зуйли относятся к тому же периоду. Он также считал мечеть Тейлун “образцом элегантности и величия” и заметил, критикуя мечеть султана Хасана, построенную в 1356 году, что, несмотря на внушительность и красоту, ей не хватает единства, которое можно найти только в более ранних арабских памятниках, таких как Тейлун.^[104] Действительно, слишком очевидны признаки того, что с двенадцатого века в Египте начал ослабевать инстинкт формы, самый верный предвестник художественного упадка.

Великолепие убранства и обстановки арабских дворцов и домов редко кому удавалось превзойти, и несколько выдержек из описи распродажи коллекций халифа Мостансер-Биллаха, состоявшейся в 1050 году, могут дать некоторое представление о ее великолепии.

Драгоценные камни.—Сундук, содержащий 7 глиняных изумрудов; каждый из них стоит не менее 300 000 динаров, что составляет в общей сложности по самой низкой оценке 36 000 000 франков.

Ожерелье из драгоценных камней стоимостью около 80 000 динаров.

Семь *ваибов* великолепного жемчуга, присланных эмиром Мекки.

.....

Стекло.—Несколько сундуков, содержащих большое количество ваз ... из чистейшего хрусталя, чеканных и простых.

Другие сундуки, наполненные драгоценными вазами из разных материалов.

.....

Столовые приборы.— Большое количество золотой посуды, эмалированной или простой, в которую были инкрустированы всевозможные цвета, образующие самые разнообразные узоры.

.....

Сотня чаш и других форм из безоарового камня, на большинстве из которых было выгравировано имя халифа Гарун-эль-Рашида.

Еще одна чашка, которая была 3 ½ ладони шириной и одна глубиной.

Разные статьи.—Шкатулки, содержащие чернильницы различной формы, круглые или квадратные, маленькие или большие, из золота или серебра, сандалового дерева, алоэ,

черного дерева, слоновой кости и всех пород дерева, украшенные камнями, золотом и серебром или отличающиеся красотой и изяществом изготовления.

.....

Двадцать восемь эмалированных блюд, инкрустированных золотом, которые халиф Азиз получил в подарок от греческого императора и каждое из которых оценивалось в 3000 динаров.

Сундуки, наполненные огромным количеством стальных, фарфоровых и стеклянных зеркал, украшенных золотыми и серебряными нитями; некоторые из них были окаймлены камнями и имели сердоликовые ручки, а другие - драгоценные камни. У одного из них была довольно длинная и толстая ручка из изумрудов. Эти зеркала были заключены в футляры из бархата, шелка или самого красивого дерева; их замки были золотыми или серебряными.

.....

Четыреста больших шкатулок, украшенных золотом и наполненных всевозможными драгоценностями.

Различные серебряные предметы домашнего обихода и шесть тысяч золотых ваз, в которые были поставлены нарциссы или фиалки.

Тридцать шесть тысяч кусочков хрусталя, среди них шкатулка, украшенная рельефными фигурами, весом 17 рок.

Большое количество ножей, которые по самой низкой цене были проданы за 36 000 динаров.

.....

Тюрбан, украшенный драгоценными камнями, один из самых любопытных и ценных предметов во дворце: говорили, что он стоит 130 000 динаров. Камни, которые покрывали его и вес которых составлял 17 рок, были разделены между двумя вождями, которые оба претендовали на это. Одному достался рубин весом 23 миткаля, а в доле, которая досталась другому, было 100 жемчужин, каждая из которых весила 3 миткаля. Когда двум генералам пришлось бежать из Фостата, все эти ценности были отданы на разграбление.

Золотой павлин, украшенный самыми ценными драгоценными камнями: глаза были рубинами, перья покрыты позолоченной эмалью, представляющей все цвета павлиньих перьев.

Петух из того же металла, с гребнем из самых крупных рубинов, покрытых жемчугом и другими камнями; глаза также были сделаны из рубинов.

Газель, чье тело было сплошь покрыто жемчугом и самыми драгоценными камнями; живот был белым и состоял из ряда жемчужин чистой воды.

Стол из сардоникса с коническими ножками из того же материала; он был достаточно большим, чтобы за ним могли есть одновременно несколько человек.

Сад, почва из чеканного и позолоченного серебра и желтой земли. Там росли серебряные деревья с плодами из драгоценных материалов.

Золотая пальма, украшенная превосходным жемчугом. Она находилась в золотом сундуке, а ее плоды были сделаны из драгоценных камней, символизирующих финики во всех стадиях зрелости. Это дерево имело неоценимую ценность.^[105]

Примерно в то время, когда монаха Герберта обвинили в колдовстве за то, что он разбирался в элементах геометрии, халиф Азиз-Биллах основал Каирский университет, величайшее мусульманское учебное заведение. Это было за двести лет до организации Парижского университета, и, как говорят, лекции в мечети Эль-Азхар посетили двенадцать тысяч студентов. Мунк придерживался мнения, что арабская философия достигла своего апогея с Аверроэсом, который родился около 1120 года.^[106] Безусловно, он был последним в знаменитой линии, которая началась в Багдаде тремя столетиями ранее; и Оре, описывая великий период Святого Фомы в Париже, подробно остановился на долге западной учености перед сарацинами.

Великолепие Гарун-аль-Рашида до сих пор вошло в поговорку. Рассказы о его золоте и серебре, шелках и драгоценных камнях почти не укладываются в голове, и даже в его правление механическое искусство было настолько развито, что он послал часы Карлу Великому.

Гумбольдт считал арабов основателями современной экспериментальной науки, и они были относительно искусными химиками, поскольку понимали состав серной и азотной кислот, царской водки, а также получение ртути и различных оксидов металлов. Как врачи они намного опередили Европу. В то время как Церковь исцеляла чудесами и ставила экспериментальные методы под свой запрет, знаменитый Разес руководил больницами Багдада, а в десятом веке написал труд в десяти книгах, который был напечатан в Венеции еще в 1510 году.

Практикующие врачи всех стран пользовались его трактатом о оспе и кори; он ввел мягкие слабительные средства, изобрел сетон и был замечательным анатомом. Он умер в 932 году.

Вильгельм Тирский заявил, что франкская знать Сирии предпочитала местных или еврейских врачей; и хотя Саладин послал своего врача к Ричарду, Ричард никогда не думал посылать англичанина к Саладину, когда впоследствии на него напала болезнь.

Даже в середине XIII века в Европе, по-видимому, были достигнуты незначительные успехи, поскольку одним из самых любопытных явлений крестовых походов было улучшение состояния здоровья армии Людовика Святого после ее капитуляции. Во время кампании различные эпидемии приводили к летальному исходу; но когда солдаты были подчинены санитарным правилам египетского медицинского персонала, болезни исчезли.

У арабов был сильный вкус к математике, и они были знакомы с большинством открытий, которые приписываются астрономам пятнадцатого и шестнадцатого веков.

Уже в 1000 году использовалась сферическая тригонометрия, и Абул-Хассан написал превосходный трактат о конических сечениях. В 833 году халиф Эль-Мамун, основав обсерватории в Багдаде и Дамаске, приказал измерить градус на равнине Пальмира. К тринадцатому веку арабские инструменты были сравнительно совершенны. У них были астролябия, гномон, секстант и компас моряка, и Абул-Вафа определил третье изменение Луны за шестьсот лет до Тихо Браге.

Чтобы перечислить все улучшения в сельском хозяйстве и мануфактурах, которые произошли благодаря средневековому паломничеству, потребовался бы отдельный трактат. Один французский ученый задумал написать книгу только о флоре крестовых походов. Шелковицу и

шелкопряда привозили из Греции, кукурузу - из Турции, сливу - из Дамаска, эшалот - из Аскалона, а ветряные мельницы, с помощью которых вплоть до нынешнего столетия мололи кукурузу, были одним из предметов импорта из Леванта.

Можно почти сказать, что все, что Запад знал об искусстве, было изучено на пути к гробнице. Тирийцы научили сицилийцев очищать сахар, а венецианцев делать стекло; дамаская сталь вошла в поговорку, дамасские гончары были мастерами гончаров Франции; шелк, парча и ковры Сирии и Персии были в двенадцатом веке такими, какими они были до наших дней, вызывая одновременно восхищение и отчаяние западных ткачей, в то время как не может быть никаких сомнений в том, что порох был изобретением химиков Востока.

Все свидетельства указывают на то, что оживление произошло из Леванта, и без оживления готическая архитектура никогда не смогла бы развиваться.^[107] До Клермонского собора стрельчатая арка была практически неизвестна к западу от Адриатики; но арабы давно ею пользовались, и ее до сих пор можно увидеть в мечети Тейлуна девятого века.

В Палестине франки были окружены сарацинскими постройками и нанимали сарацинских каменщиков, и внимание западных архитекторов, похоже, привлекли возможности живого дома не раньше, чем они увидели в нем решение тех проблем, которые раньше бросали им вызов. Арка, образованная двумя пересекающимися сегментами круга, могла быть поднята на любую высоту от любого основания и была идеально приспособлена для перекрытия параллелограммов, образованных колоннами нефа. Таким образом, одновременно со строительством церкви Гроба Господня во Франции начался переходный период между романским стилем и готикой. Двумя наиболее важными переходными зданиями были аббатство Сен-Дени и кафедральный собор Нуайона, и, хотя храм Гроба Господня был освящен в 1149 году, строительство аббатства было завершено в 1144 году, и строительство собора началось почти сразу после этого.^[108]

С тех пор движение было стремительным, и до 1200 года кульминацией христианской сакральной архитектуры были эти чудеса красоты - соборы Парижа, Буржа, Шартра и Ле-Алана. И все же, хотя священная архитектура рассказывает историю расцвета воображения как ничто другое, если верно, что централизация зависит от преобладания атаки на войне, самым верным способом измерить продвижение грубых народов к цивилизации должна быть военная инженерия.

В XI веке к северу от Альп эта наука находилась в зачаточном состоянии, и ничто не может произвести большего впечатления, чем сравнение могучих крепостных стен Константинополя с маленькой квадратной башней, которой Вильгельму Завоевателю хватило для его нужд в Лондоне.

Когда крестоносцы впервые столкнулись с греческими и арабскими трудами, они были беспомощны; и их трудности были вызваны не только невежеством. Такие укрепления были чрезмерно дорогостоящими, а феодальное государство было бедным, потому что центральная власть не имела силы принуждать отдельных лиц платить налоги. Иерусалимское королевство находилось в состоянии хронической несостоятельности.

Таким образом, жизнь латинской колонии в Сирии зависела от развития какой-либо финансовой системы, которая должна была сделать возможным укрепление Палестины, и такая система возникла благодаря работе воображения, хотя и необычным образом.

Поклонение фетишам ежегодно приносило очень большой вклад от населения в виде подарков для умиловления святых, и одним из результатов энтузиазма по поводу крестовых походов стало создание монастырских обществ в Святой Земле, которые действовали как постоянные армии. Самыми известными военными орденами были рыцари Храма и рыцари Святого Иоанна. Вильгельм Тирский оставил интересное описание того, как был организован Храм:

“Как будто Господь Бог посылает свою милость туда, куда ему заблагорассудится, достойные рыцари, которые были из земли за морем, предложили навсегда остаться на службе Нашему Господу и жить сообща, как обычные каноники. В руках патриарха они давали обет целомудрия и послушания и отказывались от всего имущества.... Король и другие бароны, патриарх и другие прелаты Церкви дали им средства на жизнь и одежду.... Первое, что было предписано им в качестве прощения за их грехи, - это охранять дороги, по которым проходили паломники, от разбойников и воришек, которые причиняли большой вред. Эту епитимью наложили патриарх и другие епископы. Девять лет они оставались в мирских одеждах, которые им дали рыцари и другие добрые люди из любви к Богу. В девятом веке во Франции, в городе Труа, был созван собор. Там собрались архиепископы Реймса и Сена и все их епископы. Особенно там присутствовали епископ Альбано в качестве папского легата, аббаты Сито и Клерво и многие другие религиозные деятели.

Были установлены порядок и правила, по которым они должны были жить как монахи. Авторитетом папы Гонория и патриарха Иерусалимского было предписано, чтобы их одеяние было белым. Этот орден, как я уже говорил вам, существовал уже девять лет, и тогда было всего девять братьев, которые изо дня в день жили на милостыню. С этого времени их число начало увеличиваться, и им были предоставлены доходы и срок службы. Во времена папы Этигия было приказано, чтобы они вышли на своих ризах и мантиях крест из красной ткани, чтобы их знали все люди.... С этого момента их владения настолько увеличились, как вы можете видеть, что орден Храма находится на подъеме.... Едва ли вы найдете по обе стороны моря христианскую страну, где сегодня у этого ордена нет домов, братьев и больших доходов”.^[109]

Собор в Труа состоялся в 1128 году, и в течение следующих пятидесяти лет, по мере того как феодальная организация латинского королевства приходила в упадок, военные ордена росли в богатстве и могуществе. Госпиталю принадлежало девятнадцать тысяч поместий в Европе, Храму - девять тысяч, и каждое поместье могло содержать рыцаря в полевых условиях.

В Париже дом Тампля занимал целый квартал; его донжон был одним из самых великолепных зданий средневековья; в более поздний период, когда корпорация занялась банковским делом, он служил местом хранения как государственных, так и частных сокровищ, и во времена опасности сам король был рад укрыться в его стенах.

Создание этой монашеской постоянной армии, очевидно, было связано с неполноценностью нападения по сравнению с защитой, что делало гражданскую власть неспособной принудить человека, отказывающегося платить налоги. Мелкие бароны, строившие замки по всей Палестине, были слишком бедны, чтобы возводить укрепления, способные противостоять превосходящим машинам, используемым на Востоке. Таким образом, все бремя войны было возложено на Церковь, и во всей современной истории нет ничего более замечательного, чем то, как была выполнена эта работа.

В течение пятидесяти лет после завоевания феодальный механизм пришел в упадок, и стратегические пункты один за другим переходили в руки сильнейшей силы того времени, силы, которая была воплощением воображения.

Крепости, построенные монахами, были бастионами христианского мира, и среди остатков, сохранившихся в прошлом, пожалуй, нет более впечатляющих, чем огромные замки крестоносцев в ущельях Сирийских гор; и ни один из них не показывает так ясно, откуда взялся рационалистический стимул, который произвел революцию в Европе, разрушил Церковь и привел к возникновению экономического общества, правившего Европой с тех пор, как умерли тамплиеры.

В двадцати пяти милях к западу от Хомса, в том месте, где Ливан переходит в хребет Ансари, горы открываются, и два перевала ведут легкими спусками к морю. Через южную проходит дорога в Триполи, через северную - в Тортосу. Между ними, на скале в тысяче футов над долинами, до сих пор стоит замок Крак де Шевалье, уступленный графом Раймондом Триполийским Госпитальеру в 1145 году. Возвышаясь над равниной, он виден на многие мили, и никакое описание не может дать представления о его гигантских размерах и мощи. Куси и Пьерфон - одни из крупнейших крепостей Европы, и все же Куси и Пьерфон вместе взятые не больше Крака.

По сравнению с ним сооружения, построенные тогда на Западе, были игрушками, а инженерный талант, проявленный в его концепции, не уступал великолепию каменной кладки. Была принята византийская система. Двойная стена, внутренняя, господствующая над внешней, со рвом между ними; и три огромные башни, возвышающиеся надо рвом, образовывали донжон. Здесь были каменные машикули и все усовершенствования обороны, появившиеся во Франции при Людовике Святом и его сыне, и изучение этого грандиозного памятника ясно показывает, откуда европейцы черпали свои военные знания на столетие вперед.

Крак был укреплением, господствовавшим над равниной, где христиане так и не смогли прочно закрепиться, и находился на вершине треугольника крепостей, столь же замечательных, как и он сам. С крепостных стен можно увидеть огромную белую башню Шастель-Блан, расположенную на полпути между аванпостом, господствующим над горными перевалами, и базой на берегу моря, удерживаемой Храмом; и с этой башни отряд тамплиеров поскакал на помощь рыцарям Святого Иоанна в тот день, когда крестоносцы разгромили завоевателя Нур-ад-Дина и разбили его армию вдребезги, когда она бежала к озеру Хомс, которое находится вдалеке.

Но белая башня не похожа на донжоны других земель и несет на себе отпечаток силы, которая ее построила, ибо это не жилище мирянина, а церковь, окна которой прорезаны в стенах толщиной в тринадцать футов, откуда тусклый свет падает на алтарь, где маги творили свои чудеса.

На расстоянии легкой досягаемости лежала Тортоса, город-крепость, надстройка донжона, по крайней мере, такого же прочного, как Крак, построенная с совершенством мастерства и красотой каменной кладки, что сразу доказывает знания и ресурсы ордена. Вероятно, ни один монарх Запада не смог бы в то время предпринять столь дорогостоящее предприятие, и все же Тортоса была всего лишь одним из четырех огромных сооружений, расположенных в

нескольких милях друг от друга. Это место было передано Тамплю в 1183 году, как раз в начале правления Филиппа Августа, еще до того, как люди мечтали о более важных французских укреплениях.

В Маргате, в дне пути на север, у Госпиталья была база на берегу моря: цитадель, стоимость которой, должно быть, была баснословной, поскольку она расположена на скале высоко над Средиземным морем и настолько неприступна, что нелегко понять, как собирались материалы для строительства. Виолле-ле-Дюк, который был в восторге от Куси, заявил, что он достаточно колоссален, чтобы соответствовать расе гигантов, и все же Куси мог бы стоять во дворе Маргата.

Арабы, которые были превосходными инженерами, сочли его шедевром, и султан Калаун не мог смириться с мыслью о том, чтобы повредить его. После того, как он заминировал великую башню и был уверен в победе, он доказал гарнизону, что в его силах разрушить ее, чтобы побудить их принять самые либеральные условия капитуляции и отдать ему награду. Возможно, лучшее описание, когда-либо данное этой работе, содержится в письме, написанном султаном Хамы своему визирю, чтобы объявить о ее падении:

“Сам дьявол получал удовольствие от укрепления его фундамента. Сколько раз мусульмане пытались добраться до его башен и падали в пропасти! Маркаб уникален, он расположен на вершине скалы. Он доступен для рельефа и неприступен для нападения. Только орел и стервятник могут долететь до его крепостных стен”.^[110]

ГЛАВА IV ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Поскольку Восток был богаче Запада, сарацины были способны к более высокой централизации, чем франки, и хотя они были разделены между собой в конце XI века, после падения Иерусалима прошло совсем немного времени, прежде чем началась консолидация, уничтожившая Латинское королевство.

Султан Персии назначил Зенги губернатором Мосула в 1127 году. Зенги, который был первым атабеком, был способным командиром и организатором и с солдатским инстинктом наносил удар там, где его враг был уязвим. Сначала он занял Алеппо, Хаму и Хомс. Затем он добился триумфа своей жизни, захватив Эдессу. В следующем году он был убит, и ему наследовал его еще более знаменитый сын Нур-ад-Дин, который сделал Алеппо своей столицей и посвятил свою жизнь завершению работы, начатой его отцом.

После серии блестящих кампаний, благодаря сочетанию энергии и решительности, Нур-ад-Дин стал хозяином Дамаска и, действуя оттуда как база, завоевал Египет и занял Каир в 1169 году. Во время египетской войны молодой эмир по имени Саладин быстро приобрел известность. Он был племянником командовавшего войсками генерала, после смерти которого халиф назначил его визирем, потому что считал его сговорчивым. В этом халиф ошибся, ибо Саладин был человеком железной воли и непревзойденных способностей. Вильгельм Тирский даже обвинил его в том, что он собственными руками убил последнего фатимитского халифа, чтобы передать

престолонаследие Нур-ад-Дину и самому захватить власть в качестве представителя Нур-ад-Дина.

Несомненно, он управлял Египтом в своих собственных интересах, а не в интересах своего господина; настолько, что Нур-ад-Дин, не добившись повиновения своим приказам, приготовился лично выступить против него, когда накануне своего отъезда он умер. Затем Саладин двинулся на Дамаск и, разгромив армию Эль-Мелека, наследника короны, при Хаме, провозгласил себя султаном Египта и Сирии.

С такой централизованной властью франки, вероятно, при лучших обстоятельствах не смогли бы справиться. Слабость христиан была радикальной и проистекала из буйства их воображения, которое заставляло их прибегать к чудесам, или, более правильно, к магическим формулам. Возвышенное воображение было основой характеров как Людовика VII. , так и святого Бернарда, а вера, проистекавшая из этого, привела к поражению второго крестового похода.

Распад христианства начался с падения Эдессы, поскольку графство Эдесса было крайним северо-восточным штатом латинского сообщества и ключом к городам равнины. Когда первые крестоносцы достигли Армении, Болдуин, брат Годфри де Бульона, задумал создать для себя королевство в христианской стране к югу от хребта Тавр. Взяв с собой тех паломников, которых смог убедить отправиться туда, он отправился из Мамистры, чуть севернее современной Александретты, и двинулся на восток по караванной дороге. Эдесса лежала в шестнадцати часах езды от Евфрата, и он благополучно добрался до нее.

В это время, хотя Эдесса все еще номинально входила в состав Греческой империи, на самом деле она была независимой и управлялась стариком по имени Феодор, который первоначально был прислан из Константинополя, но постепенно занял положение суверена. Окружающая страна была захвачена мусульманами, и Теодор поддерживал себя только за счет уплаты дани. Поэтому народ был готов приветствовать любого франкского барона, способного защитить его; и Болдуин, хотя и нуждающийся авантюрист, был отличным офицером и хорошо приспособился к чрезвычайной ситуации.

Когда он приблизился, горожане вышли ему навстречу и с триумфом сопровождали его в город, где он вскоре вытеснил старого Теодора, которого, вероятно, убил. Затем он стал графом Эдессы, но пробыл в стране всего два года, поскольку в 1100 году был избран преемником своего брата Годфри. За ним в качестве лорда Эдессы последовал его двоюродный брат Годфри де Бург, который, в свою очередь, был коронован королем Иерусалима в 1119 году, а следующим графом был двоюродный брат де Бурга, Жослен де Куртни, который ранее владел в качестве феода территорией к западу от Евфрата. Этот Жослен был одним из самых прославленных воинов, когда-либо приезжавших из Франции, и пока он был жив, граница была хорошо защищена. Его доблесть была столь высока, что он заслужил титул “великого” в эпоху, когда каждый человек был солдатом, и в стране, где оружие было единственным путем к богатству, кроме Церкви.

История его смерти - одна из самых драматичных в то драматическое время. Когда он стоял под стеной сарацинской башни, которую он заминировал, она внезапно рухнула и погребла его под развалинами. Его вынесли изувеченным, чтобы он умер, но, пока он лежал, изнемогая, пришло известие, что султан Иконии осадил один из его замков близ Триполи. Чувствуя, что не может

усидеть на коне, он позвал сына и приказал ему собрать своих вассалов и ехать на помощь крепости. Юноша колебался, опасаясь, что враг слишком многочислен. Тогда старик, с горечью думая о судьбе своего народа, когда его не станет, приказал повесить себя на носилки между двумя лошадьми и выступил против врага.

Он не успел уйти далеко, как его встретил гонец, который сообщил ему, что, когда сарадины услышали, что лорд Кортни выступил в поход, они сняли осаду и бежали. Тогда раненый барон приказал опустить свои носилки на землю и, простирая руки к небу, возблагодарил Бога, оказавшего ему такую честь, что его враги не осмелились вынести его прихода, даже находясь в пасти смерти, и умерли там, где он лежал.

Второе поколение франков, по-видимому, деградировало под влиянием климата, но характер младшего Жослена был не единственной причиной постигших его бедствий. Вероятно, даже его отец не смог бы постоянно противостоять силам, объединившимся против него. Слабость Франкского королевства была врожденной: оно не могло бороться с врагами, которые продвинулись дальше по пути консолидации. Если бы западное общество было достаточно централизованным, чтобы организовать силы, способные собирать налоги и добиваться подчинения центральной администрации, на границе можно было бы содержать наемную армию. Как бы то ни было, сосредоточиться было невозможно, и рассеянная знать была раздавлена по частям.

Антиохия была ближайшим к Эдессе опорным пунктом, и, когда Зенги предпринял свою атаку, правящим принцем был Раймонд де Пуатье, один из самых способных солдат своего поколения. Но он враждовал с Кортни; король в Иерусалиме не мог заставить его исполнить свой долг; другие бароны были слишком далеки, даже если бы были настроены благожелательно; и таким образом ключ к положению христиан пал, так и не нанеся ни одного удара в его защиту.

Тому эмоциональному поколению потеря Эдессы казалась нарушением законов природы; следствием не плохой организации, а божественного гнева. Непобедимые реликвии внезапно отказались действовать, и единственное объяснение, которое приходило в голову людям того времени, заключалось в том, что, должно быть, имело место пренебрежение магическими формулами.

Святой Бернард никогда не сомневался, что Бог будет сражаться, если его должным образом умилоstitвить; поэтому все остальные должны подчиниться задаче умилоstitвления: “Что вы думаете, братья? Неужели рука Господа ослабла или не в состоянии справиться с работой по защите, если он призывает жалких червей охранять и восстанавливать его наследие? Разве он не способен послать более двенадцати легионов ангелов или, говоря по правде, словом освободить свою страну?”^[111]

Святой Бернар из Клерво, душа второго крестового похода, родился в замке Фонтен близ Дижона в 1091 году, так что его первые впечатления, должно быть, были окрашены эмоциональным взрывом, последовавшим за Клермонским собором. Третий сын знатных родителей, он походил на свою мать, обладавшую экстаическим темпераментом. Пока она была жива, она пыталась подражать монахиням, а после смерти ее окружили святые клирики, которые пели вместе с ней, пока она могла говорить, а когда у нее отказывала артикуляция, наблюдали, как ее губы шевелятся в хвале Богу.

С самого начала Бернард жаждал монашеской жизни, а когда вырос, настоял на том, чтобы посвятить себя Небесам. Его первым успехом стало обращение в веру его братьев, которых он взял с собой в монастырь, за исключением младшего, который тогда был ребенком. Когда братья проходили через двор замка, направляясь в монастырь, Гай, старший, сказал мальчику, игравшему там с другими детьми: “Ну что ж, Нивард, вся наша земля теперь твоя”. “Итак, у тебя будет небо, а у меня земля”, - ответил ребенок. - “Это неравное разделение”. И через несколько лет после того, как он присоединился к своим братьям.^[112] Тогда отец и одна дочь остались одни, и в конце концов они тоже ушли в монастыри, где и умерли.

В двадцать два года, когда Бернар принимал постриг в Сито, его влияние было настолько велико, что он привел с собой тридцать своих товарищей, и матери, как говорят, прятали от него своих сыновей, а жены - своих мужей, чтобы он не переманил их. На самом деле он разрушил так много домов, что брошенные жены основали женский монастырь, который впоследствии разбогател.

Его способности были настолько заметны, что начальство выделило его, когда он едва закончил послушничество, для основания дома в дикой местности. Этот дом стал Клерво, в двенадцатом веке самым известным монастырем мира.

В Средние века монастырям почти не покровительствовали, пока каким-то чудом они не доказали, что достойны найма; их ранние годы часто проходили в бедности, и Клерво не был исключением из правил, поскольку братия терпела лишения, которые едва не вызвали восстание. В разгар его трудностей брат Бернара, Жерар, который был келарем, пришел к нему, чтобы пожаловаться на то, что братство лишено самого необходимого для жизни. Человек Божий спросил: “Сколько вам хватит на текущие нужды?” Жерар ответил: “Двенадцать фунтов”. Бернар отпустил его и погрузился в молитву. Вскоре после этого Жерар вернулся и объявил, что какая-то женщина вышла из дома и желает с ним поговорить. “Она, когда он пришел к ней, пала ниц к его ногам и предложила ему подарок в двенадцать фунтов, умоляя его помочь молитвами за ее мужа, который был опасно болен. Коротко поговорив с ней, он отпустил ее, сказав: ‘Иди. Ты найдешь своего мужа в добром здравии’. Она, вернувшись домой, обнаружила, что то, о чем она слышала, сбылось. Настоятель, утешая слабость своего келаря, сделал его сильнее для перенесения других испытаний от Бога”.^[113]

Хотя его семья несколько скептически относилась к его дарам и даже дразнила его до слез, преподобный Уильям рассказывает в своей хронике, как вскоре он совершил поразительное чудо, которое превратило Клерво в “настоящую долину света”, а затем на него посыпались богатства.

Между тем, его конституция, которая никогда не отличалась крепостью, была настолько ослаблена его епитимьями, что он не мог вести монашескую жизнь во всей ее строгости, и поэтому он с головой ушел в политику, к которой его привели как вкус, так и течение событий.

Клерво был основан в 1115 году, и пятнадцать лет спустя Бернар высоко поднялся в своей профессии. Поворотным моментом в его жизни стало участие, которое он принял в признании Иннокентия II. In 1130, Honorius II. умер, и коллегия кардиналов избрала двух пап: Анаклета и Иннокентия II. Анаклет остался в Риме, но Иннокентий пересек Альпы, и в Этампе был созван совет, чтобы принять решение о его титуле. Единогласным голосованием вопрос был передан Бернарду, и его биограф описал, как он со страхом и трепетом изучал доказательства и как,

наконец, Святой Дух заговорил его устами, и он признал Невинного. Его решение было одобрено, и вскоре после этого ему удалось добиться присоединения короля Англии к новому понтифику.

Его успех сделал его выдающимся человеком в Европе, и когда в 1145 году один из его монахов был возведен на папский престол под именем Евгения III, он правдиво написал: “Говорят, что я больше папа, чем вы”.

Возможно, никто никогда не был более одарен экстатическим темпераментом, чем сенбернар. Он обладал таинственным свойством чудес, и в двенадцатом веке чудо было, пожалуй, высшим проявлением силы. Работать с ними было личным даром, и обладатель этой способности мог, по своему капризу, использовать свою силу, подобно колдуну, чтобы помогать другим людям или причинять им вред.

Однажды, когда святой Бернард направлялся в поле во время сбора урожая, монах, правивший ослом, на котором он ехал, впал в эпилептический припадок. “Видя это, святой человек сжалился над ним и взмолился Богу, чтобы в будущем он не захватил его врасплох”. Соответственно, с того дня и до своей смерти, двадцать лет спустя, “всякий раз, когда он заболел этой болезнью, он чувствовал приближение припадка на определенный промежуток времени, так что у него была возможность лечь на кровать и таким образом предотвратить ушибы от внезапного падения”.[114]

Это исцеление было чистым актом милосердия, подобным милостыне, поданной для удовлетворения прихоти святого; и человек, который мог так управлять природой, был могущественнее любого другого на земле. Бернард был таким человеком, и по этой причине он был избран всеобщим одобрением для проповеди второго крестового похода.

Его проповеди погибли, но сохранились два его письма,[115] и они объясняют существенную слабость военной силы, созданной на основе сверхъестественного вмешательства. Он рассматривал приближающуюся кампанию просто как средство для совершения чуда и как средство, разработанное для того, чтобы предложить тем, кто в ней участвует, особый шанс на спасение. Поэтому он обратился к преступным классам. “Ибо что это, как не прекрасный и бесценный шанс на спасение, зависящий только от Бога, что Всемогущий соизволил призвать к себе на службу, как если бы они были невинными, убийц, насильников, прелюбодеев, клятвопреступников и тех, кто виновен во всех преступлениях?”[116]

Даже если бы армия, состоящая из такого материала, была хорошо дисциплинирована и хорошо руководилась, ей нельзя было бы доверять перед лицом такого противника, как Нур-эд-Дин; но король Франции Людовик VII был столь же эмоционален и иррационален, как святой Бернард. Его отец был великим полководцем, но сам он получил образование в аббатстве Сен-Дени и оправдывал презрительную шутку своей жены, которая, уйдя от него к Раймону де Пуатье, сказала, что вышла замуж за монаха. Весь мир относился к нему легкомысленно, даже священники насмехались над ним, а Иннокентий II говорил о нем как о ребенке, “которого нужно остановить от обучения бунту”. Действительно, папа недооценил его, поскольку он назначил своего собственного племянника на кафедру в Бурже вопреки королю, и это оскорбление побудило его к сопротивлению. Людовик собрал армию и вторгся в графство Шампань, где укрылся епископ. Там он взял штурмом и сжег Витри, и около тысячи трехсот мужчин, женщин и детей, нашедших убежище в церкви, погибли в пламени пылающего города.

Ужас, по-видимому, помутил его рассудок, отпущение грехов не успокоило его, и в конце концов он пришел к убеждению, что его единственная надежда на спасение заключается в паломничестве ко Гробу Господню. В Вербное воскресенье 1146 года, когда Бернар обратился с речью к огромной толпе в Везеле, король первым пал ниц и принял крест из его рук.

С этого дня началась самая чудесная часть чудесной карьеры святого, и если бы последующие события были менее достоверны, они были бы невероятны. В ту эпоху чудеса были таким же обычным явлением, как сейчас медицинские излечения, и все же деяния Бернарда настолько поразили его современников, что они составили официально засвидетельствованный отчет о том, что видели, чтобы история его проповеди никогда не подвергалась сомнению.

Когда он приближался к городу, звонили в колокола, и молодые и старые, издалека и вблизи, толпились вокруг него такой плотной толпой, что в Констанце никто не видел, что происходило, потому что никто не осмеливался сунуться в толпу. В Труа ему грозила опасность задохнуться. В других местах больных приносили к нему по лестнице, когда он стоял у окна вне досягаемости. О том, что он сделал, можно судить по работе одного дня.

“Когда святой человек прибыл в Германию, он так чудесно просиял исцелениями, что об этом невозможно рассказать словами, да и никто не поверил бы, если бы об этом рассказали. Ибо свидетельствуют те, кто присутствовал в стране Констанц, близ города Донинген, кто усердно исследовал эти вещи и видел их своими глазами, что в один день одиннадцать слепых прозрели через возложение его рук, десять увечных были исцелены, а восемнадцать хромых выздоровели”.^[117]

Таким образом, буквально тысячами слепые прозревали, хромы ходили, увечные исцелялись. Он изгонял бесов, превращал воду в вино, воскрешал мертвых. Но никакое современное описание не может дать представления о пароксизме возбуждения; истории должны быть прочитаны в самих хрониках. И все же, как ни странно, сила материалистического наследия Империи была такова, что Бернард, похоже, не всегда полностью верил в себя. Он был окрашен некоторым оттенком скептицизма. Встреча в Везеле состоялась 24 марта 1146 года. Четыре недели спустя, 21 апреля, на совете, проходившем в Шартре, командование армией для вторжения в Палестину было предложено аббату Клерво. Если бы святой полностью верил в себя и свои двенадцать легионов ангелов, он бы не колебался, ибо ни один враг не смог бы противостоять Богу. На самом деле он был охвачен паникой и написал папе римскому письмо, которое могло бы приличествовать современному священнослужителю.

Объяснив, что его выбрали командиром против его воли, он воскликнул: “Кто я такой, чтобы приводить в порядок лагерь или маршировать перед вооруженными людьми? Или что же настолько далеко от моей профессии, если бы даже у меня были силы и не было недостатка в знаниях?... Я умоляю вас тем милосердием, которым вы особенно обязаны мне, не оставляйте меня на произвол людей”.^[118]

В 1146 и 1147 годах две огромные смешанные толпы, кишацие преступниками и женщинами, собрались в Меце и Ратисбоне. Как боевая сила эти войска явно уступали отрядам, покинувшим Европу пятьдесят лет назад под командованием Танкреда и Годфри де Бульона, и, кроме того, ими командовал полураздетый король Франции.

Нельзя считать, что немцы принимали какое-либо участие в войне, поскольку они погибли, не нанеся ни одного удара. Греческий император заманил их в горы Малой Азии, где они были

брошены своими проводниками и умирали от холода, голода и жажды, пока сарацины не уничтожили их, не позволив вступить в бой.

У французов дела обстояли немногим лучше. При переходе через горы Кадмус их недисциплинированность привела к поражению, которое заставило Вильгельма Тирского задуматься о путях Божьих.

“Никому не должно быть неприятно то, что совершает наш Господь, ибо все его дела праведны и хороши, но, по мнению людей, было удивительно, как наш Господь позволил франкам (которые являются народом в мире, который верит в него и почитает его больше всего) быть таким образом уничтоженными врагами веры”.^[119]

Вскоре после этой проверки к Людовику присоединился великий магистр Храма, под руководством которого он добрался до Аталии, греческого порта в Памфилии: и здесь, будь король рационалистом, он бы взял город штурмом и использовал его как базу для операций против Сирии. В глазах непрофессионалов неприкрытая враждебность императора полностью оправдала бы такое нападение. Но Людовик был преданным, связанным обетом исполнения определенной мистической формулы, и одной из частей его обета было не нападать на христиан во время его паломничества. По его мнению, опасность катастрофы из-за гнева сверхъестественных сил была больше, чем стратегическое преимущество; и поэтому он позволил своей армии гнить под стенами в разгар зимы без палаток и припасов, пока от нее не осталась лишь тень былой силы.

Наконец губернатор заключил контракт на доставку, но задержался еще на пять недель, и когда транспорты прибыли, их было слишком мало. Даже тогда Людовик не стал наносить удар, но, бросив бедных и больных на произвол судьбы, он отплыл с остатками своего войска, и к весне трупы тех, кого он бросил, вызвали эпидемию, которая опустошила город.

Когда он прибыл в Антиохию, его ожидали новые унижения и бедствия. Раймон де Пуатье был одним из самых красивых и одаренных людей того времени. Приветливый, вежливый, храбрый и проникательный, во многих отношениях великий капитан, его недостатком был вспыльчивый характер, который привел его к гибели. Он оставил Джоселина из ревности, и падение Эдессы стоило ему трона и жизни.

После успехов Зенги очень короткого опыта Нур-ад-Дина было достаточно, чтобы убедить принца Раймонда, что Антиохию невозможно удержать без восстановления границы; и когда прибыл Людовик, Раймонд изо всех сил пытался убедить его отказаться от паломничества на это время и выступить в поход на север.

Вильгельм Тирский считал этот план удачным и полагал, что сарацины в данный момент слишком деморализованы, чтобы сопротивляться. Очевидно, наступая из Антиохии, Нур-ад-Дин мог оказаться изолированным, тогда как на юге его прикрывал Дамаск, одно из самых сильных мест на Востоке.

Такие соображения не имели никакого значения для Людовика, поскольку при его эмоциональном темпераменте военная стратегия заключалась в получении сверхъестественной помощи, без которой никакая мудрость не могла помочь и с которой победа была гарантирована. Поэтому он настаивал на точном исполнении религиозных

обрядов, и одним из самых интересных отрывков в *"Вильгельме Тирском"* является отчет о беседе между ним и Раймондом, когда обсуждалось движение против городов севера.

“Принц, который несколько раз испытывал характер короля наедине и не находил того, что хотел, однажды пришел к нему в присутствии его баронов и высказал свои просьбы в меру своих сил. По многим причинам он доказывал, что если бы он согласился, то принес бы своей душе много пользы и заслужил бы аплодисменты своего века; христианский мир получил бы от этого огромную пользу. Король посоветовался, а затем ответил, что он дал обет у Гроба Господня и специально взял крест, чтобы отправиться туда; что с тех пор, как он покинул свою страну, он столкнулся со многими препятствиями и что у него нет желания начинать какие-либо войны, пока он не завершит свое паломничество”.[\[120\]](#)

Этот отказ так разозлил принца Раймонда, что он сбросил всякую маскировку и стал признанным любовником королевы, которая ненавидела своего мужа. Вскоре после этого Людовик ночью бежал из Антиохии, силой забрав с собой Элеонору, и, таким образом, единственная надежда на возвращение Эдессы была потеряна.

Для эмоционального человека все уступало трансцендентной важности обрядов умилоствления; поэтому Людовик взошел на Голгофу, поцеловал камни, произнес песнопения, получил благословение и потерял Палестину. Таким образом, к середине XII века идеалист начал ослабевать в борьбе за жизнь.

Впоследствии действительно было предпринято покушение на Дамаск, но оно лишь показало слабость людей, полагавшихся на магию. К тому времени, когда началось наступление, доверие сарацин было восстановлено, атака была отбита, и Нур-ад-Дину оставалось только двинуться с севера, чтобы отбросить крестоносцев обратно в Иерусалим, осыпанных насмешками. Ничто так ярко не передает шок, который вызвали у верующих эти неудачи, как слова, которыми святой Бернард защищал свои пророчества.

Разве язычники не говорят: “Где их Бог?” И в этом нет ничего удивительного. Сыны Церкви, известные под именем христиан, лежат на дне в пустыне, уничтоженные мечом или истребленные голодом. Господь излил презрение на князей и заставил их скитаться по пустыне, куда нет пути. Горе и несчастья следовали за ними по пятам, страх и замешательство царили во дворцах самих королей. Как ноги сбились с пути тех, кто обещал мир и благословения. Мы говорили о мире, но мира нет, мы обещали удачу, а вот и скорбь, как если бы мы действовали в этом вопросе опрометчиво и легкомысленно.... И все же, если необходимо одно из двух, я предпочитаю, чтобы люди роптали на меня, а не на Бога. Хорошо, если я достоин того, чтобы меня использовали как щит. Я охотно принимаю клевету недоброжелателей и отравленные уколы богохульников, чтобы они не достигли его. Я не уклоняюсь от потери славы, чтобы не подвергся нападкам тот, кто дает ее мне для прославления словами Псалмопевца: “Потому что ради тебя я понес поношение; стыд покрыл лицо мое”.[\[121\]](#)

Согласно рассказу Вильгельма Тирского, обе стороны чувствовали близость конца. После провала Людовика Благочестивого принц Раймонд был первым, кто погиб до того, как разразилась буря, которую он слишком поздно заметил надвигающейся. Нур-ад-Дин обрушился на его страну с огнем и мечом, победил его, отрубил ему голову и правую руку и отправил их в Багдад в качестве трофеев. Несчастный Джослин умер в темнице в Алеппо, в то время как Нур-ад-Дин вошел в Дамаск и таким образом укрепил сирийские города на равнине.

С тех пор децентрализованные франки лежали беспомощными в руках своего компактного противника, и все, что было в воображении средневековья, получило смертельную рану при Тиверии. Это действие стало началом упадка культа фетиша.

Крестоносцы верили, что нашли крест, на котором умер Христос в Иерусалиме. Они почитали его как талисман, не менее могущественный, чем сама Гробница, и имеющий то преимущество перед гробницей, что он был переносным. Они считали его непобедимым и использовали не только как оружие против живых врагов, но и как средство контроля над природой. Замечательный пример магических свойств этой реликвии был приведен во время ретрита из Босры.

Балдуин III. был коронован в 1144 году, когда ему было всего тринадцать. Королевство тогда находилось в мире с Дамаском, на территории которого находилась Босра; но, несмотря на это, советники ребенка с готовностью выслушали предложение эмира, стоявшего во главе отряда, предать город и ускорили отправку экспедиции, несмотря на протесты посланцев из Дамаска. На марше войска сильно страдали от жары и жажды, а по прибытии были потрясены, обнаружив верный гарнизон. Об осаде не могло быть и речи, а регулярное отступление было настолько опасным, что бароны умоляли короля бежать и спасти крест; но мальчик отказался и остался со своими людьми, чтобы сражаться до последнего. Перспектива была ужасной, потому что растительность была сухой, и когда начался марш...

“Турки разбрасывали повсюду греческий огонь, так что казалось, будто вся страна горит. Высокое пламя и густой дым ослепили наших людей. Тогда они были так ошеломлены, что не знали, что делать. Но когда возникает великая нужда, и человеческая помощь бессильна, тогда следует искать помощи у нашего Господа и взывать к нему, чтобы он позаботился о нас; так поступали тогда наши христиане; ибо они призвали архиепископа Роберта Назаретского, который нес перед ними истинный крест, и просили его, чтобы он помолился нашему Господу, который, чтобы спасти их, принял смерть на том кресте, чтобы он избавил их от этой опасности; ибо они не могли этого вынести и не искали другой помощи, кроме его. Воистину, они были там все черные и опаленные, как кузнецы, от огня и дыма. Архиепископ спешил, преклонил колени и со слезами молился нашему Господу, чтобы он смиростивился над своим народом; затем он встал и протянул истинный крест к огню, который сильный ветер нанес на них. Наш Господь по своей великой милости взирал на свой народ в великой опасности, которой он подвергался; ибо ветер сразу переменялся и дунул огнем и дымом в лица врагов, которые зажгли его, так что они были вынуждены рассеяться по стране и спастись бегством. Наши люди, когда увидели это, заплакали от радости, ибо поняли, что наш Господь не забыл их”.

Даже тогда они были в крайней опасности, ибо был открыт только один путь, по которому у них не было проводника. Внезапно перед отрядом появился рыцарь, которого никто в войске не знал. Он сидел на белом коне и нес алое знамя, на нем была кольчуга, рукава которой доходили только до локтя. Он предложил вести их, и он поставил себя впереди; он привел их к прохладным ласковым источникам; ... он заставил их спать в удобных и хороших местах. И он так наставил их, что на третий день они пришли в город Гадре”.[\[122\]](#)

Могущественная реликвия креста была взята и осквернена сарацинами при Хаттине, где христиане потерпели решительное поражение, вызванное бессилием центральной администрации Иерусалима.

Реджинальд де Шатийон принадлежал к типу авантюристов двенадцатого века. Он прибыл в Палестину в свите Людовика Благочестивого и остался там, потому что женился на принцессе. Он был храбрым солдатом, но жадным, жестоким и опрометчивым, и его неподчинение ускорило катастрофу, которая привела к падению столицы.

Во время осады Аскалона он так очаровал Констанцию, принцессу Антиохийскую, вдову Раймонда, что она настояла на том, чтобы выйти за него замуж, хотя ее добивались многие знатнейшие люди, а он был всего лишь рыцарем. Ее выбор был катастрофическим. Едва он вступил в должность главы правительства на севере, как поссорился с греческим императором, который заставил его наложить епитимью с веревкой на шее. Позже он попал в плен к Нур-ад-Дину, который освободил его только через шестнадцать лет, когда умерла его жена. Вскоре он снова женился, на этот раз на другой богатой наследнице, Этьеннет де Милли, леди Карака и Монреала, и, как ее муж, Реджинальд стал комендантом крепости Карак к востоку от Мертвого моря, которая обеспечивала оборону от Египта. Но как командующий столь важным постом, этот безрассудный и алчный авантюрист бросил вызов авторитету своего феодального начальника и, грабя караваны на дамасской дороге, так разозлил Саладина, что “в 1187 году он ворвался с мощной армией в Святую Землю, взял в плен короля Гая и принца Реджинальда, голову которых отрубил собственной рукой”.^[123]

Ги де Лузиньян был коронован в Иерусалиме за год до вторжения Саладина, и когда началась война, он враждовал с графом Триполи. Надвигающаяся общая опасность создала некое подобие сплоченности среди знати, которая согласилась выставить на поле боя всех имеющихся в наличии людей. Из замков были выведены гарнизоны, чтобы их нельзя было оборонять в случае отступления, и около пятидесяти тысяч солдат были сосредоточены в Сепфорисе в Галилее.

Контингенты Храма и Госпиталя были хорошо организованы и дисциплинированы, но армия в целом представляла собой скорее разрозненное сборище слуг из тридцати или сорока независимых вождей, чем компактную массу, подчиняющуюся единой воле, какую египетские доходы позволили Саладину выставить на поле боя.

Внезапно в Сепфорис пришла весть, что сарацины прошли через перевал Баниас и остановились перед Тверией. Сразу же вспыхнули разногласия, которые Ги де Лузиньян не смог сдержать. Он не был человеком с сильным характером, а если бы и обладал, то был всего лишь одним из дюжины принцев, любой из которых мог уволиться из армии и удалиться в свой замок, если бы почувствовал такое расположение. Граф Триполийский, который, по-видимому, был самым способным солдатом среди франков, понял, что глупо выходить из воды и маршировать по раскаленной стране под июльским солнцем, вместо того чтобы ждать нападения. Как он утверждал, он из всех людей был больше всего заинтересован в освобождении Тверии, поскольку это был его город, и его жена находилась в его стенах; однако в латинском лагере к нему относились с такой ревностью, что его совет был отвергнут, и 3 июля 1187 года началось наступление.

В трех милях от Тверии сражение началось яростной атакой на арьергард, образованный Храмом и госпиталем. Когда они отступили, Гай пал духом и приказал остановиться. Последовавшая за этим ночь была ужасной. Мусульмане подожгли сухой подлесок, и среди пламени и дыма франки пролежали до рассвета, мучимые голодом и жаждой и подвергаясь тучам стрел, которыми осыпал их враг.

На рассвете снова начался бой, но деморализованная пехота бежала на холм, откуда отказалась двигаться. Граф Триполийский, видя, что битва проиграна, с отрядом своих сторонников прорубил себе путь к отступлению, но Ги де Лузиньян, Реджинальд де Шатийон и множество рыцарей и дворян были взяты в плен. Ордена были практически уничтожены, все трудоспособное население вырезано на куски, а святой крест, который несли перед войском как непобедимое орудие войны, был схвачен и осквернен на горе, где Иисус учил своих учеников любить своих врагов.

Эммад-Эддин, арабский историк, описал почитание христианами своего талисмана, их обожание его в мирное время и их преданность ему в битвах; и его слова помогают современному поколению понять, какой шок испытали его почитатели, когда он выдал свою беспомощность.

“Великий крест был взят перед королем, и многие из нечестивых искали смерти из-за него. Когда его держали высоко, неверные преклоняли колена и склоняли головы. Они обогатили его золотом и драгоценными камнями; они носили его в дни великой торжественности и считали своим первым долгом защищать его в битве. Взятие этого креста было для них более тяжким испытанием, чем взятие в плен их короля”.

ГЛАВА V

ПАДЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Большинство авторов, посвященных крестовым походам, обратили внимание на перемену, последовавшую за битвой при Тивериаде. Пиджонно, например, в своей *Истории торговли* указал, что после потери Иерусалима христиане “все больше и больше сосредотачивались на экономических интересах”, а “крестовые походы становились все более политическими и коммерческими, а не религиозными экспедициями”.^[124]

Другими словами, когда децентрализация достигла своего предела, форма конкуренции изменилась, и началась консолидация. С повторным открытием долины Дуная течение изменилось. Сначала прилив был слабым, но после завоевания Святой Земли каналы торговли изменились; капитал начал накапливаться; и к XIII веку деньги контролировали Палестину и Италию и быстро покоряли Францию. Хейд отметил, что “торговля с Левантом совершила скачок во время крестовых походов, о котором незадолго до этого едва ли могло мечтать самое смелое воображение”,^[125] потому что обладание сирийскими портами установило прямое сообщение Европы с Азией и ускорило обмены.

С начала европейской истории и до расцвета современного Лондона восточная торговля обогащала каждое сообщество, где она была сосредоточена, и, среди прочего, Северную Италию в средние века. Венеция, Флоренция, Генуя и Пиза были его творениями.

В 452 году, когда миграция варваров в римских провинциях неуклонно возрастала, гунны разграбили Аквилею, и жители разоренных районов бежали в поисках убежища на острова, лежащие на мелководье в верховьях Адриатического моря. На протяжении многих поколений эти беглецы оставались бедными, питаясь в основном рыбой и продавая соль как свой единственный продукт; но постепенно они превратились в расу, высоко приспособленную к процветанию в условиях, которые начали преобладать после Клермонского собора.

Изолированные, если не считать выхода к морю, без сельского хозяйства и рудников, но для них были открыты два пути - пиратство и торговля, и они преуспели в обоих. Во времена правления Карла Великого они процветали, а когда закрытие долины Дуная вынудило торговлю перейти по морю, Венеция и Амальфи получили монополию на то, что осталось от восточной торговли. Однако в течение многих лет эта торговля не была особо прибыльной. Хотя Рим всегда предлагал определенный рынок сбыта парчи для облачений и алтарных покрытий, благовоний и драгоценных камней для святынь, наличных денег было мало, на Западе было мало товаров, которые азиаты или африканцы были готовы взять в обмен на свои товары. Следовательно, Венеция победила в экономическом соревновании, которое начало преобладать в XI веке, не благодаря предприятиям, санкционированным духовенством.

Венецианцы процветали, потому что были смелее и беспринципнее своих соседей. Они без угрызений совести делали то, что было необходимо для наживы, даже когда это было отвратительным преступлением в глазах набожных людей.

Долина Нила, хотя и плодородна, не производит ни дерева, ни железа, ни людей боевого типа; за это халифы были готовы платить, и венецианцы предоставили им все. Уже в 971 году военные действия с общим врагом достигли масштабов, которые не только побудили императора Иоанна Цимисхия к энергичным дипломатическим действиям, но и заставили его пригрозить сжечь все захваченные им корабли, груженные подозрительными грузами.

Продавать сарацинам древесину для кораблей и железо для мечей было смертным грехом для детей Церкви; но такой грех был ничем иным, как позорным похищением верующих в качестве рабов для неверных, которые делали из них солдат для борьбы против своего Бога. Карл Великий и следовавшие за ним папы пытались пресечь уличное движение, но безуспешно. Работоторговля была настолько прибыльной, что ею занимались на улицах самого Рима,^[126] и в XIII веке в Дамiette и Александрии ежегодно уничтожали две тысячи европейцев, из которых набирались мамелюки, лучшие солдаты Востока.

Таким образом, в Италии выросла раса, которая отличалась от народов Франции и Германии отсутствием тех качеств, которые помогли немцам выжить, когда жители Империи пришли в упадок. Средневековые итальянцы процветали, потому что им не хватало воображения, которое делало северные народы подвластными чудотворцу, а среди средневековых итальянцев венецианцы, благодаря своему незащищенному положению, стали самыми смелыми, энергичными и беспринципными. К концу XI века их флот настолько превосходил греческий, что императору Алексею пришлось доверить им защиту гавани Дураццо от Роберта Жискара. Гвискар напал на Дураццо в 1081 году, во время революции, которая непосредственно

предшествовала обесцениванию византийской чеканки; и демонстрация того, что Венеция уже поглотила большую часть текущей торговли, по-видимому, доказывает, что во второй половине XI века центр обмена имел явную тенденцию покидать Константинополь. Более того, результат кампании показал, что венецианский флот был сильнейшим в Средиземном море, и это имело жизненно важное значение для успеха крестовых походов двадцать лет спустя, поскольку без господства на море постоянная оккупация Палестины была бы невозможна.

После взятия Иерусалима в 1099 году почти первые операции Годфри де Бульона были направлены против сирийских портов; но поскольку у него было слишком мало сил, чтобы действовать в одиночку, он заключил договор с Венецией, по которому в обмен на двести кораблей он обещал уступить ей третью часть каждого взятого города. Болдуин заключил аналогичное соглашение с генуэзцами, и, когда побережье было покорено, итальянские города приняли их субсидии и учредили свои администрации. В конце концов венецианцы одержали верх в Тире, генуэзцы - в Акко, а пизанцы - в Антиохии. До открытия мыса Доброй Надежды специи, лекарства, парча, ковры, фарфор и драгоценные камни из Индии и Китая попадали в Средиземноморье в основном двумя путями. Один - через Персидский залив в Багдад, вверх по Евфрату в Ракку и по суше в Алеппо, откуда их караваном доставляли либо в Антиохию, либо в Дамаск. Дамаск, помимо того, что был отправной точкой караванов в Мекку и Египет, а также центром торговли товарами из Персии, располагал собственными важными производствами. Его стекло, фарфор, сталь и парча были знамениты, и это был главный рынок сбыта мехов, которые высоко ценились на протяжении всего средневековья, когда отопление было непонятно.

Второй маршрут был водным. Индийские купцы обычно продавали свои грузы в Адене, откуда их доставляли в порт в Верхнем Египте, сплавляли по Нилу в Каир и покупали европейцы в Дамiette или Александрии. Продукты самого Египта были ценны, и после Константинополя Каир был самым богатым городом к западу от Инда.

Что Европа давала народам Востока взамен, не так хорошо известно; но, помимо сырья и рабов, ее шерстяные изделия пользовались большим уважением. Во всяком случае, обмен должен был стать для нее более выгодным, о чем свидетельствует возросшее предложение драгоценных металлов.

Почему короткий период роста, последовавший за восстановлением серебряного стандарта на Западе, должен был смениться резким сокращением, неизвестно, но этот факт, по-видимому, подтверждается чеканкой монет. Во время правления Карла Великого денежной единицей стал серебряный фунт в 7680 зерен, который делился на 240 динариев, или пенсов.^[127]

Некоторое время эти пенсы сохранялись в приемлемом состоянии, но по мере распада империи Карла Великого они приходили в упадок до тех пор, пока к концу XII века чеканка монет в Венеции не стала составлять всего четверть от их первоначального веса и три части сплава.^[128] После Хаттина началась новая экспансия, ведущую роль в которой взяла Венеция. Битва произошла в 1187 году, а несколькими годами позже, но, вероятно, до 1200 года, был отчеканен гроссо - кусок чистого серебра хорошего веса, который с тех пор поддерживался на уровне стандарта. Полвека спустя появилось золото. Флоренция отчеканила флорин в 1252 году, Венеция - дукат в 1284 году, а между этими двумя датами Людовик Святой выпустил свои короны.

Возвращение драгоценных металлов на Запад указывало на оживление торговли и изменение формы конкуренции. Вместо воображения стали преобладать экономические способности, и энергия выбрала деньги в качестве своей отдушины. В течение одного поколения чудо окончательно захватило власть, и начало этой важнейшей из социальных революций можно увидеть в третьем крестовом походе, знаменитой экспедиции, возглавляемой Филиппом Августом и Львиным кером.

Эти два великих воина, вероятно, постигли искусство фортификации во время осады Акко, самого замечательного военного события Средневековья. Говорят, что осада унесла сто тысяч жизней и, безусловно, потребовала применения всего инженерного мастерства того времени. Ги де Лузиньян, освобожденный Саладином вскоре после Хаттина, скитался по стране, покинутый и брошенный, пока, наконец, в 1189 году не сел под Акрой с силами, уступающими гарнизону. Там к нему присоединились короли Франции и Англии, которым удалось захватить город после отчаянной двухлетней обороны. Была захвачена огромная добыча, но духовенство пожаловалось, что два светских князя присвоили наследие Божье. С другой стороны, войска не получили обычной помощи от чудес; ибо, хотя нападения совершались почти ежедневно, ни одно из них не увенчалось успехом, а сама Пресвятая Дева явилась только один раз, и то так тихо, что не вызвала никакого энтузиазма.

После капитуляции Филипп отправился домой, в то время как Ричард остался командовать. Вся страна была захвачена, устояли лишь несколько крепостей, таких как Крэк-де-Шевалье и Тортоса; и Ричард, далекий от того, чтобы последовать примеру первых крестоносцев, которые направились прямо к реликвиям в Иерусалиме, обратил свое внимание на восстановление торговых центров на побережье.

Он двинулся на юг вдоль берега, держась поближе к своему флоту, в то время как враг следовал за ним по горам. Когда он приблизился к Иоппии, сарацины спустились на равнину и дали бой. Они потерпели сокрушительное поражение, и Ричард занял Иоппию без сопротивления. Из Иоппии дорога вела прямо в Иерусалим. Путь был неблизким, а местность трудной, и нет никаких оснований предполагать, что нападение было особенно опасным. Напротив, когда Ричард двинулся вперед, сопротивление не было необычайно упорным, и он действительно преследовал врага в пределах видимости стен. Тем не менее, он решительно сопротивлялся давлению духовенства предпринять осаду, из чего следовало, что власть, которая контролировала его, считала Иерусалим бесполезным. Эта власть, должно быть, была капиталом, поскольку договор, который он заключил, был столь же откровенно корыстным, как если бы он был заключен в наше время. Морское побережье от Тира до Иоппии было передано франкам; Аскалон, который был ключом к Египту, был разрушен, и единственным упоминанием Иерусалима было то, что он должен быть открыт для паломников в будущем, как это было в прошлом. О кресте, который пятьдесят лет назад ценился превыше всех сокровищ Востока, не было сказано ни слова, и не похоже, чтобы после Хаттина ни неверующие, ни христиане придавали ему денежную ценность.

Некоторые хронисты настаивают, что Ричард испытывал угрызения совести из-за того, что таким образом отказался от своего Бога; и когда во время стычки он увидел стены Иерусалима, они рассказывали, что он закрыл лицо руками и заплакал. Возможно, он так и сделал, но при его жизни пришло время, когда христианские рыцари не испытывали ничего, кроме ликования от того, что успешно обменяли Гробницу на деньги. После ухода Ричарда положение франков в

Святой Земле быстро ухудшалось. Упадок веры постоянно ослаблял узы, которые когда-то объединяли их против мусульман, в то время как они были разделены между собой коммерческой завистью. Храм и Больница вели бесконечные частные войны из-за спорной собственности, четвертый крестовый поход провалился, гарнизон Иоппии был вырезан, в то время как Европа смотрела на это с безразличием.

Когда этот момент был достигнут, инстинкт самосохранения, по-видимому, подтолкнул духовенство к осознанию того факта, что их судьба связана с судьбой святых мест: если чудо будет дискредитировано, их правлению придет конец. Соответственно, Иннокентий III, после своего избрания, со всей силой своей натуры погрузился в новое волнение. Фульк де Нейи был избран проповедовать, как святой Бернар; но его успех поначалу не был лестным. Ричард публично оскорбил его и даже обвинил в растрате вверенных ему средств. Наконец, в 1199 году Тибальт, граф Шампани, и Людовик, граф Блуа, приняли крест на турнире, который они проводили в замке Экри. Вскоре к ним присоединились другие, но, вероятно, самым известным бароном паломничества был Симон де Монфор.

В конце XII века крупные феодалы еще не были поглощены, и граф Шампанский был могущественным монархом. Поэтому он был избран руководителем экспедиции, и на встрече, состоявшейся в Компьене, три главных принца согласились направить комитет из шести человек в Венецию для заключения контракта на перевозку. В этом комитете Тибальта представлял Вилле-Ардюэн, написавший хронику войны.

Тогда дожем был Генри Дандоло, возможно, самый замечательный человек, которого когда-либо рождала Венеция. Хотя ему было почти девяносто пять, он был таким же энергичным, как и в зрелом возрасте. Материалист и скептик, он был лучшим моряком, самым способным дипломатом и самым прожженным спекулянтом в Европе; и хотя как государственный деятель и полководец он вознес свою страну на вершину славы, он доказал, что легко превосходит Иннокентия III. в интриге. Его способности были настолько выдающимися, что, по общему согласию, он был избран предводителем войска, в составе которого были одни из выдающихся военачальников того времени; и когда благодаря его проницательности Константинополь был захвачен, он отказался от императорской короны.

Вилль-Ардюэн всегда говорил о нем с глубоким уважением как о “добром герцоге, чрезвычайно мудром и предусмотрительном”; и действительно, без него франкские принцы, несомненно, пали бы жертвами коварства греков, которых он один знал, как перехитрить, и которых он ненавидел за то, что император Мануил Комнин испепелил его взглядом, когда тот выполнял миссию при его дворе.

В его руках франкские посланники были подобны детям, сбитым с толку богатством и великолепием, которые их окружали. Изложив Дандоло свое поручение, они восемь дней ждали ответа, а затем получили контракт, который, похоже, был частью заранее продуманного плана заманить крестоносцев в ловушку и заставить их служить республике.

Венецианцы обязались обеспечить доставку 4500 рыцарей с их лошадьми, 9000 оруженосцев и 20 000 пеших, а также провизии на девять месяцев за 85 000 марок серебром, что, вероятно, примерно равно 5 500 000 долларов наших денег. Но помимо этого город предложил, “из любви к Богу”, добавить пятьдесят галер и разделить завоеванное поровну. Каким бы ни был его характер и насколько бы такие обязательства ни были неподвластны франкам, договор был

заключен и отправлен Иннокентию для ратификации, который одобрил его с оговоркой, что во время крестового похода не должны предприниматься военные действия против христиан. Паломники должны были встретиться в Венеции весной.

Когда Вилле-Ардуэн вернулся, Тибальт был при смерти, и его потеря повергла всех в замешательство. Возможно, также распространилось подозрение, что венецианцы навязали комитету, поскольку многие дворяне приплыли из других портов, где можно было заключить более выгодные условия, среди которых был Реджинальд де Дампьер, которому Тибальт доверил свои сокровища. Итак, весной 1202 года едва ли больше половины рыцарей явились в Венецию, и они сочли совершенно невозможным выполнить свои обязательства. Даже когда принцы отправили свою посуду и драгоценности во дворец герцогов, дефицит, оцениваемый в 34 000 марок, оставался.

Со своей стороны, венецианцы отказались снижать цену, но в качестве компромисса предложили дать время и собрать остаток за счет награбленного. В качестве предварительного они предложили атаковать Зару, адриатический порт, который поднял восстание и перешел на сторону венгерского короля.

Мало какие предложения могли бы вызвать большее возмущение Церкви. Мало того, что жители Зары были единоверцами, на которых франки не жаловались, но и король Венгрии сам был крестоносцем, его владения находились под защитой папы римского, и нападение на него было равносильно нападению на сам Рим.

По этим пунктам расхождение во мнениях было невозможно, и папский легат вместе со всеми другими священнослужителями осудил венецианцев и пригрозил им отлучением от церкви. Результат показал, что сила уже выражала себя на Западе через деньги, а не через воображение.

То, что последовало за этим, тем интереснее, что можно продемонстрировать, что, оказавшись за Альпами и избавившись от давления капитала, французские бароны были столь же эмоциональны, как и всегда. Пока шли эти самые переговоры, подданные Филиппа Августа массово покинули его и пресмыкались перед Иннокентием так покорно, как если бы он был Гильдебрандом.

Первой женой Филиппа Августа была Ингебурга, датская принцесса, к которой он испытывал непреодолимую неприязнь. В 1195 году он добился от нее развода собранием прелатов под председательством кардинала Шампани. Затем он женился на Агнес де Мерани, к которой был преданно привязан; Ингебурга обратилась в Рим, и Иннокентий объявил развод недействительным и приказал Филиппу разойтись “со своей наложницей”.

Филипп отказался, и Иннокентий приказал своему легату наложить на королевство интердикт. Во Вьенне, в январе 1200 года, глубокой ночью были произнесены магические формулы. Когда Христос на алтаре был закрыт, священная облатка сожжена, а чудотворные тела спрятаны в склепе на глазах у содрогающегося народа, священник наложил проклятие на короля до тех пор, пока тот не прогонит свою блудницу.

С этого часа все религиозные обряды были приостановлены. Двери церквей были заперты, колокола молчали, больные умирали нераскаянными, мертвые лежали непогребенными. Король созвал своих епископов и пригрозил изгнать их из Франции: это было бесполезно.

Бароны отшатнулись от него, даже его воины отступили от него; он был одинок, как Генрих при Каноссе. Люди были взбешены и даже отправились в Англию за помощью священников. Графу Понтье пришлось жениться на сестре Филиппа в Руане, в пределах нормандской юрисдикции.

В отчаянии Филипп созвал парламент в Париже, и Агнес, одетая в траур, умоляла о защите, но ни один человек не двинулся с места; смертельный ужас был в каждом сердце. Тогда она была на седьмом месяце. Ассамблея решила, что король должен подчиниться, и Агнесса умоляла папу не разлучать ее с мужем; корона, по ее словам, была ей безразлична. Но это была борьба за превосходство, и Иннокентий был неумолим. В Нелле был созван совет, на котором Филипп пообещал вернуть Ингебургу и расстаться с Агнес. Он объяснил, что она беременна и отъезд из королевства может убить ее; но священники потребовали абсолютного подчинения, и он поклялся евангелистам больше ее не видеть. Агнес, сломленная своим горем, отправилась в нормандский замок, где умерла, вынашивая сына, которого назвала Тристаном от горя при его рождении.

Солдат, принадлежавший к старому обществу, наделенному воображением, был побежден Церковью, которая была воплощением воображения; но Дандоло был другим развитием событий. Он был порождением экономической конкуренции, и он попирали духовенство своими ногами.

Хотя, по-видимому, он был настроен глубоко скептически, как и положено человеку, являющемуся каналом, через который поступают деньги, он понял, как играть на воображении других, и организовал торжественную церемонию, чтобы прославить Гробницу. Однажды в воскресенье он созвал горожан и паломников в собор Святого Марка и, поднявшись на кафедру, обратился к прихожанам.

“Милорды, вы помолвлены с величайшими людьми мира для высочайшего предприятия, которое когда-либо предпринималось; а я стар и немощен, нуждаюсь в отдыхе и немощен телом; но я вижу, что никто не может командовать вами так, как я, ваш дож. Если вы позволите мне взять крест, чтобы вести вас, и позволите моему сыну остаться здесь вместо меня и руководить правительством, я пойду жить или умереть с вами и с паломниками”. [129]

Простая хроника Вилле-Ардуэна показывает, насколько прекрасно старик знал свою аудиторию: —

“Жители страны и паломники прониклись великой жалостью, и было пролито много слез, потому что у этого достойного человека было так много причин остаться; ведь он был стар и у него плохое зрение”. [130]

Среди вспышки энтузиазма было дано согласие. Затем, пока церковь оглашалась криками, Дандоло преклонил колени перед алтарем, со слезами прикрепил крест к герцогской шляпе и поднялся, командуя лучшей армией в мире.

А Дандоло был великим командиром; командиром высочайшего уровня. Он не терпел неподчинения и попирали духовенство. Когда вмешался Петр Капуанский, папский легат, Дандоло строго сказал ему, что в армии Христа нет недостатка в военачальниках и что, если священники хотят остаться в ней, они должны довольствоваться молитвами.

Цистерцианский монах по имени Гюнтер, которому было поручено сопровождать своего настоятеля в паломничестве, вел хронику увиденного. Его настоятель, по имени Мартин, был настолько обескуражен в Венеции, что попросил у легата отпущения грехов от своего обета и разрешения вернуться в свой монастырь в Бале; но кардинал отклонил эту просьбу.

Священники решили остаться при Дандоло и сражаться с ним до последнего. Поэтому аббат отплыл с венецианцами, но получил горький урок в Заре. Там духовенство получило письмо от Иннокентия, в котором объяснялась позиция Церкви и угрожало отлучением от церкви всех, кто посмеет приставать к королю Венгрии. Симон де Монфор и часть наиболее набожных, которые с самого начала были возмущены контрактом, заключенным с Дандоло, затем удалились и расположились лагерем отдельно; и на собрании, созванном для рассмотрения ситуации, Ги, аббат Во-де-Серне, попытался прочитать письмо. Последовала вспышка, и некоторые хронисты утверждают, что венецианцы убили бы Ги, если бы Симон де Монфор не встал рядом с ним с мечом в руке.^[131]

В главном нет никаких сомнений. Священники позорно не смогли защитить своего союзника; нападение было предпринято, и ничто не указывает на то, что даже де Монфор отказался участвовать в нем или принять участие в награбленном после падения города. Сопротивления не было. Осажденные не нашли лучшей защиты, чем развешивание крестов на своих стенах, и на пятый день капитулировали. Сначала франки поделили добычу с итальянцами; затем они отправили посольство в Рим просить отпущения грехов.

Они утверждали, что были беспомощны и должны были либо принять условия, предложенные Дандоло, либо отказаться от своего предприятия. Иннокентий подчинился. Он действительно соединил свое прощение с условием, что награбленное должно быть возвращено;^[132] однако не сохранилось никаких записей о том, что хоть один знак из всех сокровищ, взятых из Зары, когда-либо возвращался к первоначальным владельцам.

Венецианцы не просили прощения и не заметили отлучения от церкви. Напротив, Дандоло использовал время, пока послы находились в Риме, для замышления чудовищного преступления - отвлечения крестового похода из Палестины в Константинополь.

Незадолго до отъезда из Венеции произошло событие, которое Вилле-Ардуэн назвал “одним из величайших чудес, о которых вы когда-либо слышали”. В 1195 году греческий император по имени Исаак был свергнут с престола, заключен в тюрьму и ослеплен своим братом Алексеем, узурпировавшим трон. Сын Исаака, также по имени Алексис, сбежал и укрылся у своего шурина Филиппа Швабского. Филипп ничем не мог ему помочь, но предложил ему обратиться к крестоносцам в Венеции и попросить их о помощи. Не сообщается, было ли это обращение организовано Дандоло. Алексис отправился в Венецию, где был сердечно принят дожем; но поскольку флот в то время снимался с якоря, его дела были отложены до окончания нападения на Зару, когда прибыло посольство от Филиппа, которое вынесло на рассмотрение всю ситуацию в Константинополе. В последовавшей борьбе между венецианцами и Церковью франки были подобны добыче, обреченной достаться более сильному, и в повествовании Гюнтера ясно видна любовь, которую священники питали к своим прирожденным защитникам. В XIII веке, как и в V веке, церковники понимали, что они никогда не смогут контролировать денежную олигархию; соответственно, монахи ненавидели венецианцев, которых Гюнтер клеймил как “народ, чрезмерно жадный до денег”, всегда готовый совершить святотатство ради наживы.

Со своей стороны, Дандоло последовал своему инстинкту и попытался подкупить папу, предложив ему объединение причастий. Но Иннокентий был непреклонен. Он с возмущением писал, что крестоносцы поклялись отомстить за обиды Христа, и сравнивал тех, кто должен вернуться, с женой Лота, которую Бог превратил в соляной столп за неподчинение его повелениям.[\[133\]](#)

И все же, хотя жречество проявило всю свою силу, оно потерпело поражение. Власть богатства была слишком велика. Серьезного отступничества не произошло. Вилле-Ардуэн привел список тех, кто покинул флот, среди которых был Симон де Монфор, презрительно добавив: “Таким образом, они покинули войско ... что было для них большим позором”.[\[134\]](#)

Судя по одним только словам, автора и его товарищей могло отделить столетие от баронов, бросивших Агнессу на Произвол Судьбы; и все же это были те же люди, перенесенные в экономическую цивилизацию и воодушевленные властью богатства.

В пасхальный понедельник 1203 года флот отплыл к Корфу, где произошел еще один, более серьезный раскол. Но ослепительная награда в конце концов взяла верх над страхом перед сверхъестественным, и, снова тронувшись в путь, паломники пересекли Мраморное море и бросили якорь в монастыре Святого Стефана, примерно в двенадцати милях от Константинополя. С тех пор как биржи снова вернулись в Италию, жизнеспособность Греческой империи иссякла. Она быстро приходила в упадок из-за истощения. Но Византию все еще защищали те колоссальные укрепления, которые были неприступны с суши, и только для того, чтобы подвергнуться нападению с моря гениального адмирала.

Таким человеком был Дандоло, прирожденный моряк, проницательный, но вспыльчивый; и, кроме того, портовый лоцман. На военном совете он изложил план кампании:

“ Милорды, я знаю о характере этой страны больше, чем вы, потому что бывал здесь раньше. Перед вами величайшее и самое опасное предприятие, за которое когда-либо брались люди, и поэтому было бы хорошо, если бы мы действовали осмотрительно”.[\[135\]](#)

Затем он объяснил, как следует атаковать; и если бы франки беспрекословно подчинились ему, город был бы взят при первом же штурме. Три дня спустя союзники заняли Скутари, азиатский пригород Константинополя, и простояли там десять дней, собирая припасы. Двенадцатого числа они взяли штурмом башню Галаты, с которой открывался вид на Перу, ключ к Золотому Рогу. Пока продолжалось сражение, Дандоло ворвался в порт. Вход защищала не только огромная башня, но и огромная железная цепь, прикрепленная к сваям и прикрытая двадцатью галерами, вооруженными машинами.

Венецианцев ничто не остановило. Не обращая внимания на огонь, матросы прыгнули на цепь и оттуда перебрались на палубы греческих галер, команды которых они выбросили за борт. Тем временем один из итальянских кораблей, снабженный стальными ножницами, взялся за трос, перерезал его и повел в гавань.

Обнаружив, что самая слабая часть стен обнажена, Дандоло настаивал, что единственная надежда на успех заключается в атаке с борта корабля, где зубчатые стены были самыми низкими; но французы упрямо отказывались отступить от своих привычек и решили сражаться верхом. Это событие доказало мудрость Дандоло, ибо, хотя атака провалилась из-за ошибки

разделения сил и попытки прорыва укреплений к суше, дож так повел своих матросов, что Вилль-Ардуэн воспыал энтузиазмом, рассказывая эту историю.

Когда старик увидел, что его корабли отступили перед чудовищным огнем с зубчатых стен, итак, галеры не могли пристать к берегу, и тогда было замечено странное зрелище, ибо герцог Венеции, который был стариком и плохо видел, был полностью вооружен и командовал своей галерой, и перед ним был хоругвь Святого Марка; и он крикнул своим людям, чтобы они высадили его на берег, или, если они не захотят, он совершит правосудие над их телами; и они подвели галеру к берегу, и они вышли вперед и понесли знамя перед ним на берег. И когда венецианцы увидели знамя Святого Марка на берегу и галеру господа на берегу перед ними, все они устыдились и поспешили на сушу, и бросились врассыпную со своих кораблей. Тогда можно было бы увидеть чудесное нападение. И вот свидетельство Жоффруа де Вилль-Ардуэна, маршала Шампани, который диктует эту книгу, что более сорока человек заявили, что видели знамя Святого Марка Венецианского на одной из башен, и никто не знал, кто нес его туда”.[\[136\]](#)

Как только плацдарм на крепостных валах был захвачен, греки обратились в бегство, двадцать пять башен пали одна за другой, а итальянцы уже вышли на улицы и обстреляли дома, чтобы прогнать врага с крыш, когда пришло известие, что Алексис продвигается от ворот и угрожает окружить французов. Действительно, опасность была огромной; ибо, как объяснил Вилле-Ардуэн, крестоносцев было поразительно мало по сравнению с гарнизоном, поскольку у них “было так много людей, что мы все были бы поглощены ими”.[\[137\]](#) С инстинктом великого полководца Дандоло немедленно объявил отступление, покинул наполовину завоеванный город и поспешил на поддержку своих союзников. Он оказался на земле как нельзя кстати, потому что Алексис, увидев подкрепление, отступил, не нанеся ни одного удара.

В ту ночь Алексей бежал, оставив Константинополь без правительства; а народ вывел слепого Исаака из его темницы и посадил на трон. Таким образом, теоретически работа крестоносцев была выполнена, и они могли свободно отправиться в Палестину, чтобы сразиться за Гроб Господень. На самом деле, то, за чем они пришли, еще предстояло получить, и то, что они требовали, было равносильно разрушению империи. Молодой Алексис пообещал 200 000 марок серебром, самому присоединиться к крестовому походу, обеспечить себя продовольствием на год и признать верховенство Рима; но эти обещания было невозможно выполнить. В течение шести месяцев ситуация с каждым днем становилась все более напряженной, между иностранцами и туземцами вспыхивала ожесточенная ненависть, вспыхивали беспорядки, за ними следовали пожары, и, наконец, союзники послали депутацию во дворец с требованием выполнения договора.

В отчаянии Алексис атаковал флот брандерами, и его неудача привела к революции, в ходе которой он был убит. Исаак умер от ужаса, и на трон был возведен некто Мурсуффл. В отчаянии греки прибегли к предательству, и им почти удалось заманить франкских принцев на пир, на котором они должны были быть убиты. Заговор был сорван проникательностью Дандоло, который никому не позволял доверять себе в стенах замка; тогда обе стороны приготовились к войне.

Поражение научило франков послушанию, и они согласились служить на галерах. Они отправились на борт 8 апреля 1204 года, чтобы утром быть готовыми к штурму. Но хотя атака была предпринята более чем в ста местах одновременно, “все же за наши грехи паломники

были отброшены”. Тогда сухопутные жители предложили попробовать пройти по какой-нибудь другой части стен, но моряки сказали им, что в другом месте течение снесет их; и “знайте, - сказал маршал, - были некоторые, кто был бы вполне доволен, если бы течение снесло их совсем”, “потому что они были в большой опасности”.^[138]

Этот отпор пришелся на пятницу; в следующий понедельник атака возобновилась, и сначала с небольшим успехом, но в конце концов...

“Наш Господь поднял ветер по имени Борей ... и два корабля, которые были связаны вместе, один, названный "*Пилигрим*", а другой "*Рай*", подошли к башне с обеих сторон, точно так, как Бог и ветер принесли их, так что лестница *Пилигрима* была прикреплена к башне; и тотчас же венецианец и французский рыцарь ... взобрались на башню, и другие последовали за ними, а те, кто был внизу, почувствовали себя неловко и бежали”.^[139]

С того момента, как были снесены стены, битва превратилась в резню. Крепостные валы были разрушены во всех направлениях, ворота были распахнуты таранами, союзники хлынули на улицы, и началось одно из самых ужасных разграблений Средневековья.

Не было ничего более священного, чем избежать разграбления. Гробницы императоров были осквернены, а тело Юстиниана обнажено. Алтарь Богородицы, слава Святой Софии, был разбит вдребезги, а завеса святилища разорвана в лохмотья. Крестоносцы играли в кости на столах, изображавших апостолов, и напивались из святых чаш. Лошадей и мулов загнали в святилище, и когда они упали под своей ношей, кровь из их ран залила пол собора. Наконец молодая проститутка взобралась на патриаршее кресло, запела непристойную песнь и станцевала перед паломниками. Так пал Константинополь от рук воинов Христовых в двенадцатый день апреля тысяча двести четвертого года. Со времен разграбления Рима Аларихом ни один победитель не получал такой награды, и крестоносцы были опьянены своим успехом. Вилль-Ардуэн подсчитал, что доля франков, за вычетом примерно пятидесяти тысяч марок, которые венецианцы собрали с них, составила четыреста тысяч марок серебром, не говоря уже о массах награбленного, которые не были учтены. Прибыль была так велика, что, казалось, не было конца золоту и серебру, драгоценным камням, шелкам, горносталям и всему, что было дорого в мире.

И Жоффруа де Вилль-Ардуэн свидетельствует о своих собственных знаниях, что с незапамятных времен в одном городе никогда не было похищено столько вещей. Каждый брал то, что хотел, и этого было достаточно. Так были расквартированы толпы пилигримов и венецианцев, и была великая радость и честь за победу, которую даровал им Бог, поскольку те, кто был беден, стали богатыми и счастливыми”.^[140]

Повинуясь прорицателям, приверженцы Людовика Благочестивого погибли десятками тысяч, и по их трупам мусульмане шли к победе. Защитники креста Христова были перерезаны, как овцы, на горах Заповедей Блаженства и стадами проданы в рабство в Дамаске и Алеппо; даже люди, которые по велению наместника Божьего покинули Дандоло, чтобы сражаться за Гроб Господень на бесплодных холмах Палестины, были принесены в жертву. Пятьсот человек погибли при кораблекрушении, еще больше было убито в Иллирии, никто не получил награды. Но те, кто, бросая вызов сверхъестественному и презирая свой обет, последовали за отлученным от церкви венецианцем грабить братьев-христиан, снискали неизмеримую славу и насытились неисчислимой добычей.

Пилигримы, верные до конца, проливавшие свою кровь во имя служения Богу, толпами пришли к Босфору, чтобы разделить последние крохи; рыцари Храма и Госпиталья отплыли в Грецию, где мечом все еще можно было зарабатывать деньги, а король Иерусалима стоял перед Гробницей обнаженный перед своими врагами. Сам Иннокентий был запуган; его приказы были проигнорированы, а его проклятию брошен вызов; миряне оскорбили его легата и, не посоветовавшись с ним, разделили между собой покровительство Церкви; и все же для сильнейшего не существовало морального закона. Когда Болдуин объявил себя императором, папа назвал его “своим самым дорогим сыном” и принял своих подданных в римское сообщество.^[141]

Но вчера величайший король христианского мира стоял, рыдая, умоляя сохранить жизнь его жене; сто лет назад император стоял босиком и мерз в снегу у ворот Каноссы в качестве наказания за мятеж; но в 1204 году венецианский купец получил благословение от самого надменного из пап за то, что украл армию Христа, развязал войну против его паствы, отверг своего наместника, пренебрег своим легатом и узурпировал его наследство. Он назначил патриарха без ссылки на Рим. Все было прощено, назначение подтверждено, грешник покался; ничто больше не могло противостоять власти денег, ибо началась консолидация.

И все же, хотя природа может дискриминировать его, эмоционалист всегда будет эмоционалистом, ибо такова структура его мозга; и пока он дышит, он будет ненавидеть материалиста. В следующем году Болдуин потерпел поражение и попал в плен к болгарам, а затем Иннокентий написал письмо маркизу Монферратскому, в котором показал, как болела рана, когда он благословлял завоевателя.

Он сказал с горечью:—

“Ты ничего не имел против греков, и ты был неверен своим клятвам, потому что сражался не с сарацинами, а с христианами; ты захватил не Иерусалим, а Константинополь; ты предпочел земные сокровища небесным. Но что было гораздо серьезнее, вы не пощадили ни религию, ни возраст, ни пол, и вы совершали прелюбодеяния, блудодеяния и кровосмешения на глазах у мужчин.... Тебе не хватило ни императорских сокровищ, ни награбленного как у богатых, так и у бедных. Вы наложили свои руки на имущество Церкви, вы сорвали серебряные панели с алтарей, вы ворвались в святилища и унесли изображения, кресты и реликвии, так что греки, хотя и страдающие от преследований, презирают повиновение апостольской кафедре, поскольку они видят в латинянах не что иное, как пример гибели и дел тьмы, и поэтому справедливо ненавидят их больше, чем собак”.^[142]

Для севера и запада Европы крестовый поход на Константинополь, по-видимому, стал поворотным моментом, после которого воображение быстро пошло на убыль. В начале XIII века все указывает на то, что в Церкви преобладал подлинно экстатический тип — качество ума, которое верило в чудо и поэтому ценило амулет больше денег. Сам Иннокентий, при всей его кажущейся светскости, должно быть, был таким человеком; ибо, хотя материальные преимущества союза с греческой церковью намного перевешивали угрозу Гроба Господня, его сопротивление отводу армии из Палестины было непоколебимым до последнего. То же чувство охватывало низшее духовенство; и анекдот, рассказанный Гюнтером, показывает, что даже в 1204 году монахи искренне презирали богатство в его вульгарной форме.

Поэтому, когда победители с готовностью принялись разорять завоеванный город, который принадлежал им по праву войны, аббат Мартин начал подумывать о своей доле добычи; и чтобы, когда все будет отдано другим, он не остался с пустыми руками, он предложил протянуть свою освященную руку к добыче. Но поскольку он считал, что брать мирские вещи недостойно, он побеспокоился о том, чтобы получить часть священных реликвий, которые, как он знал, находились там в большом количестве”.[143]

Идея была задумана не раньше, чем воплощена в жизнь. Хотя частное мародерство каралось смертью, он, не колеблясь, поспешил в церковь, где обнаружил на коленях испуганного старого монаха, которому страшным голосом приказал предъявить свои мощи или приготовиться к смерти. Ему показали сундук, полный до краев. Схватившись за руки, он взял все, что мог унести, поспешил на свой корабль и спрятал добычу в своей каюте; и сделал он это в городе, улицы которого буквально утопали в золоте и серебре. Он получил свою награду. Хотя он был кощунственным вором, ангелы охраняли его на море и суше, пока он не добрался до своего монастыря в Бале. Затем он распределил свою добычу по епархии.

Иногда, когда форма конкуренции резко меняется, природа действует быстро. В течение одного поколения после Хаттина отношение не только мирян, но и духовенства изменилось, и деньги были признаны, даже монахами, целью человеческих усилий.

Иерусалимские реликвии впервые привлекли крестоносцев на Восток, и, между прочим, захват сирийских морских портов привел к возобновлению торговли и новой централизации западного мира. Пока воображение оставалось доминирующей силой, а чудо сохраняло свою мощь, амбиции франков ограничивались удержанием страны, в которой хранились их талисманы; но по мере накопления богатства и того, как экономический тип начал вытеснять экстатический, стала преобладать иная политика.

Помимо городов Святой Земли, две другие части Леванта имели высокую денежную ценность — Босфор и долина Нила. Вопреки Риму венецианцы в 1204 году захватили Константинополь; на Латеранском соборе 1215 года сам Иннокентий предложил напасть на Каир. Хотя эта кампания была задумана Иннокентием, детали были организованы Гонорием III, который был посвящен в сан в июле 1216 года; однако эти детали несущественны: интерес крестового похода заключается в его завершении. Номинально командовал Иоанн Бриенский, король Иерусалима, но силы, которыми он командовал, мало походили на силы Дандоло. Далекая от того, чтобы быть той компактной массой, которой можно придать сплоченность только с помощью денег, она скорее имела характер такой истеричной толпы, какую Людовик Благочестивый привел к разрушению.

После некоторого подобия наступления на Иерусалим армия была переброшена в дельту Нила, и Дамьетта была захвачена в 1218 году. Здесь осаждающие представляли собой немногим более чем колеблющуюся толпу паломников, которые приходили и уходили по своему усмотрению, обычно служа около шести месяцев. Среди такого материала не могло существовать военной дисциплины; но, напротив, легковоспламеняющаяся масса была особенно приспособлена для обращения со священником, и вскоре папский легат взял управление на себя. Кардинал Пелагиус был испанцем, получившим повышение от Иннокентия в 1206 году. Его темперамент был в высшей степени эмоциональным, и, вооруженный полной властью Гонория, он прилагал все усилия, чтобы максимально воспламенить паломников. После восемнадцатимесячной блокады Дамьетта была доведена до крайности, и для спасения

города султан предложил всю Святую Землю, за исключением крепости Карак, вместе со средствами, необходимыми для восстановления стен Иерусалима. Король Иоанн и все солдаты, понимавшие трудность вторжения в Египет, выступали за заключение мира; но Пелагий, чье сердце было приковано к разграблению Каира, помешал совету прийти к решению. Поэтому осада продолжалась, и вскоре крепостные валы были взяты без потерь, так как все население погибло от голода и мора.

Эта победа сделала Пелагия диктатором, и он настоял на наступлении на столицу. Иоанн и великие магистры военных орденов указали на катастрофу, которая должна была последовать, поскольку был июль и Нил поднимался. Через несколько недель страна окажется под водой. Более того, флот не мог подняться по реке, следовательно, армия должна быть изолирована в центре враждебной страны и, вероятно, разбита численным превосходством.

Пелагиус поносил их. Он сказал им, что Бог любит не трусов, а чемпионов, которые ценят его славу больше, чем боятся смерти. Он пригрозил им отлучением от церкви, если они будут медлить. Ближе к середине лета 1221 года начался поход, и паломники продвинулись к вершине дельты, где остановились, поскольку враг находился на противоположном берегу.

Река вышла из берегов, ситуация была отчаянной, и все же даже тогда султан направил посольство, предлагая всю Святую Землю в обмен на эвакуацию Египта. Солдаты всех наций яростно выступали за мир, священники - за войну. Они были уверены, что повторят разграбление Константинополя в Каире, и не может быть большего контраста, чем Мартин, отвергающий богатства Константинополя как мусор, и Пелагий, отвергающий Гробницу, чтобы насытиться египетскими богатствами.

Но вся история показывает, что эмоционалист не может конкурировать с материалистом на его собственной почве. В конце концов, в условиях свободной экономической конкуренции он должен быть устранен. Пелагиус бездельничал в пасти смерти, пока Нил не поднялся и не поглотил его.

ГЛАВА VI

РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА

Физическая слабость всегда была уязвимым местом священной касты, поскольку священники редко были воинами, а вера редко была настолько глубокой, чтобы гарантировать духовенство от нападения. Эта трудность была отмечена в раннем средневековье, когда, хотя распад до такой степени преобладал, что угрожал самой традиции централизованной власти, оставалась сильная закваска древнего материализма.

В девятом веке тенденция к децентрализации не встречала сопротивления. Хотя некоторые из потомков Карла Великого были людьми способными и энергичными, оборона была настолько лучше нападения, что они не могли принудить своих вассалов, и их владения превратились в независимые государства, пока корона не стала выборной, а монархия почти традиционной. В течение десятого века представляется возможным, что королевская власть могла бы быть

стерта с лица земли, даже до последнего следа, если бы не Церковь, которая остро нуждалась в защитнике. Духовенство не заботилось о законной линии; они искали защитника и, соответственно, выбрали не потомка Карла Великого, а того, кто, по словам архиепископа Реймского, “отличался своей мудростью и находил поддержку в величии своей души”. Гуго Капет сменил Людовика V. Потому что он был лучшим начальником полиции Франции.

Из такого союза священника и солдата всегда вытекал догмат о божественном праве королей. В средневековой Европе колдовство было главным элементом королевской власти. Монарха помазали волшебным маслом, опоясали священным мечом, вручили сверхъестественное знамя и наделили даром творить чудеса. Его прикосновение исцеляло болезни. В обмен на эти дары он сражался в битвах за Церковь, собственность которой была естественной добычей хищного баронства. Каждая епархия и каждое аббатство были втянуты в бесконечные локальные войны, которые длились из поколения в поколение, а иногда и из века в век. Хорошим примером была нескончаемая вражда между аббатством Везеле и графами Неверскими, а письмо папского легата по имени Конон, в котором описывается один из бесчисленных набегов, дает представление о жестокости нападения.

“Люди графа Неверского взломали двери монастыря, забросали камнями реликварии, в которых хранятся тела святого Лазаря, святой Марфы, святого Андокуса и святого Понтиана; они даже не проявили уважения к распятию, в котором хранилась частица истинного креста, они избили монахов, они выгнали их камнями, и, захватив одного из них, они поступили с ним позорным образом”.^[144]

До тех пор, пока не был ощутим стимул, данный крестовыми походами, субинфеудация продолжалась непрерывно; капетинги были так же неспособны остановить течение, как Карловинги до них, так что при Филиппе I. королевские владения были почти так же расчленены, как королевство Лотэр столетием ранее. Консолидация началась после Клермонского собора, и *"Жизнь Людовика Толстого"* Шугера - это история последних лет партизанской войны между короной и мелкой знатью, которая велась со времен Гуго Капета.

В течение этого долгого периода короли вели проигранную битву, и без материальных ресурсов Церкви они были бы побеждены. Несмотря на это, им не удалось удержаться на ногах, и все же богатство духовенства было относительно огромным. Говорили, что единственное аббатство Сен-Дени контролировало десять тысяч человек, и хотя это может быть преувеличением, корпорация была организована в гигантских масштабах.

Между одиннадцатым и тринадцатым веками только во Франции было три города, свыше семидесяти четырех деревень, двадцать девять поместий, присоединенных к этим владениям, более сотни приходов и огромное количество часовен, приносящих ценную ренту, рядом с многочисленными виноградниками, мельницами и полями, с пятнадцатью первоклассными лесами.^[145]

Описание страны в начале XII века, сделанное Шугером, в высшей степени драматично. Каждая укрепленная позиция, вроде холма или леса, была владением барона, откуда он выезжал грабить и мучить людей. Одним из самых страшных из этих грабителей был Хью дю Пюизе, человек, которого аббат Сен-Дени называет негодяем, продолжателем длинной череды негодяев. Для церковника Хью был воплощением зла. Он притеснял духовенство, и хотя его ненавидели все, мало кто осмеливался противостоять ему. Наконец он напал на Адель, графиню

Шартрскую, дочь Вильгельма Завоевателя, которая отправилась со своим сыном Тибальтом просить прощения у короля. Людовика не понравилась кампания, и монах описал, как дама насмеялась над ним из-за поражения, которое его отец потерпел от отца Гуго, который преследовал его до Орлеана, захватил в плен сотню его рыцарей и бросил его епископов в темницы.

После этого в Мелене было созвано собрание для рассмотрения сложившейся ситуации, и там толпа прелатов, клерков и монахов “бросилась в ноги королю и умоляла его, к его великому смущению, наказать этого самого жадного разбойника Хью, который, хищнее волка, пожирал их земли”.^[146]

Конечно, у священников были причины для тревоги, поскольку присутствовавший при этом достопочтенный архиепископ Шартрский был схвачен, закован в кандалы и надолго оставлен томиться в тюрьме.

Трижды этот барон терпел поражение, но даже находясь в плену, его семейные связи были настолько сильны, что ему было позволено сбежать. В конце концов он умер, как волк, сражаясь до последнего, пронзив сенешаля Франции своим копьем.

Даже поодиночке такие люди были почти равны как Церкви, так и короне; но когда они объединялись в лигу, особенно в союзе с одним из крупных феодалов, таким как герцог Нормандии, они чувствовали уверенность в победе. Однажды, когда Эд, граф Корбейль, должен был присоединиться к этому самому Гуго, он отстранил своего оруженосца, который сопровождал его, и сказал своей жене: “Умоляю, благородная графиня, принеси сверкающий меч благородному графу, поскольку тот, кто возьмет его у тебя как у графа, сегодня вернет его как король”.^[147]

Непосредственным результатом крестовых походов стало переселение множества этих мелких князьков в Палестину, где они часто были убиты или разорены. Когда их сила сопротивления ослабла, корона одержала верх, и Людовик Толстый отвоевал владения. Его активная жизнь началась в 1097 году, в год вторжения в Палестину, и то, что он стал лордом Монлери, является хорошей иллюстрацией его успеха.

Семья Рошфор-Монлери владела несколькими сильнейшими донжонами близ Парижа и была разделена на две ветви: одну представлял Ги Труссо, сеньор Монлери, другую - Ги Рыжий, сеньор Рошфор. Отца Ги Труссо звали Мило, и все трое отправились в Сирию, где Мило был убит, а его сын опозорил себя. Сугер отзывался о нем с крайним презрением: —

“Ги Труссо, сын Мило из Монлери, беспокойный человек и возмутитель спокойствия королевства, вернулся домой из паломничества к Гробу Господню, сломленный тревогами долгого путешествия и досадой многих неприятностей. И ... [будучи] охваченным паникой в Антиохии при приближении Корборана и сбегаая со стены [он] ... покинул армию Бога и бежал, лишенный всего”.^[148]

Вернувшись разоренным человеком, он выдал свою дочь замуж за незаконнорожденного сына Филиппа, сводного брата Людовика, двенадцатилетнего ребенка; и в качестве его опекунов король и принц получили замок во владение. Этот замок находился почти у ворот Парижа и представлял постоянную угрозу коммуникациям королевства, поэтому их восторг был велик. “Они радовались так, словно вынули соломинку из глаз или как будто прорвали барьер, который

их удерживал”.^[149] И старый король сказал своему сыну: “Хорошо охраняй башню, Людовик, которая состарила меня огорчениями и из-за чьего предательства и злого обмана я никогда не знал мира и покоя”.^[150]

Тем не менее, уничтожение местной знати в Сирии было наименее важной частью социальной революции, вызванной крестовыми походами, поскольку, хотя таким образом власть баронов могла быть временно подорвана, они никогда не смогли бы опуститься до бессилия, если бы богатство не выросло настолько, что позволило организовать сокрушительное нападение. Накопление богатства последовало за открытием торговли с Востоком, и первым его результатом стало объединение коммун.

Известно, что до 1095 года был зафрахтован только один город, Сен-Кантен, столица Вермандуа, около 1080 года,^[151] но после открытия сирийских портов весь облик общества изменился. Нойон был зафрахтован в 1108 году, Лан - в 1111-м, Амьен - в 1113-м, а затем со всех сторон возникли свободные районы.

Из-за отсутствия морского компаса торговые суда не могли проходить на север через Гибралтарский пролив. Поэтому товары должны были доставляться по суше, и обмен между севером и югом Европы сосредоточился в графстве Шампань, ярмарки которого стали крупнейшим рынком XIII века.

Самым ранним датированным документом, относящимся к этим ярмаркам, является акт, составленный в 1114 году Гуго, графом Труа, согласно которому он передавал определенные доходы, полученные от них, аббатству Монтье-ан-Дер. Пятьдесят лет спустя подобные упоминания участились, и к 1200 году ярмарки достигли своего полного развития.^[152]

Ткачество было отраслью промышленности во Фландрии при римлянах, а во времена Карла Великого сукно из Нидерландов было знаменитым; но в XII веке производство распространилось на соседние провинции Франции, и шерсть стала самым ценным предметом европейского экспорта. Шерсть привозили в основном из Англии, ткачество производилось на Континенте, и одним из источников богатства Флоренции была выделка и крашение этих тканей для подготовки их к азиатскому рынку.

Для взаимной защиты промышленные города севера образовали лигу, названную Лондонской Ганзой, потому что Лондон был резиденцией главной счетной палаты. Сначала в эту лигу входило всего семнадцать городов, во главе с Ипром и Брюгге, но впоследствии объединение увеличилось до пятидесяти или шестидесяти, простираясь на запад до Ле-Мана, на юг до бургундской границы и на восток до Льежа. За исключением королевских владений, которые были хорошо укреплены при Филиппе Августе, французская часть этого региона в основном включала графства Блуа, Вермандуа, Анжу, Шампань и герцогство Нормандия. Этот район, который с тех пор составлял ядро Франции, стал централизованным в Париже между началом правления Филиппа Августа в 1180 году и правлением Филиппа Красивого столетием позже, и нет никаких сомнений в том, что эта централизация была результатом накопления капитала, создавшего постоянную полицию.

Купцы всех городов лиги обязались торговать исключительно на ярмарках Шампани, и для процветания первым препятствием, которое им предстояло преодолеть, были трудности и стоимость транспортировки. Не только дороги были небезопасны из-за крепости замков, в которых жила хищническая знать, но и разнообразие юрисдикций увеличивало налоги. Еще в

конце XIII века между пятнадцатью наиболее важными итальянскими городами, такими как Флоренция, Генуя, Венеция и Милан, и Отто Бургундским было заключено соглашение, по которому, в целях защиты дорог, должны были взиматься сборы в Жеври, Доле, Ожерансе, Салине, Шаламоне и Понтарлье. Когда за пересечение границы одного герцогства взималось шесть пошлин, стоимость импорта более дешевых товаров, должно быть, была непомерно высокой.

Итальянские караваны обычно добирались до Шампани двумя путями: один - через какой-нибудь альпийский перевал в Женеву, а затем через Бургундию; другой - водным путем в Марсель или Эг-Морт, вверх по Роне до Лиона и на север, в основном, как и раньше. Города Провен, Труа, Бар-сюр-Об и Ланьи-сюр-Марн находятся примерно на полпути между Брюгге и Ипром, с одной стороны, и Лионом и Женевой, с другой, и именно в этих городах централизовались обмены, пока появление компаса моряка не привело к тому, что движение стало осуществляться по берегу океана и Антверпен превратился в денежную столицу.

На самом деле рынок был открыт непрерывно, поскольку проводилось шесть ярмарок продолжительностью шесть недель, и торговля была настолько прибыльной, что в местах, которые в 1100 году были маленькими деревушками, в 1200 году было достаточно богатства, чтобы построить те великолепные соборы, которые до сих пор считаются чудесами света.

В общинном движении не было ничего обязательно либерального или демократического. Объединенный район был всего лишь инструментом торговли и в определенный момент стал практически независимым, потому что в течение короткого периода торговцы организовывались на местном уровне, прежде чем они смогли объединиться в централизованные сообщества с доходами, достаточными для оплаты полиции, способной принуждать отдельных лиц.

Чего хотел торговец, так это защиты для торговли, и при условии, что она у него была, форма, в которой она поступала, была несущественной. Там, где феодальное правление было сильным, коммун не существовало: в Париже никогда не было хартии. И наоборот, там, где правительство было слабым, возникали коммуны, потому что торговцы объединялись для взаимной защиты, и поэтому коммуны достигали совершенства в церковных столицах.

В целом светская знать скорее благоволила объединенным городам, потому что они могли продавать им свои услуги в качестве полицейских и могли присоединиться к ним в разграблении Церкви;[153] со своей стороны торговцы всегда были готовы заменить личную военную службу налогом, и таким образом выигрывали обе стороны. Для Церкви, напротив, возвышение торгового класса было чистой потерей, не только потому, что это заставило их вассалов искать лучшей защиты, чем могла дать церковь, но и потому, что распространение материалистического мышления породило ересь. У духовенства не было полиции, которую можно было бы продать, и горожанам приходилось, следовательно, либо выполнять эту работу самим, либо нанимать светского дворянина. В одном случае они стали по существу независимыми; в другом они передали свою преданность незнакомцу. В любом случае, из церковного феода был выделен новый феодал, и такие присоединения неуклонно увеличивали королевские владения.

С самого начала священный класс, по-видимому, осознавал свою опасность, и одними из самых ожесточенных войн средневековья были те, которые велись против церковных

крепостных, пытавшихся организовать для самообороны. В одной из своих книг Люшер подробно рассказал историю массового убийства лаонских крестьян солдатом, которого лаонский капитул избрал епископом для этой цели,^[154] и это был всего лишь единичный случай из сотен. Вряд ли епископ или аббат жили в мире со своими вассалами, и, поскольку духовенство было естественной добычей светской знати, бароны часто вставали на сторону населения и использовали бюргеров как предлог для частных войн. Речь, произнесенная одним из графов Невера во время восстания жителей Везле, дает хорошее представление об интригах, которые держали прелатов в постоянных страданиях.

“О очень прославленные люди, прославленные великой мудростью, доблестные своей силой и богатые богатствами, которые вы приобрели своими собственными заслугами, я глубоко огорчен тем жалким состоянием, до которого вы доведены. По-видимому, вы обладатели многого, на самом деле вы не хозяева ничего; и более того, вы не пользуетесь никакой частью своей естественной свободы.... Когда я думаю об этих вещах, я очень удивляюсь и спрашиваю себя, куда девалась или, скорее, до какой глубины трусости дошла в вас эта сила, некогда столь известная, когда вы предали смерти вашего господина, аббата Арто.

Затем граф остановился на суровости живого аббата и закончил так:

“Отделитесь от этого человека и свяжите себя со мной взаимным соглашением: если вы согласитесь, я обязуюсь освободить вас от всех поборов, от всей незаконной аренды и защитить вас от зла, которое готово обрушиться на вас”.^[155]

Где бы ни развивался меркантильный ум, он всегда отличался одной и той же чертой: у него не было воображения, а будучи лишенным воображения, он сомневался в полезности магии. Соответственно, все коммерческие сообщества восстали против оплаты чудес, и именно распространение скептицизма, уже хорошо развитого в XIII веке среди промышленных городов, вызвало Реформацию XVI века. В Сен-Рикье монахи каждый год совершали крестный ход с мощами святого Вигора. В 1264 году бюргеры взяли дохлую кошку и положили ее в святилище, а в другой ларец положили лошадиную кость, чтобы она служила рукой святого Вигора. Когда процессия достигла определенного места, реликварии были установлены, и между двумя ряженными началась инсценировка драки. Тогда носильщики закричали: “Старый святой Рикье, ты не пойдешь дальше, пока не примиришь этих врагов”, после чего сражающиеся бросились друг другу в объятия, и все закричали, что святой Рикье сотворил чудо.

Позже они построили часовню и молельню с алтарем, задрапированным золотой тканью, и положили туда дохлую кошку и лошадиную кость; и простые паломники, не подозревавшие о святотатстве, останавливались, чтобы поклониться мощам, а мэр и городской совет помогали преступлению “в ущерб всей Церкви вселенской”.^[156]

Духовенство ответило с ужасающей свирепостью. Поскольку ересь следовала вслед за торговлей, инквизиция следовала вслед за ересью, и начало XIII века стало одновременно свидетелем процветания торгового класса и организации Святой канцелярии.

Жак де Витри дышал церковным духом. Один из самых известных проповедников своего времени, он прошел путь от простого монаха до кардинала-епископа Тускулума, легата во Франции и патриарха Иерусалимского. Он возглавил крестовый поход против альбигойцев,

присутствовал при осаде Дамьетты и умер в Риме в 1240 году. Его проповеди пылают ненавистью к буржуазии: “Эта отвратительная раса людей ... спеша навстречу своей судьбе, которой никто или немногие не могли избежать, ” все они“ спешили в ад.... Но среди всех других зол этих вавилонских городов есть одно, которое является наихудшим, ибо едва ли можно найти сообщество, в котором не было бы подстрекателей, приемников, защитников еретиков или верующих в них”.^[157]

Основой светского общества раннего средневековья была индивидуальная физическая сила. Каждый мирянин, дворянин или крепостной, нес военную службу, и когда район был инкорпорирован, он занимал свое место в феодальной иерархии, как и любой другой вассал. Однако с распространением меркантилизма начались перемены — превращение физической силы в деньги — и этот процесс продолжался до тех пор, пока индивидуальная сила или мужество не перестали иметь значение.

Как солдаты горожане никогда не отличались превосходством; гражданские войска редко были грозными, а войска коммун редко выдерживали первое наступление врага. Торговцы сами признавали свои ограничения, и в 1317 году городские депутаты собрались в Париже и обратились к правительству с просьбой взять на себя управление местным ополчением.

Несмотря на отсутствие воинственности, горожане были богаты, и в правление Филиппа Августа та же причина, которая привела к консолидации королевства, привела, как указала Люшер, к “радикальному изменению военной и финансовой организации монархии”; привилегированные корпорации заменили денежную оплату личных услуг.^[158]

Таким образом, с того времени, когда экономический тип размножился настолько, что можно было нанять полицию, сила государства стала зависеть от его доходов, а финансисты превратились в контролирующий элемент цивилизации. До крестовых походов высокие должности в королевстве Франция, такие как должность сенешаля, занимали не только дворяне, но и, как правило, передавались по наследству в некоторых воинственных семьях. После подъема восточной торговли королевский совет был захвачен буржуазией. Жак Кер - яркий представитель класса, правившего в пятнадцатом веке. Представителями этого класса были юристы, и такие люди, как Флотте и Ногаре, канцлеры Филиппа Красивого, выражали идею централизации так же точно, как юристы древнего Рима. Никто не понимал это движение лучше, чем Люшер. В своей работе о французских институтах он указал, что с начала правления Людовика Святого (1226 г.) Тайный совет неуклонно набирал силу.^[159] Постоянная государственная служба, ядром которой она была, служила школой для судей, клерков, сенешалей и всех должностных лиц судебной и исполнительной власти. Сначала администрация сохраняла сильный клерикальный оттенок, вероятно, потому, что прошло поколение, прежде чем миряне смогли быть столь же хорошо подготовлены к этой работе, но после восшествия на престол Филиппа Красивого, ближе к концу столетия, миряне решительно преобладали, и когда они преобладали, началось разграбление Церкви.

Абстрактная справедливость, конечно, невозможна. Закон - это всего лишь выражение воли сильнейшего на данный момент, и поэтому законы не имеют неизменности, а меняются от поколения к поколению. Когда воображение живо, а полиция слаба, преобладает эмоциональный или церковный закон. По мере обострения конкуренции и ускорения общественного движения религиозные ритуалы вытесняются гражданскими кодексами для обеспечения исполнения контрактов и защиты класса кредиторов.

Чем больше консолидируется общество, тем больше законодательство контролируется богатыми, и в конце концов представители состоятельного класса приобретают ту абсолютную власть, которой когда-то обладал римский проконсул, а теперь пользуется современный магистрат.

“Две великие фигуры Людовика Святого и Филиппа Красивого, которые доминируют в третьем периоде, глубоко непохожи, но если рассматривать факты в целом ... [они] лишь умеренно повлияли на направление общественного развития. С судебными приставами и парламентом монархическая машина выполняет свои основные функции; она работает и больше не остановится. Напрасно король пытается остановить его продвижение или направить его в другое русло: неисчислимая армия агентов короны ни на минуту не прекращает разрушать конкурирующие юрисдикции, подавлять ставящие в неловкое положение державы, повсеместно заменять частные юрисдикции единоличной властью суверена.

“Бесконечному разнообразию местных свобод его воля состоит в том, чтобы заменить регулярность институтов политической и административной централизацией”.[\[160\]](#)

Как заметил Люшер в другом месте, течение повсюду “заменяло церковный и благородный элемент мирянами и бюргерами на путях управления, правосудия и финансов”. Другими словами, экономический тип неуклонно набирал обороты, и этот процесс продолжался вплоть до Революции. Сен-Симон так и не простил Людовика XIV. за то, что окружил себя людьми низкого происхождения, зависящими от его воли.

“Герцог Бовилье был единственным примером за все время своего правления, как было отмечено, говоря об этом герцоге, единственным дворянином, который был допущен в его совет между смертью кардинала Мазарини и его собственной, то есть в течение пятидесяти четырех лет”.[\[161\]](#)

С середины двенадцатого по середину тринадцатого века был период почти беспрецедентного коммерческого процветания — процветания, которое в достаточной степени подтверждается роскошным качеством архитектуры того времени. Несомненно, самые великолепные здания современной Европы относятся к этому периоду, и это процветание не ограничивалось какой-либо страной, а простиралось от Каира до Лондона. Такое расширение торговли было бы невозможно без соответствующего роста денежной массы, а поскольку новых рудников обнаружено не было, пришлось прибегнуть к бумаге. К 1200 году были введены переводные векселя,[\[162\]](#) и для того, чтобы придать переводному векселю наибольшую силу обращения, была создана банковская система, которая действовала как универсальная расчетная палата и с помощью которой эти векселя уравнивались друг с другом.

В XIII веке главными денежными центрами были Флоренция, Генуя и Венеция. В этих городах купля-продажа коммерческих бумаг с самого начала была монополизирована группой менял, которые, по крайней мере в Венеции, по-видимому, контролировались советом торговцев и которые, вероятно, не всегда пользовались лучшим кредитом. Во всяком случае, в 1318 году от них потребовали внести депозит в размере 3000 фунтов стерлингов в качестве обеспечения для своих клиентов, а впоследствии сумма была увеличена.[\[163\]](#) Возможно, какая-то подобная система депозитов изначально формировала капитал Банка Венеции, но все, что касается организации средневековых банков, неясно. Все, что кажется несомненным, это то, что бизнес

велся учреждениями такого рода задолго до даты каких-либо записей, которые сейчас сохранились. Среди множества средневековых юрисдикций валюта не только оказалась вовлеченной в неразрешимую путаницу, но и в целом обесценилась из-за истирания и обрезки. Следовательно, прежде чем можно было бы удобно произвести клиринг, необходимо было обеспечить чеканку монет признанной ценности, и банки обязались обеспечить это с помощью своей системы депозитов. Они получали свежую монету с монетных дворов, за которую давали кредиты, и эти кредиты или банкноты были оборотными, и их всегда можно было купить на рынке. Сами депозиты редко изымались, поскольку они имели премию по сравнению с обычной валютой, которую они теряли при вводе в обращение, и, соответственно, они переводились только в бухгалтерские книги корпораций, чтобы соответствовать продажам банкнот, которые их представляли. Таким образом, купцы со всех частей Европы и Леванта могли обращаться в Венецию или Геную и пополнять свои балансы путем перевода депозитов в банки без вмешательства монет. Был произведен расчет, согласно которому таким образом эффективная сила валюты была увеличена в десять раз. Из всех этих учреждений наиболее известными были корпорации Генуи и Венеции. Банк Святого Георгия в Генуе был официально организован в 1407 году, но он, несомненно, вел свою деятельность с начала двенадцатого века;^[164] о развитии событий в Венеции почти ничего не известно. Вероятно, однако, Флоренция была более денежным центром, чем Венеция или Генуя, и никакие ростовщики Средневековья никогда не могли сравниться с великими флорентийскими банковскими семьями. Подобные учреждения появились в большинстве важных коммерческих центров.

Введение кредита имело тот же эффект, что и значительное увеличение запасов слитков, и по мере того, как золота и серебра становилось все больше, их относительная стоимость падала, и происходила общая денежная реформа. Венеция начала движение с грассо, оно распространилось по Италии и Франции, и монета Людовика Святого долгое время считалась совершенными деньгами.

С распространением валюты начался рост цен, все производители разбогатели, и на протяжении более чем двух поколений напряжение конкуренции было настолько ослаблено, что различные классы населения охотились друг на друга с меньшей жесткостью, чем они привыкли делать в менее счастливые времена.

Между тем объем драгоценных металлов не был существенно увеличен, и по мере роста объема торговли возможности новой кредитной системы истощились, и начался спад. Первым симптомом беспорядка, по-видимому, был рост покупательной способности обоих драгоценных металлов, но особенно золота, соотношение которого к серебру выросло примерно с одного к девяти с половиной до одного к двенадцати.^[165] В то же время стоимость товаров, даже измеряемая в серебре, по-видимому, резко упала.^[166] Следствием этого падения стало соответствующее увеличение бремени задолженности и очень общая неплатежеспособность. Коммуны были крупными заемщиками, и их положение было плачевным. Люшер описал их состояние так, как оно отражено “в муниципальных счетах, направленных коммунами правительству”.^[167] Везде был дефицит, почти везде разорение. Амьен, Суассон, Руай, Сен-Кантен и Руан испытывали трудности с кредитами, но Нойон, пожалуй, был хуже всех. В 1278 году Нойон задолжал 16 000 фунтов стерлингов, которые не смог выплатить. После четырнадцатилетнего перерыва король издал указ, регулирующий ликвидацию; часть требований должна была быть аннулирована, а остаток взыскан за счет налога на частную собственность. Банкротство было полным.

Королевское правительство, на которое оказывалось столь же сильное давление, оказалось не в состоянии выполнить свои обязательства в стандартной монете и прибегло к обесцениванию. При Людовике Святом марка серебра давала всего 2 фунта 15 су 6 пенсов; в 1306 году металл того же веса был разделен на 8 фунтов 10 су. Давление на население было ужасным и привело к ужасным результатам — началу разграбления эмоционалистов.

Возможно, сочетание двух великих сил того времени, солдата и монаха, было высшим усилием эмоционального разума. О том, какое влияние имела ослепительная мечта о всемогуществе через обладание Гробницей в двенадцатом веке, можно судить по дарам, которыми были осыпаны ордена крестоносцев, ибо они представляли собой огромную жертву.

В Париже у Тампля была столица, расположенная напротив столицы короля. Внутри обнесенного стеной помещения площадью шестьдесят тысяч квадратных метров располагались монастырские постройки и гигантский донжон такой совершенной каменной кладки, что он никогда не нуждался в другом ремонте, кроме латания крыши. За городскими стенами владения простирались до Сены - владения, которые даже в 1300 году имели почти неисчислимую ценность.

На каждом поле битвы на Востоке, при каждом штурме и осаде рыцари сражались с той пламенной отвагой, которая сделала их имя притчей во языцех вплоть до наших дней. В 1265 году в Цфате триста человек были хладнокровно убиты на крепостных валах, вместо того чтобы отречься от своей веры. В Акко, потеря которого решила судьбу Палестины, они удерживали крепость, несмотря ни на что, пока донжон не пал, похоронив христиан и мусульман в общей могиле. Но мастерство и доблесть ничего не могут против природы. Шаг за шагом тамплиеры отступали, пока Тортоса не сдалась в 1291 году. Затем Святая Земля была закрыта, энтузиазм, породивший орден, угас, а тем временем экономическая конкуренция породила у себя дома новую расу, обреченной добычей которой были монахи.

В 1285 году, когда латинское королевство в Сирии было на грани падения, Филипп Красивый был коронован. Утонченный, скептический, вероломный и жестокий, немногие короли оставили после себя более мрачную память, и все же он был воплощением экономического духа в его конфликте с Церковью. Девять лет спустя папой был избран Бенедетто Гаэтани: человек, столь же полностью являющийся творением социальной революции XIII века, как и сам Филипп. Получивший образование в Болонье и Париже, скорее юрист, чем священник, его вера в догмы была настолько скудной, что его вера в бессмертие души была поставлена под сомнение. Прожженный человек, жадный, амбициозный и беспринципный, он подозревался в убийстве своего предшественника Селестина V.

Предполагается, что когда Бонифаций вззошел на трон, Церкви принадлежало около трети территории Европы, и в отношении этой собственности у правительств не было средств для введения регулярных налогов. К концу XIII века падение цен увеличило тяжесть долга, в то время как это уменьшило платежеспособность населения. С другой стороны, по мере того, как система управления становилась все более сложной, расходы на управление увеличивались, и, наконец, бремя стало больше, чем могли вынести миряне. И Англия, и Франция испытывали постоянный дефицит, и Эдуард, и Филипп одинаково обратились к духовенству как к единственному источнику снабжения. Оба короля столкнулись с оппозицией, но взрыв произошел во Франции, где Клерво, самый несговорчивый из монастырей, обратился с апелляцией к Риму.

Бонифаций был избран коалицией фракций Колонна и Орсини, но после своей коронации он обратился против Колонна, которые в отместку разграбили его сокровища. Последовала борьба, которая закончилась фатально для папы; но сначала он имел преимущество, разграбил их город Пренесте и вынудил их бежать во Францию. На пороге этой войны Бонифаций был не в состоянии поднять на ноги такого опасного противника, как Филипп, и в ответ на призыв Клерво ограничился отлучением от церкви принца, который должен был взимать налог со священника, и священника, который должен был платить самозванцу.

Тем не менее, этот вопрос должен был быть решен. Церковь ослабла по мере того, как ослабевал ужас перед неизвестным, и больше не могла защищать свое богатство, которому было суждено все более и более полностью переходить в руки мирян.

Филипп продолжал свои агрессивные действия, и, когда в Италии установился мир, произошел разрыв. Не осознавая своего бессилия и раздраженный королевской политикой, Бонифаций отправил Бернара де Сассе, епископа Памье, в Париж в качестве своего посла. Бернард недавно был посвящен вопреки воле Филиппа, и они были заклятыми врагами. Вскоре его отстранили от двора, но он продолжал свои провокации, называя короля фальшивомонетчиком и болваном, а вернувшись в Памье, устроил восстание. Он был арестован и привлечен к судебной ответственности канцлером Флотом, но когда его доставили архиепископу Нарбонны за унижение, действие было приостановлено в ожидании санкции Рима. Затем Флотте был отправлен в Италию требовать выдачи “дитя гибели”, чтобы Филипп мог принести его в “превосходную жертву Богу”. Миссия неизбежно провалилась, поскольку это была борьба за превосходство, и этот вопрос был хорошо подытожен в заключительных словах бурного интервью, которое подвело его итог. “Моя сила, духовная сила, ” воскликнул Бонифаций, “охватывает и ограждает мирское”. “Верно, - возразил Флотт, - но твое - устное, а королевское - настоящее”.

На октябрь 1302 года был созван церковный собор, и Филипп был вызван предстать перед величайшими прелатами христианского мира. Но, не дожидаясь заседания этой августейшей ассамблеи, Бонифаций 5 декабря 1301 года выпустил свою знаменитую буллу “Ausculta, fili”, которая была его объявлением войны.^[168]

Послушай, сын мой: не убеждай себя, что у тебя нет начальника и ты не подчиняешься главе церковной иерархии: тот, кто говорит это, безумен, тот, кто поддерживает это, - неверующий. Вы пожираете доходы пустующих епископств, вы грабите церкви. Я не говорю сейчас об изменениях в чеканке монет и о других жалобах, которые поступают со всех сторон и которые вызывают к нам против вас, но не для того, чтобы отчитываться перед Богом за вашу душу, я призываю вас предстать передо мной и, в случае вашего отказа, вынесу решение в ваше отсутствие.^[169]

Столетие назад французские бароны отказались от Филиппа Августа, опасаясь колдовства Невинных, но в третьем поколении коммерческого типа эти опасения были отброшены. В апреле 1302 года поместья королевства поддержали “маленького одноглазого еретика”, как Бонифаций называл Флотту, в сожжении папской буллы и в насмешливом ответе на увещания папы.

“Филипп, милостью Божьей король Франции, Бонифацию, который называет себя верховным понтификом, мало приветствий или вообще никаких. Пусть ваша великая глупость знает, что мы

никому не подчиняемся во временном отношении; что пожертвования на пустующие церкви и пребенды принадлежат нам по королевскому праву; что их плоды принадлежат нам; что пожертвования, которые были сделаны или должны быть сделаны нами, действительны для прошлого и для будущего, и что мы будем мужественно защищать их владельцев от всех желающих. Тех, кто думает иначе, мы считаем дураками или сумасшедшими”.[170]

Долгое время общепринятая теория заключалась в том, что буржуазия была нейтральна в этой ссоре; что они были незначительным фактором в государстве и пассивно подчинялись, потому что у них не было возможности противостоять. На самом деле консолидация зашла уже так далеко, что деньги стали преобладающей формой силы во французском королевстве; следовательно, денежный класс в целом был самым сильным классом, и Флотт был их рупором. Они приняли документы, составленные канцлером, потому что канцлер был их представителем.[171]

В июле 1302 года Филипп потерпел поражение при Куртрэ, и тон церковного собора, созванного в октябре, показывает, что духовенство считало его власть сломленной. Священник полагается на чудо, и, если ему бросают вызов, он должен либо победить с помощью сверхъестественных сил, либо подчиниться светскому принуждению. Бонифаций смело взглянул в лицо проблеме и встал рядом с Хильдебрандом. В своей булле "Unam Sanctam" он определил свое требование безоговорочного послушания мирян.

“Под его властью мы обеспечены двумя мечами, мирским и духовным; ... следовательно, оба находятся во власти Церкви; а именно, духовный и материальный меч: ... один предназначен для использования священником, другой - королями и солдатами; sed ad nutum et patientiam sacerdotis”.[172]

Также был подготовлен и отправлен во Францию приговор об отлучении от церкви, за которым должно было последовать низложение; но когда он прибыл, Филипп созвал собрание прелатов и баронов в Лувре и представил обвинительный акт против Бонифация, вероятно, не имеющий аналогов в современной истории. Папу римского обвиняли во всех преступлениях. Он был неверующим, отрицавшим бессмертие души, насмехавшимся над евхаристией, убийцей и колдуном. Он был виновен в противоестественных преступлениях и грабежах.[173]

Податель буллы был арестован, имущество епископов, присутствовавших на соборе, конфисковано, а Филипп приготовился схватить Бонифация в его собственном дворце. Бонифаций тоже чувствовал, что приближается решающий час. Он попытался примириться со своими врагами, нарисовал буллу о низложении и приготовился прикрепить ее к дверям церкви в Ананьи 8 сентября 1303 года. Еще до того, как настал этот день, он был пленником и лицом к лицу встречался со смертью.

Флотте был убит при Куртрэ, и ему наследовал грозный Ногаре, чей дед, как считалось, был сожжен как еретик. Вместе с Ногаре Филипп присоединился к Шарре Колонне, самому кровожадному из итальянских дворян, и отправил их вместе в Италию расправиться со своим врагом. Бонифаций развязал войну с Колоннами, и на Шиарру охотились, как на дикого зверя. Переодетый летчиком, он был схвачен пиратами и предпочел четыре года трудиться в качестве галерного раба, чем рисковать церковным милосердием, сдавшись наместнику Христа. Наконец Филипп услышал о его несчастьях, купил его и в критический момент позволил ему вцепиться старику в горло, как бешеной собаке. Ногаре и Колонна преуспели в подкупе

губернатора Ананьи и вошли в город глубокой ночью; но племянники папы успели забаррикадировать улицы, и только после того, как церковь, сообщавшаяся с папскими апартаментами, была подожжена, дворец был взят. Говорили, что там они нашли гордого старого священника, сидящего на своем троне с короной на голове, и люди шептались, что, когда он сидел там, Колонна ударил его по лицу своей латной перчаткой.

Возможно, эта история была ложной, но она достаточно правдиво отражала дух похитителей папы римского. Сам он считал, что они способны отравить его, потому что с вечера субботы до утра понедельника он лежал без еды и питья, а когда его освободили, был истощен. Бонифацию было восемьдесят шесть, ипотрясение убило его. Он был доставлен в Рим и умер там, по слухам, от лихорадки, богохульствуя и в исступлении грызя себе руки.^[174]

Смерть Бонифация стала решающей. Бенедикт XI, сменивший его, не пытался продлить борьбу; но мир без капитуляции был невозможен. Экономические классы держали эмоциональщиков за горло и душили их до тех пор, пока они не вырвались наружу.

Тщетно Бенедикт отменял действия своего предшественника. Филипп потребовал, чтобы Бонифаций был заклеен как еретик, и отправил Ногаре в Рим в качестве своего посла. Оскорбление было большим, чем могло вынести духовенство. Собравшись с духом, Бенедикт отлучил от церкви Ногаре, Колонну и тринадцать других, которых он видел ворвавшимися во дворец в Ананьи. Через месяц он был мертв. Ходили слухи о Яде, и впервые с тех пор, как монахи захватили папство, иерархия была парализована страхом. Не было подано ни одной жалобы или предпринято преследование преступника; консистория собралась, но не смогла прийти к единому мнению по вопросу о преемнике.

Согласно легенде, когда кардиналы не смогли прийти к согласию, фракция, выступающая против Филиппа, согласилась назвать трех кандидатов, из которых король должен был выбрать папу римского. Прелатом, которого он выбрал, был Бертран де Гот, архиепископ Бордо. Бонифаций был его покровителем, но Филипп, знавший людей, понимал, что у этого человека есть своя цена. Рассказывают, что король посетил епископа в аббатстве близ Сен-Жан-д'Анжели и начал разговор следующим образом: “Милорд архиепископ, у меня в руках то, что сделает вас папой, если я захочу, и именно за этим я пришел”. Бертран упал на колени, и король выдвинул пять условий, оставив за собой шестое для последующего исполнения. Последним условием было осуждение тамплиеров.^[175]

Несомненно, живописная старая сказка столь же лжива в деталях, сколь и правдива по духу. Вероятно, такой беседы не было, и все же, кажется, нет никаких сомнений в том, что Климент был обязан своим избранием Филиппу и дал обещания, которые связывали его со дня коронации. Конечно, он отказался от всякой свободы действий, поскольку обосновался в Авиньоне, откуда до сих пор видны зубчатые стены Виль-Нева, построенные Филиппом для внушения благоговения городу. В течение часа он мог бы заполнить улицы своими наемниками. Победа была полной. Церковь была повержена, и начался грабеж.

Климент был коронован в 1305 году, и после двух лет рабства его договор начал давить на него. Он отказался от покровительства, он согласился на налогообложение духовенства и приказал великим магистрам крестоносных орденов вернуться в Европу - и все это по приказу Филиппа. Но когда ему было приказано осудить Бонифация как еретика, он в ужасе отшатнулся. Действительно, отвергнуть Бонифация как самозванца и фальшивого папу означало бы вызвать

хаос. Его епископы и кардиналы были бы смещены, избрание самого Климента было бы признано недействительным; никто не мог предвидеть, чем закончится дезорганизация. Чтобы выиграть время, Климент умолял созвать всеобщий собор, на что король угрюмо согласился, но только при условии, что отлучения от церкви против его агентов, даже против Ногаре, будут сняты. Климент согласился, поскольку он был практически пленником в Пуатье, собор во Вьенне был согласован, и корона захватила тамплиеров без сопротивления со стороны Церкви.

Критика давным-давно развеяла тайну, которая когда-то окутывала этот кровавый процесс. Ни один историк сейчас не предполагает, что рыцари действительно были виновны в тех фантастических чудовищах, в которых их обвиняли и в которых они признались под пытками. Скептицизм, несомненно, был распространен среди них, как и среди кардиналов, но ничто не указывает на то, что худшие из них существенно отличались от населения, и превосходная стойкость, с которой они погибли, демонстрирует, что отсутствие религиозного энтузиазма не было преступлением, за которое они погибли.

Неизвестно, когда Филиппу пришла в голову идея сначала убить, а затем разграбить крестоносцев. Некоторые полагают, что это было в 1306 году, когда он, укрывшись в Темпле, внезапно поднял свои обесцененные деньги до уровня штандарта Людовика Святого, и толпа разрушила дом его владельца монетного двора. Вероятно, это произошло гораздо раньше и было лишь необходимым результатом обострения экономической конкуренции, начавшегося с ускоренного движения, сопровождавшего крестовые походы.

После избрания Климента прошло несколько лет, прежде чем план созрел. Ничего нельзя было предпринять, пока одного или обоих гротмейстеров не заманили во Францию с их сокровищами. Под предлогом подготовки к новому крестовому походу это, наконец, было выполнено, и в 1306 году Жак де Моле, благородный бургундский дворянин, ничего не подозревая, отправился в Париж, взяв с собой своих главных офицеров и сто пятьдесят тысяч флоринов золотом, не считая серебра, которого “хватило бы, чтобы нагрузить десять мулов”.

Филипп сначала занял все деньги, которые мог одолжить де Моле, а затем одним внезапным ударом арестовал за одну ночь всех тамплиеров во Франции. 13 октября 1307 года захват был произведен, и организация Филиппа была настолько совершенной, а его агенты настолько надежными, что план был выполнен с точностью.

Целью правительства был грабеж, но прежде чем имущество ордена могло быть конфисковано, необходимо было юридическое осуждение за какое-либо преступление, которое повлекло бы за собой конфискацию. Ересь была единственным обвинением, соответствующим поставленной цели; соответственно, Филипп решил уличить рыцарей в ереси, и лучшим доказательством было признание. Чтобы добиться признания, инквизиция должна была быть приведена в действие папой римским, и таким образом получилось, что для того, чтобы передать мирянам собственность духовенства, воины Христа были замучены до смерти его собственным викарием.

Напрасно, в разгар работы Климент, мучимый угрызениями совести, отменил поручения инквизиторов. Филипп насмеялся, когда кардиналы передали послание, говоря, “что Бог ненавидит тепловатых”, и пытка продолжалась, как и прежде. Добыв то, что ему было нужно, он отправился в Пуатье; Климент бежал, но был арестован и возвращен пленником. Затем его решимость поколебалась, и он бросил рыцарей на произвол судьбы, оставив для себя только

великого магистра и нескольких высокопоставленных чиновников. Тем не менее, хотя он и оставил отдельных людей, он не испугался осуждения ордена в его корпоративном качестве, и окончательный процесс был передан на рассмотрение приближающегося совета. Тем временем комиссия под председательством архиепископа Нарбоннского приступила к судебному разбирательству над рыцарями.

В течение трех лет эти несчастные томились в своих застенках, и воображение отшатывается от картины их мучений. В конце концов Филипп почувствовал, что необходимо положить конец этому, и в марте 1310 года 546 выживших были вызваны из тюрем и вынуждены были выбрать делегатов, поскольку их раздражение было настолько велико, что правительство побоялось позволить им предстать перед судом всем скопом.

Эта предосторожность мало помогла, ибо рыцари, руководившие общей обороной, показали себя такими же гордыми и отважными в этот последний момент человеческих страданий, какими они были когда-либо в день битвы. Они отрицали выдвинутые против них обвинения, они дразнили своих судей ложью, рассказанной им, чтобы заставить их признаться, и они показали, что им были обещаны жизнь и свобода под королевской печатью, если они признают обвинения правительства. Затем они рассказали историю о тех, кто был непоколебим до конца.

“Удивительно не то, что некоторые лжесвидетельствовали, а то, что кто-то говорил правду, учитывая печали и страдания, угрозы и оскорбления, которые они ежедневно терпят.... Что удивительно, так это то, что вера должна быть дана тем, кто дал неправдивые показания, чтобы спасти свои тела, а не тем, кто умер в своих мучениях в таком количестве, подобно мученикам Христовым, в защиту истины, или кто исключительно по совести страдал и до сих пор ежедневно страдает в своих тюрьмах от стольких мук, испытаний, бедствий и невзгод по этой причине”.^[176]

Вызванные свидетели подтвердили свои показания. Бернарда Пелети при допросе спросили, подвергался ли он пыткам. Он ответил, что в течение трех месяцев, предшествовавших его исповеди епископу Парижа, он лежал с руками, так туго связанными за спиной, что из-под ногтей на пальцах выступила кровь. Его затем бросили в яму. Затем у него вырвалось: “Если меня будут пытать, я буду отрицать все, что сказал сейчас, и скажу все, что они от меня хотят услышать. Если времени будет мало, я могу вынести обезглавливание или смерть в кипящей воде или на огне за честь ордена; но я больше не могу выносить мучений, которые более двух лет я терпел в тюрьме”.^[177]

“Меня пытали три раза”, - сказал Гумберт де Подио. “Я был заключен на тридцать шесть недель в башню, на хлеб и воду, как настоящий спортсмен”.^[178] Бернар де Вадо показал две кости, которые выпали из его пяток после того, как он поджарил ступни.^[179]

Такие показания были проигнорированы, поскольку осуждение было необходимо в качестве предварительного условия для конфискации. Разрушение Храма было первым шагом в том длительном разграблении Церкви, которое продолжается по сей день и которое было мучительным для жертв пропорционально их силе сопротивления. Четырнадцатый век все еще был веком веры, и монахи умирали тяжелой смертью. Филипп уловил ситуацию с гениальной интуицией и снабдил себя инструментом, подходящим для стоящей перед ним задачи. Он заставил Климента возвысить Филиппа де Мариньи до Сансского престола, а Мариньи был человеком, который ни перед чем не отступал.

Став архиепископом, он созвал провинциальный собор в Париже и осудил рыцарей, отказавшихся от своих исповедей, как отпавших еретиков. Пятьдесят девять из этих рыцарей принадлежали к его епархии. Он приказал отвести их в огороженное место в поле недалеко от аббатства Сент-Антуан и там предложил им помилование, если они отрекутся. Затем их приковали цепями к кольям и медленно сожгли дотла от ступней вверх. Ни один не дрогнул, но среди криков боли, будучи наполовину съеденными, они заявили о своей невиновности и умерли, умоляя о милосердии Христа и Пресвятой Девы.[180]

Столь превосходная преданность могла бы воспламенить воображение даже такого малодушного человека, как Климент, но Филипп был готов к чрезвычайным ситуациям. Он приказал допросить десятки свидетелей, чтобы доказать, что Бонифаций был убийцей, колдуном, развратником и еретиком. Внезапно он предложил прекратить судебное преследование и вернуть храмовые земли Церкви, если орден может быть отменен и процесс завершен. Климент уступил. В октябре 1311 года совет собрался во Вьенне. Зима прошла в запугивании и подкупе; второе собрание состоялось только в апреле следующего года, а затем был опубликован указ о подавлении. Этим указом корпорация была распущена, но некоторые высшие офицеры все еще были живы, и в недобрый момент Климент вспомнил об их судьбе. В декабре 1313 года он назначил комиссию для суда над ними. Их привели к высокому помосту у портала Парижского собора, и там заставили повторить признания, которые были вырваны у них в темницах. Затем их приговорили к пожизненному заключению. Но в этот решающий момент, когда казалось, что все кончено, де Моле, великий магистр и магистр Нормандии, бросился в яростную защиту. Члены комиссии в панике закрыли заседание, но Филипп, жаждущий крови, набросился на свою жертву.

Он отдавал приказы своим собственным офицерам, не посоветовавшись ни с одним прелатом. 18 марта 1314 года, с наступлением ночи, двух крестоносцев забрали у провоста, который исполнял обязанности их тюремщика, и доставили на маленький остров в Сене, на котором сейчас стоит статуя Генриха Наваррского. Там их сожгли вместе, без суда и без приговора. Они наблюдали за сооружением погребального костра с “такими твердыми и решительными сердцами, и с таким постоянством упорствовали в своих отрицаниях до конца, и переносили смерть с таким хладнокровием, что оставили свидетелей своей казни в восхищении и оцепенении”.[181]

Древняя легенда повествует о том, как де Моле, стоя на пылающих поленьях, призвал Климента предстать перед Божьим судом через сорок дней, а Филиппа - через год. Ни один из них не пережил этого промежутка. Филипп обещал вернуть имущество Храма Церкви, но добыча, ради которой было совершено это грандиозное деяние, не была покорно передана побежденным после их поражения. Золото, серебро и все, что можно было украсть, исчезло. В конце концов земля была передана Больнице, но настолько заброшена, что в течение столетия с этого места, бывшего одним из лучших монастырских поместий в Европе, не поступало никаких доходов.[182]

Таково было начало той социальной революции, которая, достигнув своего апогея, получила название Реформации.

ГЛАВА VII

АНГЛИЙСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

Многие авторы указывали на связь между торговлей и скептицизмом в средние века, и, среди прочих, у Торольда Роджерса в его *Истории сельского хозяйства и цен есть отрывок*, настолько интересный, что его следует прочитать полностью:—

“Всеобщее распространение лоллардизма, на которое жалуются все теологи того времени, было одновременно причиной и следствием прогрессирующего богатства. Не случайно, что все самые богатые части Европы, за исключением только одного округа, и то по вполне достаточным причинам, подозревались в средние века в богословском несоответствии. До кампаний Симона де Монфора, в первой половине XIII века, Прованс был садом и мастерской Европы. Самыми стойкими сторонниками Реформации были бюргеры Нидерландов.... В Англии сила партии Лолларда была, со времен Виклифа додней Кранмера, в Норфолке [главном промышленном округе]; и я в этом не сомневаюсь ... присутствие студентов из этого района, должно быть, сказалось на богословском уклоне Кембриджского университета, который заметно проявился в эпоху Реформации....

“Английское Лоллардство, как и его прямой потомок пуританизм, было кислым и самоуверенным, но в то же время нравственным и бережливым. Те, кто осуждал ленивую и роскошную жизнь монахов, мирскую жизнь и жадность прелатов, а также грубые и мелочные уловки популярной религии, были совершенно уверены, что прививали бережливость и экономию. Добровольно и решительно порвав с условиями старой веры, они были уверены, что, подобно квакерам более чем двумя столетиями позже, станут сравнительно богатыми. У них не было ничего, что можно было бы пожалеть для монаха или священника...”[183]

Лолларды принадлежали к современному экономическому типу и отказались от чуда, потому что чудо было дорогостоящим и приносило неопределенную отдачу. И все же средневековый культ был основан на чуде, и многие выплаты, причитающиеся за сверхъестественные услуги духовенства, были обязательными; кроме того, подарки в качестве искупления грехов истощали сбережения, и экономисты инстинктивно искали более дешевые методы умилоствления.

В такую ненаучную эпоху, как шестнадцатый век, убежденность в неизменности законов природы была недостаточно сильна, чтобы допустить отмену религиозных формул. Таким образом, состоятельный класс продвигался шаг за шагом, и его первым экспериментом было отменить все выплаты посредникам, будь то священники или святые, став их собственными ходатаями перед Божеством.

Как заметил доктор Уизерспун, “страх перед гневом мстителя за кровь” заставлял людей “бежать в город-убежище”;^[184] но, поскольку торговец заменил энтузиаста, была выработана догма, согласно которой душевные страдания, которые ничего не стоили, были заменены подношением, которое было эффективным пропорционально его денежной стоимости. Этим догматом было “Оправдание верой”, краеугольный камень протестантизма.

“Оправдание верой” отнюдь не требовало от избранных затрат. Акт заключался в “глубоком унижении разума, признании вины и ничтожестве”... и принятие прощения и мира через Христа

Иисуса, в обретении которых они не способствовали и не могут способствовать продолжению по своим собственным заслугам”.[185]

Однако замена денежной выплаты психическим заболеванием привела к последствиям более далеко идущим, чем лишение некоторых доходов духовенства, поскольку она повлекла за собой отказ от священной традиции, которая не только поддерживала поклонение реликвиям, но и сделала Церковь каналом связи между христианами и невидимым миром.

Однажды закрыв этот древний канал, протестантам пришлось открыть другой, и это привело к обожествлению Библии, которая, как предполагалось, до Реформации черпала свой авторитет в том божественном озарении, которое позволило священству безошибочно провозгласить канон священных книг. Кальвин увидел слабое место в позиции реформаторов и смело посмотрел им в лицо. Он утверждал, что Священное Писание является “самоутверждающимся, несущим в себе свои собственные доказательства, и его не следует делать предметом демонстрации и доводов разума”, и что оно должно пользоваться “таким же полным доверием и авторитетом у верующих ... как будто они услышали те самые слова, произнесенные самим Богом”.[186]

Таким образом, бесчисленные дорогостоящие фетиши эпохи воображения были заменены определенными трудами, с которыми можно было ознакомиться бесплатно. Целесообразным, очевидно, было устройство торгового сообщества, и спасение для тех, кто его принял, было огромным, но оно разрушило христианский мир и сделало невозможным организованное священство. Когда каждый человек мог приобщаться к священным тайнам по своему усмотрению, авторитет духовенства был уничтожен.

Люди священнического типа среди реформаторов видели опасность и пытались спастись. Тезис, которого придерживались ранние евангельские богословы, заключался в единстве истины. Священные Писания были истинны: следовательно, если бы все христиане искали правильно, они не могли бы не почерпнуть из них истину, и эта истина должна была бы стать кредо Вселенской Церкви. Цвингли так объяснил это учение:

“Всякий, кто слышит, как в церкви читают вслух Священное Писание, судит о том, что слышит. Тем не менее, услышанное само по себе не является Словом, посредством которого мы верим. Ибо, если бы мы уверовали через простое слушание или чтение Слова, все были бы верующими. Напротив, мы видим, что многие слышат и видят, но не верят. Отсюда ясно, что мы верим только через слово, которое Небесный Отец произносит в наших сердцах, которым он просвещает нас, чтобы мы видели, и привлекает нас, чтобы мы следовали.... Ибо Бог - это Бог не раздоров, но единства и мира. Там, где есть истинная вера, там присутствует Святой Дух; но там, где есть Святой Дух, там, безусловно, прилагаются усилия к единству и миру.... Следовательно, в Церкви нет опасности замешательства, поскольку, если собрание собрано через Бога, он находится посреди них, и все, кто имеет веру, стремятся к единству и миру”.[187]

Вывод, который стремилось сделать духовенство, состоял в том, что, хотя все могли читать Библию, только просвещенные могли интерпретировать ее, и что только они были просветленными. Следовательно, притязания Кальвина были равны притязаниям Хильдебранда: —

“Такова степень власти, которой должны быть наделены пастыри Церкви, какими бы именами они ни отличались; чтобы словом Божиим они могли отваживаться делать все с уверенностью;

могли заставить всю силу, славу, мудрость и гордость мира повиноваться и покоряться его величеству; поддерживаемые его властью, могли управлять всем человечеством, от высших до низших; могли созидать дом Христа и ниспровергать дом сатаны; могли пасти овец и отгонять волков; могли наставлять и увещевать послушных; может обличать, порицать и обуздывать непокорных и упрямых; может связывать и освобождать; может пускать в ход свои молнии и громы, если необходимо; но все в Слове Божьем”.[\[188\]](#)

В некоторых регионах, бедных и удаленных от торговых центров, эти претензии уважались. В Женеве, Шотландии и Новой Англии такие люди, как Кэлвин, Нокс и Коттон, сохраняли себя до тех пор, пока экономическая конкуренция не сделала свое дело: затем они ушли из жизни. Нигде вера не противостояла подъему торгового класса. В целом Реформация была в высшей степени экономическим явлением, и ее лучше всего изучать в Англии, которая после Реформации превратилась в центр мировых обменов.

С самого начала современной истории коммерция и скептицизм шли рука об руку. Восточная торговля начала возрождаться после повторного открытия долины Дуная, около 1000 года, и, возможно, в тот самый год родился Беренгер, первый великий еретик современности. К 1050 году он был осужден и вынужден отречься, но с ростом ярмарок Шампани его ересь росла, и в 1215 году, как раз на пике общественного развития, Церковь сочла необходимым определить догмат пресуществления и объявить его догматом веры. Поколение спустя последовали сожжения раскольников; в 1252 году своей буллой “Ad extirpanda” Иннокентий IV. была организована инквизиция, и в следующем году умер Гроссетет, епископ Линкольнский, с которым, можно сказать, началось организованное противодействие англичан древнему дорогостоящему ритуалу.

В Великобритании агитация за реформы, по-видимому, с самого начала носила практический характер. Не было никакого нетерпения к догмам просто потому, что они были непонятны: Троица и Двойное Шествие всегда принимались. Формулам веры сопротивлялись, потому что они требовали уплаты денег, и в первую очередь среди них были мессы и епитимьи. Другой проблемой было папское покровительство, и уже в четырнадцатом веке парламент принял статуты о провизорах и премунире, чтобы предотвратить вывод денег из королевства.

Восстание Лоллардов было организованным движением сопротивления церковным поборам и конфискации церковной собственности; и, если считать 1345 год началом активной жизни Уиклиффа, агитация за захват монастырских поместий началась всего через поколение после нападения Филиппа на Храм во Франции. Существовала, по крайней мере, такая разница в промышленном состоянии двух стран, а возможно, и гораздо большая.

Уиклифф был скорее политиком, чем теологом, и его проповедь была обличительной речью против расточительности Церкви. В одной из своих проповедей в День святых он объяснил бесполезность поклонения реликвиям так же пронизательно, как современный деловой человек:

“Было бы на благо Церкви и в честь святых, если бы дорогие украшения, столь безрассудно расточаемые на их могилы, были разделены между бедными. Однако я хорошо осознаю, что человек, который резко и полно разоблачит это заблуждение, будет сочтен явным еретиком почитателями образов и жадными людьми, наживающимися на таких могилах; ибо в

поклонении евхаристии и таком поклонении мертвым телам и образам Церковь соблазняется прелюбодейным покланием”.[189]

Миряне платили священнические взносы из-за своих сверхъестественных способностей, и обладание этими способностями было главным образом продемонстрировано чудом мессы. Уиклифф, обладая взглядом лидера, видел, где враг уязвим, и последние годы своей жизни провел в ожесточенной полемике с нищенствующими о пресуществлении. Даже в тот ранний день он представил проблему с несравненной ясностью: “И тогда ты, земной человек, по какой причине ты можешь говорить, что ты создаешь своего творца?”[190]

Вывод из таких предпосылок был неумолим. Мессу пришлось осудить как поклонение фетишу, а вместе с ней и поклонение реликвиям.

“Действительно, многие номинальные христиане хуже язычников; ибо не так уж плохо, что человек до конца дня почитает как Бога первое, что он видит утром, как и то, что регулярно этот несчастный случай должен быть действительно его Богом, которого он видит во время мессы в руках священника в освященной облатке”.[191]

Уиклифф умер 30 декабря 1384 года, и десять лет спустя Лолларды твердо решили не платить за магию. Они представили свою платформу парламенту в 1395 году, изложенную в их *Книге выводов*. Некоторые из этих “выводов” чрезвычайно интересны:—

5. “Что экзорцизмы и хеллоуины, освящения и благословения над вином, хлебом, воском, водой, маслом, солью, благовониями, над алтарным камнем и вокруг церковных стен, над облачением, чашей, митрой, крестом и посохами паломников — это сами практики некромантии, а не священного богословия.

.....

7—е. - “Мы убедительно утверждаем... что духовные молитвы совершаются в церкви за души умерших... это ложное основание для раздачи милостыни, вследствие чего все дома подаяния в Англии основаны ложно.

8—е. - “Что паломничества, молитвы и приношения, совершаемые к слепым крестам или распятиям, или к глухим изображениям, сделанным из дерева или камня, очень близки к идолопоклонству”.[192]

Когда в 1413 году лорда Кобхэма, главу партии Лоллардов, судили за ересь, архиепископ Арундел задал ему четыре проверочных вопроса. Во-первых, верил ли он, что после произнесения сакраментальных слов в причастии остались какие-либо материальные хлеб или вино; в-четвертых, считал ли он почитание реликвий достойным.

Его ответы не удовлетворили, и они зажарили его в цепях на полях Святого Джайлса в 1418 году.

После смерти Кобхэма прошло сто лет высокой коммерческой активности. Открытие Америки и морского пути в Индию изменило каналы торговли по всему миру, передвижение людей ускорилося, порох сделал атаку сокрушительной; централизация достигла невероятных

успехов, скептицизм шел в ногу с централизацией, и в 1510 году Эразм написал так, оставаясь при этом в православном сообществе:

“Более того, не испытывайте ли вы того же чувства [безумия], когда каждая страна назначает несколько святых для своего покровителя, далее назначая каждой святой особое лечение и служение, а также различные способы поклонения; как эта святая помогает от зубной боли, которая возникает при рождении ребенка; она восстанавливает украденные товары; другая помогает корабельщикам во время штормов; другая берет на себя заботу о фермере хоггсе; и то же самое и с остальным; это было слишком долго, чтобы перечитать все заново. Затем есть некоторые святые, на которых обычно подают в суд за многие преступления; среди которых главным образом девственная Богородица, которой вульгарные люди особенно доверяют, да, едва ли не больше, чем ее Сыну”.^[193]

Когда Эразм писал, Реформация была уже близко, но атака на церковную собственность началась в Англии целых два столетия назад, одновременно с нападением Филиппа на Храм. Во всей Европе четырнадцатый век был периодом финансового кризиса; во Франции коммуны обанкротились, а чеканка монет пришла в упадок, а в Англии обесценивание валюты началось в 1299 году и шло в ногу с возвышением Лоллардии. В 1299 году серебряный пенни весил $22 \frac{1}{2}$ грана; Эдуард I. уменьшил его до $22 \frac{1}{4}$ грана; Эдуард III. до 18 зерен; Генрих IV. до 15 зерен; и Генрих VI., во время его реставрации в 1470 году, до 12 зерен.

По мере усиления строгости нападки на духовенство становились все более ожесточенными. Эдуард I не только обложил налогами духовенство, но и конфисковал доходы иностранных монастырей; из них в пределах королевства могло быть сто пятьдесят, и то, что он брал у них, он тратил на свою армию.

Эдуард II. и Эдуард III. последовали прецеденту, и во время последнего правления, когда с пенни упало четыре зернышка, эти доходы были конфискованы не менее чем на двадцать три года. При Генрихе IV. пенни потерял три грана, и то, что оставалось от доходов этих домов, постоянно использовалось для покрытия расходов двора. Генрих V распустил их и передал их владения короне.

В правление Генриха IV, когда пенни был на грани потери трех гран серебра, тон парламента был похож на тон парламентов Реформации. Однажды король попросил субсидию, и Спикер предположил, что, не обременяя мирян, он мог бы “обеспечить свои возможности, конфисковав доходы духовенства”;^[194] и в 1410 году лорд Кобхэм предвосхитил парламент 1536 года, представив законопроект о конфискации монастырских доходов в размере 322 000 марок, сумма, которая, по его утверждению, представляла собой доход определенных корпораций, названия которых он внес в таблицу.^[195]

Год за годом, по мере консолидации общества, распространялся экономический тип; и по мере того, как давление падающей валюты побуждало этих людей к действию, спрос на дешевую религию становился все яростнее. В Лондоне, денежном центре, становилось все жарче и жарче, и единственный отрывок из *“Мольбы о попрошайках”* показывает, насколько ожесточенными становились обвинения в адрес системы оплаты чудес:

“Какие деньги вытягивают они из завещаний, принося десятину, принося пожертвования мужчинам во время паломничества и на первых мессах? Каждый человек и ребенок, которого хоронят, должны заплатить определенную сумму за то, чтобы в его честь были спеты мессы и

дирижабли, иначе они обвинят дедов-друзей и исполнителей в ереси. какие деньги получают они, посещая морги, выслушивая исповеди ... ополовинивая церкви, алтари, суперальтаресы, часовни и колокола, проклиная людей и отпуская грехи за деньги?"[196]

В одной из баллад времен Кромвеля таким образом высмеиваются все главные паломничества королевства:

“Отдавая дань хитеру и тайтеру,
Мы не можем сказать, куда,
В обильных свечах и пенсах
За камни и колодки,
И старые прогнившие блоки,
Которые пришли неизвестно откуда.

“За Уолсингхэма - гэддинга,
За Кенторбери-мэддинга,
Как за людей, обезумевших от минде;
На нас мало одежды,
Но восковой образ,
Для хромых и блайндов.

“И все же предлагайте то, что хотите,
Будь то отес, силуэр или голде
Пин, пойнт, брош или риндж,
Церковь была тогда
такими милосердными людьми,
Что они ни в чем не отказывали”.[197]

Но война велась не только на словах. Сравнительно рано, в 1393 году, Лондон стал настолько неуправляемым, что Ричард сам принял управление городом. Сначала он назначил сэра Эдварда Дарлингтона надзирателем, но сэр Эдвард оказался слишком снисходительным, и он заменил его сэром Болдуином Радингтоном. Фокс, предельно откровенно, объяснил почему: —

Ибо лондонцы в то время были общеизвестно известны как сторонники стороны Уиклиффа, как частично видно из предыдущего, и в “Истории Сент-Олбана” это проявляется более отчетливо, где автор упомянутой истории, пишущий на пятнадцатом году правления короля Ричарда, передает словами лондонцев, что они "не были истинно верующими ни в Бога, ни в традиции своих предков; поддерживали Лоллардов, развращали религиозных людей, удерживали десятину и обедняли своих предков". простые люди".

“... Король, немало разгневанный жалобой епископов, задумал восстание против мэра и шерифов, а также против всего лондонского сити; настолько сильное, что были вызваны мэр и оба шерифа и отстранены от должности”.[198]

К началу шестнадцатого века священник едва ли мог собирать свои взносы, не подвергаясь опасности; епископ Лондонский действительно прямо заявил правительству, что суды не могут вершить правосудие.

В 1514 году умер младенец портного-торговца по имени Хун, и приходской священник подал в суд на отца из-за выписки из родильного дома, которую тот выдал за похоронную. Хун оспорил это дело и добился судебного приказа против священника, который так встревожил духовенство, что канцлер епархии обвинил его в ереси и заключил в башню Лолларда собора Святого Павла.

В свое время против подсудимого были предъявлены обычные обвинения в том, что он оспаривал законность десятины и утверждал, что она была назначена “только алчностью священников”; а также в том, что у него были несколько “отвратительных произведений Уиклифа” и многое другое в том же духе.

На основании этих статей Фицджереймс, епископ Лондонский, обследовал Хана 2 декабря и после обследования вернул его в прежнее состояние. Утром 4-го мальчик, посланный с завтраком, нашел его подвешенным к балке в своей камере. Духовенство заявило о самоубийстве, но население закричало об убийстве, и присяжные коронера вынесли вердикт против доктора Хорси, канцлера. Затем ситуация стала серьезной, и Фицджереймс написал Вулси замечательное письмо, в котором сквозила не только высокая страсть, но и серьезная тревога:

“В самом смиренном виде я умоляю вас, чтобы я мог снискать милость короля ... ибо я уверен, что если моего канцлера будут судить какие-нибудь двенадцать человек в Лондоне, они будут так злонамеренно настроены ”в пользу христианских законов", что они отвергнут и осудят любого клерка, хотя бы он был так же невиновен, как Авель ".[\[199\]](#)

Имеются убедительные доказательства того, что с самого начала промышленность плодила еретиков, сельское хозяйство - верующих. Торольд Роджерс объяснил, что восток Англии, от Кента до Уоша и далее до Йоркшира, был самой богатой частью королевства,[\[200\]](#) а мистер Блант в своей книге *"Реформация Англиканской церкви"* опубликовал анализ мученичества при Марии. Он показал, что из 277 жертв 234 были выходцами из района к востоку от линии, проведенной от Бостона до Портсмута. К западу от этой линии в Оксфорде было больше всего пожаров; но к царствованию Марии мануфактуры распространились так далеко вглубь страны, что промышленность Оксфордшира уступала только промышленности Миддлсекса.[\[201\]](#) Во времена Уиклифа Норвич находился рядом с Лондоном, и Норвич был наводнен лоллардами, многие из которых были там казнены.

С другой стороны, всего две казни зарегистрированы в шести сельскохозяйственных округах к северу от Хамбера — округах, которые были самыми бедными и наиболее удаленными от торговых путей. Таким образом, восточные графства были рассадником пуританства. Там при Эдуарде VI вспыхнуло восстание Кетта; там Кромвель завербовал своих Железнобоких, и по всему этому региону, до начала Реформации, нападения на реликвии были наиболее частыми и жестокими. Одной из самых известных таких реликвий был крест из Доверкорта. Доверкорт является частью Харвича, на побережье Эссекса; Дедхэм находится в десяти милях вглубь страны, на границе с Саффолком; и описание сожжения изображения Доверкорта, данное Фоксом, является примером того, что происходило на юго—востоке незадолго до развода:

“В том же 1532 году от Рождества Христова существовал идол по имени Руд из Доверкорта, к которому стекалось много народа: ибо в то время среди невежественных людей распространился слух, что сила идола из Доверкорта была настолько велика, что ни у кого не было силы закрыть дверь церкви, где он стоял; и поэтому они позволяли дверям церкви, как днем, так и ночью, постоянно оставаться открытыми, чтобы больше доверять их слепым слухам. То, что когда-то это было задумано в головах вульгарного толка, многим людям казалось великим чудом; но и у многих других, кого Бог благословил своим духом, возникло сильное подозрение, особенно у тех, чьи имена здесь следуют: Роберта Кинга из Дедхэма, Роберта Дебнэма из Истбергхолта, Николаса Марша из Дедхэма и Роберта Гарднера из Дедхэма, чья совесть была болезненно отягощена тем, что честь и могущество всемогущего живого Бога были настолько поруганы таким идолом. А потому Дух Божий побудил их выехать из Дедхэма чудесной погожей ночью, при сильном морозе и ясном лунном свете, хотя предыдущая и последующая ночи были чрезвычайно мерзкими и дождливыми. Это было от городка Дедхэм до того места, где стоял грязный Крест, десять миль. Несмотря на это, они были настолько увлечены этим своим предприятием, что прошли эти десять миль без боли и обнаружили, что дверь церкви открыта, согласно слепым разговорам невежественных людей: ибо ни один неверующий не осмелился ее закрыть. Это было хорошо для их цели, потому что они нашли идола, который обладал такой же силой удерживать дверь закрытой, как и открытой; и в доказательство этого они забрали идола из его святилища и отнесли его на четверть мили от того места, где он стоял, без какого-либо сопротивления со стороны указанного идола. После чего они высекли огонь кремневым камнем и внезапно подожгли его, который так сильно разгорелся, что осветил им дорогу домой на добрых милях из десяти.

После того, как это было сделано, за границей пошли большие разговоры о том, что у них там должны быть большие богатства; но это было большой неправдой; ибо это не было их мыслью или предприятием, как они сами впоследствии признались, потому что у него ничего не забрали, кроме его пальто, башмаков и свечей. Свечи помогли ему обжечься, туфли у них снова были, и сюртук сэра Томаса Роуза действительно сгорел; но у них не было ни пенни, ни полпенни, ни золота, ни крупы, ни драгоценностей.

Несмотря на это, впоследствии троим из них были предъявлены обвинения в уголовном преступлении, и в течение полугода они были повешены в цепях или около того.

.....

“В том же году и годом ранее во многих местах было сброшено и уничтожено множество изображений: например, изображение распятия на шоссе Коггсхолла, изображение Святого Петроналя в церкви Грейт-Хорксли, изображение святого Кристофера в Садбери и другое изображение Святого Петроналя в часовне Ипсуича”.[\[202\]](#)

Экономическое превосходство Англии возникло недавно и стало результатом изменения места обмена, последовавшего за открытием Америки и морского пути в Индию; однако задолго до Колумба введение компаса изменило торговые пути между севером и югом Европы во время крестовых походов.

Необходимость путешествовать по суше привела к появлению ярмарок Шампани; они пришли в упадок, когда безопасное океанское судоходство удешевило морские перевозки. Затем Антверпен и Брюгге вытеснили Провен и города Центральной Франции и быстро превратились в

пункты сбыта восточных товаров для Германии, Прибалтики и Англии. В 1317 году венецианцы организовали прямое пакетбот-ное сообщение с Фландрией, и, наконец, открытия Васко-да-Гамы в конце пятнадцатого века полностью вытеснили Италию из сферы азиатской торговли.

Британская промышленность, похоже, с пониманием отнеслась к этим изменениям, поскольку ткачество впервые приобрело некоторое значение при Эдуарде I. Хотя английские ткани долгое время уступали континентальным. Следующее достижение произошло одновременно с открытием мыса Доброй Надежды. 8 июля 1497 года Васко-да-Гама отплыл в Каликут, а годом ранее Генрих VII. велись переговоры о “Магнус Интеркурсус”, по этому договору Купцам-авантюристам впервые удалось выгодно обосноваться в Антверпене. С тех пор Англия начала играть определенную роль в промышленном соревновании Европы, но даже тогда ее прогресс был мучительно медленным. Накопления капитала были небольшими и увеличивались, но умеренно, и целое столетие спустя, когда голландцы легко собрали 600 000 фунтов стерлингов для своей Ост-Индской компании, в Лондоне на английское предприятие было подписано всего 72 000 фунтов стерлингов.

На протяжении всего средневековья, в то время как биржи были сосредоточены в Северной Италии, Великобритания находилась на окраине мировой торговой системы, и даже в начале правления Генриха VIII. она не могла сравниться ни по богатству, ни по утонченности, ни по организации с таким королевством, как Франция.

Корона не была наградой сильнейшего в борьбе равных, она досталась солдату высшей расы, при котором никогда не росло великое дворянство. Ни один барон в Англии не переписывался с такими принцами, как герцоги Нормандии и Бургундии, графы Шампани и Тулузы. Укрепления были ничтожного масштаба; не существовало таких цитаделей, как Пьерфон или Витре, Кузи или Каркассон, а сам Лондонский Тауэр был незначителен по сравнению с замком Гайяр, который Кер-де-Лион построил на берегу Сены.

Население было скудным и увеличилось незначительно. При Генрихе VIII. вступив на престол в 1509 году, Лондон, возможно, насчитывал сорок или пятьдесят тысяч жителей, Йорк - одиннадцать тысяч, Бристоль - девять или десять тысяч, а Норвич - шесть тысяч.^[203] В Париже в то время, вероятно, проживало от трехсот до четырехсот тысяч, а в Милане и Генте по двести пятьдесят тысяч в каждом.

Но хотя в Средние века Англия не была богатым центром, и, возможно, именно по этой причине, она остро ощущала финансовое давление четырнадцатого и пятнадцатого веков. У нее было мало золота и серебра, и относительная стоимость золота и серебра возросла; у нее было мало мануфактур, и мануфактуры были сравнительно процветающими; ее богатство заключалось в ее сельскохозяйственных интересах, а сельскохозяйственные продукты по большей части были в большом дефиците.

Комментируя цены в период с конца тринадцатого по середину шестнадцатого века, мистер Роджерс заметил:

“Опять же, на несколько предметов первой важности наблюдается заметное снижение цены со средней в 1261-1400 годах до 1401-1540 годов. Это было бы более заметно, если бы я в своих предыдущих томах сравнил все цены с 1261 по 1350 год с ценами 1351-1400 годов. Но даже по

всему ареалу все виды зерна, кроме пшеницы и гороха, в тринадцатом и четырнадцатом веках были дороже, чем в первые сто сорок лет нынешнего периода [1401-1582]; и если бы я взял среднюю цену пшеницы за последние пятьдесят лет четырнадцатого века, она была бы (6с. 1 $\frac{1}{2}$ д.) дороже, чем в среднем за 1401-1540 гг. (5с. 11 $\frac{3}{4}$ д.), усугубленный дороговизной последних тринадцати лет”.[204]

Таблицы, опубликованные мистером Роджерсом, позволяют составить некоторое представление о напряжении, которому подвергалось население Великобритании в течение двухсот пятидесяти лет, прошедших между кризисом в конце XIII века и открытием рудников Потоси в 1545 году, которые наводнили мир серебром. В течение этого длительного периода расширяющаяся торговля непрерывно увеличивала спрос на валюту, в то время как запасы драгоценных металлов не пополнялись должным образом; следствием этого было то, что их относительная стоимость росла, в то время как стоимость товаров снижалась, и этот процесс имел тенденцию к обесцениванию чеканки.

Последняя половина средневековья была временем быстрой централизации, когда расходы на управление росли из года в год, но по мере увеличения потребностей правительства способность людей платить налоги уменьшалась, потому что продукты, которые они продавали, приносили меньше стандартной монеты. Чтобы покрыть дефицит, тот же вес металла пришлось разрезать на большее количество кусков, и таким образом, благодаря продолжающейся инфляции валюты всеобщее банкротство было предотвращено. Различные стадии прессования довольно четко обозначены в записях Монетного двора.

Очевидно, ужесточение, начавшееся во Франции примерно в конце правления Людовика Святого или несколько позже, затронуло Англию не сразу, поскольку цены, по-видимому, не достигли своего максимума до 1290 года, а Эдуард I снизил стоимость пенни только в 1299 году с 22,5 гран серебра до 22,25 грана. С тех пор спад, хотя и скачкообразный, в целом имел тенденцию усиливаться от поколения к поколению. Длительные войны во Франции и "Черная смерть" оказали глубокое влияние на внутреннюю экономику королевства при Эдуарде III.; и особенно "Черная смерть", по-видимому, имела необычный результат - повышение цен во время коммерческого краха. Этот рост, вероятно, был вызван нехваткой рабочей силы, поскольку, как говорят, половина населения Европы погибла, и, во всяком случае, урожай часто не удавалось собрать из-за нехватки рабочих рук. Прошло более поколения, прежде чем вернулись нормальные условия.

Непосредственно перед войной с Францией пенни потерял два грана, а между 1346 и 1351 годами, во время Черной смерти, он потерял еще два грана с четвертью, обесценившись на четыре с половиной грана за пятьдесят лет; затем в течение полувека сохранялось равновесие. При Генрихе IV. произошел резкий спад цен на три грана, равный инфляции в семнадцать процентов, и к 1470 году, при Генрихе VI., пенни упал до двенадцати гранов. Затем последовал период стабильности, который продолжался незадолго до Реформации, когда начался беспрецедентный по тяжести кризис, кризис, который, вероятно, стал непосредственной причиной конфискации монастырского имущества.

В 1526 году пенни внезапно потерял в весе полтора грана, или около двенадцати с половиной процентов, а затем, когда дальнейшее снижение веса сделало бы монету слишком хрупкой, правительство прибегло к фальсификации. В 1542 году был отчеканен десятицентовик, состоящий из одной пятой части сплава; в 1544 году сплав вырос до половины, а в 1545 году две

трети монеты составляли неблагородный металл - обесценивание составило более семидесяти процентов за двадцать лет.

Между тем, хотя цены и колебались, тенденция была нисходящей, причем нисходящей настолько сильно, что ей не удалось полностью нейтрализовать уменьшение количества слитков в деньгах. Роджерс считал, что рейковые гвозди, возможно, лучший показатель цен, и, комментируя годы, предшествовавшие Реформации, он заметил: -

“С 1461 по 1540 год среднее значение [гвоздей для рейки] очень немного выше, чем было с 1261 по 1350 год, что заново иллюстрирует то значительное снижение цен, которое характеризует экономическую историю Англии в течение восьмидесяти лет 1461-1540”.[\[205\]](#)

Хотя пшеница подорожала больше, чем другие зерновые, и поэтому является неблагоприятным эталоном для сравнения, пшеница дает практически такой же результат. В течение последних сорока лет тринадцатого века средняя цена квартала составляла 5s. 10 ³/₄д., а за последнее десятилетие - 6s. 1д. За первые сорок лет шестнадцатого века средняя цена составляла 6s. 10д. Пенни 1526 года, однако, содержал лишь около сорока семи процентов слитков пенни 1299 года. “Самый примечательный факт в связи с выпуском Генрихом VIII обычных денег. это исключительная идентичность средней цены на зерно, особенно пшеницу, за первые 140 лет моего нынешнего периода с последними 140 из моих первых двух томов”.[\[206\]](#)

После полного изучения своих таблиц Роджерс пришел к выводу, что великий подъем, обеспечивший процветание правления Елизаветы, начался не ранее “года между 1545 и 1549 годами”.[\[207\]](#) Это точно соответствует открытию Потоси в 1545 году, и что рост произошел благодаря новому серебру, а не из-за обесценивания монет, о чем, по-видимому, свидетельствует тот факт, что при Елизавете валюта не упала, а, напротив, движение вверх продолжалось вплоть до следующего столетия.

Из этих цифр можно составить некоторое представление о сокращении, которое преобладало в годы Реформации. В 1544 году, ближе к концу правления Генриха, пенни содержал пять гран чистого серебра по сравнению примерно с 20,8 гранами в 1299 году, и все же его покупательная способность не сильно изменилась. Следовательно, в 1544 году относительная стоимость слитков должна была примерно в четыре раза превышать ту, которую они имели двумястами пятьюдесятью годами ранее, и, если брать за мерилу крайне обесцененные выпуски 1545 года и более поздних, их стоимость была намного выше.

Если бы Потоси был открыт поколением раньше, весь ход развития Англии мог бы измениться, поскольку не исключено, что без помощи падающих цен растущему капиталистическому классу не хватило бы власти конфисковать монастырские поместья. Как бы то ни было, давление продолжалось до тех пор, пока не произошла катастрофа, поклонение реликвиям было уничтожено, собственность нации была перераспределена, и был дан толчок крупному фермерству, что привело к быстрому выселению йоменов. Когда йомены были изгнаны со своей земли, они скитались по миру, колонизируя и завоевая от Миссисипи до Ганга; в течение двухсот пятидесяти лет они создали централизацию, большую, чем Римская, и более абсолютную, чем Константинопольская.

Столь масштабные изменения в формах конкуренции неизбежно изменили облик общества. Люди, которые процветали в эпоху децентрализации и воображения, ушли из жизни, и их

сменила новая аристократия. Солдат и священник были побеждены, и, начиная с Реформации, миром владел богач.

Томас Кромвель, граф Эссекс, был идеалом этого типа, и, соответственно, он был англичанином, достигшим наивысшего положения во время потрясений Реформации. Он был совершенным коммерческим авантюристом, и Шапюи, посол Карла V в Лондоне, так описал его происхождение своему хозяину:

Кромвель - сын бедного кузнеца, который жил в маленькой деревушке в полутора лигах отсюда и похоронен на приходском кладбище. Его дядя, отец двоюродного брата, которого он уже сделал богатым, был поваром покойного архиепископа Кентерберийского. Кромвель в молодости плохо себя вел и после тюремного заключения был вынужден покинуть страну. Он побывал во Фландрии, Риме и других местах Италии. Вернувшись, он женился на дочери стригальщика и служил в его доме; затем он стал поверенным”.[208]

Неприятности, которые вынудили его уехать за границу, по-видимому, были связаны с его отцом, и он, вероятно, отправился в свои путешествия около 1504 года. Он вел беспутный образ жизни бродяги, служил наемником в Италии, “был необузданным и молодым ... как он сам часто заявлял Кранмеру, архиепископу Кентерберийскому, показывая, каким негодяем он был в молодости... кроме того, каким великим деятелем он был вместе с Джеффри Чемберсом, публикуя и распространяя помилования Бостона повсюду в церквях, куда он ходил ”.[209]

Эти “помилования” были индульгенциями, которые ему удалось получить от папы римского для города Бостон, которыми он торговал по дороге по стране. Он служил клерком в конторе купцов-авантюристов в Антверпене, а также, по-видимому, занимал какую-то подобную должность у венецианского купца. Вернувшись в Англию в 1513 году, он женился и открыл валяльную фабрику; он также стал адвокатом и ростовщиком, жившим в Фенчерче, в Лондоне.

В 1523 году, будучи избранным в парламент, Кромвель был самым преуспевающим человеком. В это время он поступил на службу к Вулси и использовал себя для подавления монастырей, чтобы снабжать пожертвованиями кардинальские колледжи в Оксфорде и Ипсвиче. Когда Вулси пал, он втерся в доверие к Генри и с тех пор быстро возвысился. Он стал канцлером казначейства, распорядителем списков, государственным секретарем, генеральным викарием, кавалером ордена Подвязки и графом Эссексом. Будучи одновременно главой Церкви и государства, вероятно, ни один английский подданный никогда не был таким могущественным.

И он, и Кранмер преуспели благодаря гибкости и ловкости. Он предложил Генри достичь своих целей, ограбив монастыри, и мистер Брюер, большой авторитет, с самого начала счел его отъявленным продажником.

Его исполнительные и деловые способности не имели себе равных. У него было чутье на деньги, и если он их зарабатывал, то не стеснялся в средствах. В *государственных газетах* есть забавный отчет о том, как с ним обращались, когда он был на вершине величия:

“А что касается милорда Превье Силла, я не хотел бы быть при нем, несмотря ни на что, что у него когда-либо было, потому что король встречает его дважды в неделю, и кто-нибудь хорошенько стукнет его по голове; и все же, когда он хорошенько помылся в хедде и встряхнулся, как собачонка, он выйдет в большую комнату, потряхивая кушаком с таким мрачным выражением лица, как будто он собирается править всем залом”.[210]

Несмотря на добродушие там, где не затрагивались его интересы, он, похоже, был черств к виду боли и не только присутствовал при истязании важных свидетелей, но и присутствовал при исполнении служебных обязанностей, чтобы увидеть, как отца Фореста поджаривают в цепях за отрицание королевского превосходства, которое он так старался установить. Его поведение по отношению к Ламберту, которого он отправил на костер за то, что тот исповедовал свои собственные принципы, поразило даже тех, кто хорошо его знал. Неясно, как он стал протестантом; подумал Фокс, прочитав перевод Нового Завета Эразма. Скорее всего, он был настроен скептически, потому что принадлежал к экономическому типу. Во всяком случае, он ненавидел Рим, и Фокс сказал, что в 1538 году он был “главным другом евангелистов”.

В том же году Ламберта судили за ересь относительно пресуществления, и именно тогда Кромвель приговорил его к сожжению заживо. Характерно, что он, как говорят, пригласил его позавтракать утром в день казни, а затем попросил у него прощения за то, что он сделал.

Поул описал свой разговор с Эссексом о долге министров перед королями. Поул считал, что их первой обязанностью было заботиться о чести своих хозяев, и настаивал на расхождении между честью и целесообразностью. Такие представления показались Кромвелю фантастическими, который сказал Поулу, что благоразумный политик изучит склонности принца и будет действовать соответственно. Затем он предложил Поулу рукопись “Принца” Макиавелли. Такой темперамент отличался не столько степенью, сколько характером от темперамента Годфри де Бульона или Людовика Святого, Баярда или Черного принца. Оно было более утонченным, более жадным, более жизнерадостным, и мужчины и женщины из рода Кромвелей быстро стали владельцами Англии в шестнадцатом веке. Социальные стандарты изменились. Даже в полуварварские века высокая вежливость всегда считалась приличествующей великим. Святой Ансельм и Элоиза, Саладин и Львиный Кер оставались идеалами на протяжении веков, потому что они представляли собой фазу цивилизации; и Фруассар описал, как Черный принц развлекал своих пленников после Пуатье: -

“Принц сам прислуживал за столом короля, как и остальным, со всеми признаками смирения и не сел за него, несмотря на все его мольбы сделать это, говоря, что ”он не был достоин такой чести, и ему не подобало садиться за стол такого великого короля или такого доблестного человека, каким он показал себя своими действиями в тот день”.“[211]

Сто пятьдесят лет прогресса уничтожили рыцарство. При дворе Генриха VIII манеры были грубыми, а мораль распушенной. Иностранные послы без особого уважения отзывались об обществе, которое они видели. Шапюи позволил себе насмехаться над леди Джейн Сеймур, которая впоследствии стала королевой, потому что, по—видимому, считал придворных дам продажными:

“Я предоставляю вам судить, являетесь ли вы англичанином и часто бывали при дворе, ”si elle ne tiendrait pas à conscience de n'avoir pourveu et prevenu de savoir que cest de faire norces".[212]

Скандалы семьи Болейн слишком хорошо известны, чтобы их нужно было замечать,[213] и было бы бесполезно накапливать примеры отсутствия женской добродетели, когда этот факт печально известен. Восходящая знать более или менее слабо напоминала Кромвеля. Наемничество было характерной чертой привилегированного класса. Томас Болейн, граф Уилтшир, сколотил свое состояние благодаря собственной проницательности и красоте своих

дочерей. Мария, младшая, была ранней любовницей Генриха; Анна, старшая и проницательная, была его женой. Титул и состояние Болейн получил благодаря этой связи. Болейн был образцом класса; в нем был высоко развит инстинкт самосохранения. Когда его дочь Энн и его сына, лорда Рочфорда, судили в Тауэре за кровосмешение, доказательства были настолько неубедительными, что в зале суда ставили десять к одному на оправдательный приговор. В этот решающий момент отношение отца было так описано Шапюи, у которого были хорошие источники информации: —

“15-го числа упомянутая наложница и ее брат были осуждены за государственную измену всеми главными лордами Англии, и герцог Норфолк [ее дядя] вынес приговор. Мне сказали, что граф Уилтшир был так же готов помочь на суде, как и при осуждении остальных четырех”.^[214]

Дед Томаса Болейна был олдерменом Лондона и богатым торговцем; его сын был посвящен в рыцари и отошел от дел, а сам Уилтшир, хотя был младшим сыном и получал всего пятьдесят фунтов в год после женитьбы, благодаря своему уму и помощи своих детей стал богатым графом.

История семьи Сесил не отличается друг от друга. Дэвид, первый представитель этого имени, вышедший из безвестности, снискал определенную благосклонность при Генрихе VIII.; его сын Ричард, наиболее способный управляющий, получил изрядную долю монастырской добычи, был конюхом в рясах, констеблем замка Уорик и умер богатым. Его сыном был великий лорд Берли, в отношении которого, возможно, лучше всего сослаться на беспристрастный авторитет. Маколей описал его как человека, обладающего “хладнокровным характером, здравым смыслом, большой прикладываемостью и постоянным вниманием к главному шансу.... Он никогда не покидал своих друзей, пока не становилось очень неудобно поддерживать их, был превосходным протестантом, когда быть папистом было не очень выгодно, рекомендовал своей любовнице политику терпимости настолько сильно, насколько мог, не рискуя ее благосклонностью, никогда не подвергал пыткам никого, от кого, казалось маловероятным, можно было получить полезную информацию, и был настолько умерен в своих желаниях, что оставил только триста отдельных земельных владений, хотя мог бы, как уверяет его честный слуга, оставить гораздо больше, “если бы он взял деньги из казны для собственного использования”. как делали многие казначеи”.^[215]

Говарды, хотя и жили в более раннее время, обладали таким же темпераментом. Основателем был юрист, который заседал на скамье подсудимых при Эдуарде I. и который, следовательно, не заслужил рыцарское звание на поле боя, как Черный принц завоевал свои шпоры при Креси. После его смерти его потомки в течение столетия не производили особого впечатления, но удачно женились, накопили деньги, и в пятнадцатом веке некий Роберт Говард женился на дочери Томаса Моубрея, герцога Норфолкского. Этому он вряд ли бы сделал, если бы не был состоятельным человеком, поскольку, похоже, он не был военным человеком. Этот союз принес семье богатство. Это также, по-видимому, добавило им некоторого воинственного инстинкта, поскольку Ричард III дал Джону Говарду титул Моубреев, и этот Джон впоследствии был убит при Босворте. Его сын командовал Флодденом, а внук был великим разрушителем монастырей при Генрихе VIII, который также подавил восстание северян.

Томас Говард, министр Генриха VIII, был одним из самых интересных персонажей своего поколения. От природы он был убежденным консерватором; Шапюи никогда не сомневался, что “перемены в вопросах религии [были] ему не по душе”: в 1534 году он даже зашел так далеко, что заявил французскому послу, что не согласится на перемены, и эта речь, повторенная

королю, навлекла на него кратковременную опалу.[216] Одно время лорд Дарси, глава реакционной партии, рассчитывал на его поддержку против Кромвеля, хотя и предупреждал Шапюи не доверять ему безоговорочно из-за “его непостоянства”. [217] Тем не менее, под некоторой видимостью нерешительности он скрывал глубокое и тонкое понимание общества, которое его окружало; это “непостоянство” принесло ему большое состояние. У него был верный инстинкт, который подсказывал ему в критический момент, где лежат его интересы, и он никогда не обманывался. Генри не доверял ему, но не мог обойтись без него и дорого платил за его поддержку. Говард, со своей стороны, был сильно огорчен, когда обнаружил, что зашел слишком далеко, и когда вспыхнуло восстание северян и ему предложили командовать королевскими войсками, епископ Карлайла, с которым он обедал, сказал, что никогда не видел герцога “таким счастливым, как сегодня”. [218]

Оказавшись на поле боя против своих друзей, Томас Ховард не зашел бы так далеко. Он никогда не уставал хвастаться своей ложью и своей жестокостью, он написал, чтобы заверить Генриха, что не пожалеет усилий, чтобы заманить их в ловушку, и не будет уважать никаких обещаний, данных им мятежникам, “ибо, конечно, я не буду соблюдать ни малейшей их части, ибо любое уважение того другого могло бы назвать мою честь запятнанной”. [219]

Как Кромвель вел себя по отношению к Ламберту, так он вел себя и по отношению к картузианцам. Хотя это были люди, в религию которых он, вероятно, верил так же искренне, как во что-либо еще, и за чье дело, по его словам, он был готов взяться за оружие, когда их отправили на костер, он присутствовал на казни как на зрелище и наблюдал, как они умирают в муках, без всякой боли. Такие одаренные люди, как Говард, добились успеха в Реформации, и Норфолк сколотил колоссальное состояние на своей политике. Ценой его службы стали тринадцать монастырей, а у его сына Суррея - два; о том, чего он добился другими способами, не сохранилось никаких записей.

Такова была новая аристократия; но основная часть старого баронства была иного происхождения, и те, кто принадлежал к устаревшему типу, были обречены на уход.

Публикация *Государственных документов* не оставляет сомнений в том, что древнее феодальное дворянство, как титулованное, так и нетитулованное, как единое целое, выступило против реформы. Многие из наиболее значительных из них были скомпрометированы во время Паломничества Благодати в 1536 году, среди которых был Томас Лорд Дарси. Если средневековый барон все еще жил в середине шестнадцатого века, то этим человеком был Дарси. С тех пор как Завоеватель пожаловал норманну де Ареси тридцать графств в Линкольншире, его предки были солдатами, и в его доме на севере его вассалы, как в старину, сформировали армию. Родившись в 1467 году, в двадцать пять лет он связал себя контрактом служить Генриху VII. за морем, во главе тысячи человек, и более сорока лет спустя он пообещал Шапюи, что выступит против Лондона с восьмьютысячным войском, если император нападет на Генриха VIII. Всю свою долгую жизнь он сражался на границах. Он был капитаном Бервика, стража восточной и средней границы, а в 1511 году вызвался возглавить британский контингент против мавров. Он был кавалером ордена Подвязки, членом Тайного совета, а когда вспыхнуло восстание, командовал замком Понтефракта, самой сильной позицией в Йоркшире.

Пережиток прошлого, он сохранил идеи Креси и Пуатье, и это привело его на плаху. Пока шли переговоры, Норфолк, похоже, хотел спасти его, хотя, возможно, им двигала более зловещая цель. Во всяком случае, он определенно написал Дарси, предлагая заключить мир, заманив в

ловушку Аске, лидера повстанцев, и выдав его правительству. Норфолку это казалось совершенно законной сделкой. Такими методами он достиг высокого положения. Дарси это казалось бесчестием, и он умер за это. Вместо того чтобы поступить так, как ему было велено, он упрекнул Норфолка в том, что тот считал его способным на предательство: —

“Если ваша светлость советует мне принять решение, живое или мертвое, как, по вашему мнению, я могу поступить в соответствии с политикой, и таким образом снискать расположение короля; алас, мой добрый господин, если вы когда-либо, будучи человеком такой чести и большого опыта, давали совет или подбрасывали мне человека такого сорта или внешности, чтобы предать или дезавуировать лифинга, француза, скотта, да, или турка; моей веры, чтобы добраться и победить меня и моих наследников если бы я был одним из лучших герцогских владений во Фраунсе, или был бы там кингом, я бы не сделал этого ни с одним слабым человеком”.^[220]

Дарси утверждал, что сдал Понтефракт повстанцам, потому что правительство пренебрегло его освобождением, и хотя, несомненно, он всегда сочувствовал восстанию, он сразу же написал в Лондон, когда началась вспышка, чтобы предупредить Генриха не только о слабости его крепости, но и о силе врага.^[221] Когда королевский герольд посетил замок, чтобы договориться с повстанцами, он нашел Дарси, сэра Роберта Констебля, Аска и других, которые сказали ему, что они совершают паломничество в Лондон, чтобы смыть всю “мерзкую кровь”. от “Тайного совета” и “благородной крови, созданной снова” и возместить зло, причиненное Церквю.^[222]

Этот Аске был тем, кого Дарси отказался предать, но вместо этого он предложил сделать все, что в его силах, “как истинный рыцарь и подданный”, чтобы умиротворить страну, и он действительно помог убедить повстанцев разойтись по обещанию Генри уладить все обиды. В момент опасности и Дарси, и Аске были прощены и обольщены, но набирающие обороты богачи были не из тех людей, которые позволили бы солдатам сбежать от них, после того как они обезоружили их. Даже когда Генрих замыслил уничтожение тех, кому он дал слово, Норфолк писал с севера Кромвелю: “Я в соответствии с политикой убедил его [Попросить] разрешения поехать в Лондон и пообещал написать письмо ... который ... Я прошу вас, возьмите что-нибудь подобное, как вы сделали с другим, что я написал для сэра Томаса Перси. Если ни один из них никогда больше не появится в этой стране, я думаю, что ни настоящие, ни честные люди не будут сожалеть об этом, равно как и о милорде Дарси и сэре Роберте Констебле”.^[223] Перси и Констебль, Аске и Дарси, все погибли на эшафоте.

Дарси и ему подобные осознали, что вокруг них возник новый мир, в котором им не было места. Во время своего заключения в Лондоне, перед казнью, он был допрошен Кромвелем и таким образом, почти предсмертными словами обратился к человеку, который был воплощением силы, убившей его: —

“Кромвель, именно ты - изначальный и главный зачинщик всего этого восстания и зла, а также причина опасений в отношении нас, благородных людей, которые ежедневно усердно трудятся, чтобы довести нас до конца и отрубить нам головы, и я верю, что или ты умрешь, хотя ты добился бы того, чтобы головы всех дворян в королевстве были отрублены, все же останется одна голова, которая отрубит твою голову”.^[224]

ГЛАВА VIII

ПОДАВЛЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ

На вершине нового общества стоял Генрих VIII, который, подобно Филиппу Красивому, обладал многими качествами, присущими великому религиозному реформатору в эпоху экономики. Однако при оценке его натуры мнения англичан не имеют большого значения, поскольку они обычно искажены предрассудками. Лучшими наблюдателями были министры иностранных дел при его дворе, в обязанности которых входил сбор информации для своих правительств. В то время, когда не было газет, эти агенты должны были быть точными, а их донесения заслуживали доверия.

Шарль де Марийяк родился в 1510 году. Он принадлежал к старинной семье и имел незапятнанную репутацию. Он не имел никаких симпатий к протестантам, поскольку был опозорен партией Гизов. Ему было тридцать, когда он находился в Лондоне в качестве посла Франциска I. Пробыв год в Англии, он написал:

“Этот принц, как мне кажется, подвержен среди прочих пороков трем, которые, безусловно, у короля можно назвать вредными, и первый из них заключается в том, что он настолько скуп и алчен, что всех богатств мира было бы недостаточно для удовлетворения его честолюбия.... Отсюда проистекает второе зло и вредительство - недоверие и страх ... поэтому он непрестанно пачкает свои руки в крови, чувствуя в своем уме сомнение в окружающих, желая жить без подозрений, которые с каждым днем усиливаются.... И отчасти от этих двух зол проистекает последняя напасть, которая является легкомыслием и непостоянством; а отчасти также от характера нации, из-за которого они извратили права религии, брака, честности и почтения, как если бы они были восковыми, сплав которых может принимать любые формы, какие они пожелают”.^[225]

Жестокость была одной из самых характерных черт характера Генриха и, возможно, той способностью, с помощью которой ему удавалось наиболее сильно навязывать себя своим современникам. Он не только убивал своих жен, министров и друзей, но и преследовал тех, кто выступал против него, с мстительностью, которая приводила их в ужас. Он был изобретателен в придумывании пыток.

Брат Форест, чьим преступлением было отрицание королевского превосходства, по его приказу был медленно поджарен на кресте, который он специально привез из Уэльса. Они “повесили [его] в Смитфилде в цепях, на быстрой виселице, за середину и подмышки, и под ним развели огонь, и так он сгорел заживо”.^[226] Генри так понравилась идея представления, что Шапю подумал, что он разочарован тем, что не смог присутствовать со всем своим двором.

Его манера обращаться с картезианцами была столь же характерной. Картузианцы были в Церкви тем же, чем Дарси был в государстве: людьми старого типа с богатым воображением, суровой жизнью и аскетическими привычками, в которых все еще светился пламенный энтузиазм Гильдебранда. Они не могли принять Генриха как Божьего наместника на земле. Трое

приоров — Хоутон, Вебстер и Лоуренс — были “растерзаны в присутствии друг друга, им оторвали руки, вырезали сердца и растерли ими рты и лица”.[\[227\]](#)

Еще троих приковали цепями к столбам, где они простояли четырнадцать дней, “без возможности пошевелиться с какой бы то ни было целью, крепко удерживаемые железными ошейниками на шеях, руках и бедрах”.[\[228\]](#) Затем их повесили и выпотрошили.

В 1537 году десять человек все еще были непреклонны. Их, как и остальных, заковали в цепи в Ньюгейте, где, по словам Стоу, девять “умерли ... со зловонием и жалким удушьем”. Десятый, который выжил, был повешен.

Если бы Генри, как и Дарси, испытывал сомнения по поводу чести, правды или совести, он тоже мог бы погибнуть. Его сила заключалась в его способности делать то, что было необходимо для успеха. Он заманил Аске в Лондон и, когда поймал его, убил. Он простил Дарси, а затем отправил его в Тауэр-Хилл.

Не имея сил подавить мятежников, Норфолк от имени короля успокоил народ помилованием и обещаниями возмещения ущерба. Они разошлись, считая себя в безопасности. Генрих проигнорировал свои обещания, последовали восстания; но когда в стране воцарилось спокойствие и его армия снова оказалась в мирных владениях, он так проинструктировал герцога:

“ Это доставляет нам удовольствие ... вы должны, каким бы то ни было образом, совершить такую ужасную казнь над добрым числом жителей каждого города, деревни и хутора, которые пострадали в этом восстании, а также повесить их на деревьях, расквартировать их и устроить их изгороди и жилые помещения в каждом городе, большом и малом, и во всех таких других местах, поскольку они могут представлять собой ужасное зрелище для всех остальных потомков, которые будут практиковать что-либо подобное. прошу вас поступить без жалости или уважения в соответствии с нашими предыдущими письмами; помня, что было бы гораздо лучше, если бы эти предатели погибли в своих своевольных, недобрых и предательских поступках, чем если бы на них было наложено столь суровое наказание, поскольку последствия этого не должны были стать предупреждением для других ”.[\[229\]](#)

Норфолк действовал по образцу Генриха. Повстанцы были его друзьями - людьми, с которыми он незадолго до этого поклялся действовать вместе. Но он выбрал свою сторону, он заключил сделку и заслужил свое жалованье. Он никогда не устал хвастаться своей жестокостью по отношению к беззащитным йоменам:

“Они будут преданы смерти в каждом городе, где они жили.... Столько железных цепей, сколько можно изготовить в этом городе и в деревне, должно быть повешено на них; остальное - на веревках. Железа удивительно мало”.

Он судил своих заключенных военным трибуналом, потому что не осмеливался доверять присяжным. Многие фермеры заявили, что их вынудили присоединиться к восстанию угрозами насилия, и они могли бы быть оправданы. “Они говорят, что я вышел, опасаясь за свою жизнь или опасаясь поджога моих домов и гибели моей жены и детей”.[\[230\]](#) Но в том, что касалось Генри и Норфолка, оправдательных приговоров не было.

Таким же образом Генрих уничтожил своих министров, когда покончил с ними. Хотя Кромвель был проницателен, он был менее хитер, чем Генрих. Незадолго до его падения король сделал его графом Эссексом, и он жил в таком полном неведении о своей судьбе, что его опала обрушилась подобно удару грома. Марийяк описал, как однажды в зале совета Кромвель был арестован без предупреждения, и “охваченный негодованием, он сорвал с головы шляпу и гневно швырнул ее на землю, сказав Норфолку и остальным собравшимся членам совета, что это его награда за заслуги перед королем ... добавив, что, поскольку с ним так обошлись, он отказался от всякой надежды и от всего, о чем просил короля, своего господина ... я не должен был позволить ему томиться....”

Герцог Норфолк, упрекнув его во всех совершенных им злодеяниях, сорвал с него орден Святого Георгия, который он носил на шее; а адмирал, чтобы показать себя таким же его врагом в несчастье, каким он считался его другом в благополучии, снял с себя подвязку.[\[231\]](#)

С одной стороны, тщеславие Генриха было слабостью, поскольку делало его открытым для нападков, и дипломатическая переписка полна насмешек, подобных этой, написанной Кастильоном: “Не знайте о величии и о том, что творится в королевской семье”.[\[232\]](#) Вероятно, ничто в английской цивилизации никогда не могло сравниться с лестью, которой он добивался от своих придворных, и особенно от своих епископов; но даже это тщеславие было источником силы, поскольку делало его нечувствительным к насмешкам, которые расстроили бы Людовика Святого.

На основании очень скудных улик он привлек свою жену к ответственности за кровосмешение и во время судебного процесса появлялся на публике в таком нарядном виде, а после вынесения приговора танцевал перед Судом с таким откровенным восторгом, что сам Шапюи был удивлен:

—

“Из-за нее все еще задержаны два английских джентльмена, и есть подозрение, что их будет гораздо больше, потому что король сказал, что, по его мнению, более 100 человек имели к ней отношение. Вы никогда не видели принца или мужчину, который больше выставлял бы напоказ свои рога или носил их более приятно”.[\[233\]](#)

Его манерам, как у Кромвеля и Норфолка, недоставало вежливости, которая отличала людей даже его собственного поколения, таких как сэр Томас Мор. Он был прожорлив и потакал своим желаниям, а к концу своей жизни настолько раздулся, что стал беспомощным. Его привычки были хорошо известны при дворе, и поклонники пытались подойти к нему днем, когда он был навеселе. Марийяк думал, что его обжорство убьет его:—

“В короле мало кто сомневался, не столько из-за лихорадки, сколько из-за проблемы с ногой, которая у него была, и которая очень часто его беспокоит, потому что он очень грубый и удивительно неумеренный в еде и питье, так что утром вы часто обнаруживаете, что его цели и мнения отличаются от того, что вы делаете после обеда”.[\[234\]](#)

14 мая 1538 года Кастильон написал:—

“Кроме того, королю закрыли один из свищей на ногах, и с десяти или двенадцати дней выделения, которые не имели выхода, стали душить его, да так сильно, что некоторое время он был безмолвен, лицо все черное, и в большой опасности”.[\[235\]](#)

Наиболее заметной чертой феодальной аристократии было личное мужество; но по мере развития централизации и появления платной полиции, устраняющей необходимость самообороны, храбрость перестала быть необходимым условием успеха; Генрих явно не был храбрым — и уж точно не был храбрым в отношении болезни. Когда Анна Болейн была по уши влюблена в нее, она заболела потливостью; он сразу же сбежал и написал ей издали, умоляя ничего не бояться, поскольку “женщин мало или их вообще нет ... умерли бы от этого”.^[236] Марильяк прямо заявил, что в подобных вопросах король был “самым робким человеком, которого только можно было знать”.^[237]

С другой стороны, он обычно был настолько властным, что проявлял жестокость к слабым. Ламберт был бедным сектантом, из которого он решил сделать пример. Поэтому он подготовил торжественное мероприятие, на котором председательствовал при содействии епископов и других высокопоставленных лиц королевства. Обвиняемый, когда предстал перед этим трибуналом, очевидно, проявил некоторое замешательство, и Фокс оставил поразительное описание того, как Генри пытался усилить этот ужас. Генрих был одет “во все белое”, что, вероятно, символизировало его чистоту как главы Церкви, и его “взгляд, его жестокое выражение лица и сурово нахмуренные брови немало усиливали этот ужас, явно заявляя о негодовании, совершенно недостойном такого принца, особенно в таком вопросе, и направленном против столь смиренного и послушного подданного”.^[238]

Одаренный такими качествами, Генрих не мог не стать великим религиозным реформатором на заре великой экономической эпохи. Более пятисот лет назад, когда общество висело на грани распада, Церковь поддержала централизацию, избрав Гуго Капета королем Франции. Столетие спустя вооруженные паломничества в Палестину ускорили общественное движение, и снова началась консолидация. Поколение за поколением увеличивалась скорость передвижения, восстанавливалось сообщение между Востоком и Западом, в Европу были завезены морской компас и порох, нападение превзошло оборону, и по мере того, как формы конкуренции медленно менялись, капитал накапливался, пока в начале шестнадцатого века богатство не достигло той точки, когда оно могло заложить основу платной полиции, венца триумфа богатого класса.

Реформация была победой этого класса над архаичным типом человека, и с Реформацией старая творческая цивилизация ушла в прошлое; но при всей своей мощи денежный интеллект имеет определенные недостатки, и ни в Древнем Риме, ни в современной Англии капиталисты не были солдатами. Аристократия времен Тюдоров не была воинственной кастой. Не обладая физической силой, эта новая знать боялась древнего земледельческого населения, которое они медленно истребляли; и они боялись их не без оснований, поскольку из числа йоменов Кромвель набрал своих Железнобоких. Поэтому одной из главных забот тюдоровской знати было придумать средства для сдерживания этого опасного элемента, и поскольку она не могла организовать армию, она использовала Церковь. У землевладельцев были другие цели в отношении духовенства, кроме простого ограбления; они также должны были поработить его, и право Генриха на величие заключается в том, что он достиг обеих целей.

Он не только грабил так, как не грабил никто другой, но и преуспел в том, что взял на себя функции Божьего первосвященника и стал наместником Христа на земле. По этому вопросу не может быть расхождений во мнениях; не только формулировки Англиканской церкви ясны, но и сами англикане признают это. Маколей был сторонником Генриха; Маколей - историк, чье

мнение по этому вопросу заслуживает уважения, и Маколей суммировал позицию Генриха VIII. как глава капиталистической иерархии в этих словах:—

“То, что Генрих и его любимые советники когда-то подразумевали под верховенством, было, безусловно, не чем иным, как всей властью ключей. Король должен был быть папой своего королевства, наместником Бога, толкователем католической истины, проводником сакраментальной благодати. Он присвоил себе право догматически решать, что является ортодоксальным учением, а что ересью, составлять и навязывать исповедания веры и давать религиозные наставления своему народу.

“Он провозгласил, что вся юрисдикция, как духовная, так и светская, исходит от него одного, и что в его власти наделять епископальной властью и отнимать ее....

Согласно этой системе, изложенной Кранмером, король был как духовным, так и светским главой нации. В обоих случаях у его Высочества должны быть помощники. Подобно тому, как он назначал гражданских чиновников хранить его печать, собирать его доходы и вершить правосудие от его имени, точно так же он назначал богословов различных рангов проповедовать Евангелие и совершать таинства. Не было необходимости в каком-либо наложении рук. Король — таково было мнение Кранмера, изложенное в самых простых словах, — мог в силу власти, полученной от Бога, назначить священника; и созданный таким образом священник не нуждался ни в каком рукоположении”.[\[239\]](#)

При Тюдорах торговля и промышленность все еще находились в зачаточном состоянии. Великобритания по-прежнему оставалась в основном сельскохозяйственной, и капитал в первую очередь стремился к инвестициям в землю. Огораживание общин и конфискация монастырских владений, вместе взятые, сформировали гигантскую спекуляцию недвижимостью, к которой вера имела мало отношения и которая стала возможной только потому, что сила начала выражать себя через другой тип интеллекта, отличный от того, который был способен защищать свою собственность в эпоху богатого воображения.

Коммерческое сообщество всегда требовало дешевой религии. При Генрихе они склонялись к Цвингли, при Елизавете - к Кальвину, при Карле они были пресвитерианами; джентри, напротив, были по натуре консервативны и отдавали предпочтение ортодоксии, насколько им позволял их интерес к церковному грабежу. Генри и Норфолк стояли во главе этого класса; обращение Норфолка в протестантизм было объяснено Шапюи, и Генри оставался фанатиком до самой своей смерти.

Незадолго до смерти, собираясь общаться, как он всегда делал, под одним видом, он поднялся со своего кресла и упал на колени, чтобы поклониться телу Господа нашего. Присутствовавшие цвинглианцы сказали, что его величество по причине своей телесной слабости может причаститься, сидя в своем кресле. Ответ короля был таков: “Если бы я мог броситься не только на землю, но и под землю, я бы тогда не думал, что оказываю достаточно чести Пресвятому Причастью”.[\[240\]](#)

Что касается Норфолка, Шапюи выразил свое мнение очень простыми словами: —

“Он [Норфолк] сильно изменил свою позицию, поскольку он единственный [при] Дворе показал себя лучшим из католиков и больше всего ценил авторитет папы; но он должен действовать

таким образом, чтобы не потерять свое оставшееся влияние, которое, по-видимому, не распространяется намного дальше, чем желает Кромвель”.[\[241\]](#)

Чтобы достичь своей цели, восходящий класс, во главе которого стояли эти два человека, должен был вдвойне разрушить Церковь, в догматы которой они верили. Они конфисковали ее земли, чтобы обогатиться, и лишили ее доходов, чтобы купить поддержку торговцев. Наконец, недостаток физической силы подсказал им целесообразность захвата церковной организации и наполнения ее своими слугами, которые должны были учить людей религиозному долгу подчиняться власти, которая не доверяла обращению к оружию.

Как Генри и Норфолк представляли землевладельческих магнатов, так и Кромвель представлял торговое сообщество; и когда союз между этими двумя денежными интересами был завершен назначением Кромвеля государственным секретарем незадолго до апреля 1534 года, события развивались четко и быстро. Они короновали Анну Болейн 1 июня 1533 года; в июле разрыв между королем и папой стал непоправимым; в ноябре 1534 года парламент объявил Генриха “Верховным главой” Церкви; а следующей зимой вся администрация, как гражданская, так и церковная, была сосредоточена в руках Кромвеля. Он действовал с поразительной энергией.

Осенью 1535 года он предпринял пешее посещение, готовясь к роспуску монастырей, и в феврале следующего года парламент принял законопроект о репрессиях. Кромвель также, как генеральный викарий, председательствовал на Кентерберийском соборе, который произвел первую реформацию веры. Это собрание собралось в июне 1536 года, незадолго до Паломничества Благодати, и, опасаясь насилия, Генрих и консерваторы были вынуждены замолчать. Евангельское влияние на данный момент удерживало контроль, и “Десять статей”, основа “Тридцати девяти статей”, вместе с “Учреждением христианина”, которые были подготовлены, были большим отходом от ортодоксии.

В четвертой статье догмат о “Вечере” был расширен настолько, чтобы охватить лютеран, а в шестой осуждалось поклонение изображениям. С другой стороны, “Оправдание верой” начало приобретать то значение, которое оно всегда должно иметь во всех истинно протестантских конфессиях. В одной из своих проповедей Кранмер, в более позднее время, показал сравнительную тщетность добрых дел:

“Человек должен питаться добрыми делами; но сначала он должен иметь веру. Тот, кто совершает добрые дела, но без веры у него нет жизни. Я могу показать человека, который верою без дел жил и пришел на небеса; но без веры никогда человек не имел жизни”.[\[242\]](#)

“Никогда еще евреи, в своей величайшей слепоте, не совершали столько паломничеств к изображениям ... как это было принято в наше время.... Хранить в разных местах, как бы на ярмарках или рынках достоинств; быть полными своих святых реликвий, образов, святынь и произведений в изобилии, готовых к продаже.... Святые капюшоны, святые пояса, святые прощения, головы, святая обувь, святые правила - и все это полно святости.... Которые настолько почитались и злоупотреблялись в ущерб Божьей славе и заповедям, что были сделаны самыми высокими и святыми вещами, с помощью которых можно было достичь вечной жизни или прощения грехов”.[\[243\]](#)

Движение против священничества при Генрихе VIII. кульминация прилась на 1536 и 1537 годы, когда страна восстала, и землевладельцы нуждались в помощи городов. Пока последние чувствовали неуверенность в своей власти над церковными землями, радикальным

коммерческим интересам позволялось формировать доктрину; но когда Норфолк восторжествовал на севере, а Аске и Дарси были казнены, началась реакция. В ноябре 1538 года Ламберт был сожжен за отрицание пресуществления, а в 1539 году последовала глава в своде законов[244], которая предусматривала упразднение митрофорных аббатств, восстановила исповедь ушной раковины, причастие в одном виде, частные мессы и, одним словом, строгую ортодоксальность, основанную на единственном принципе королевского превосходства. Признать это означало бы поставить под угрозу собственность. Двенадцать месяцев спустя земельные магнаты почувствовали себя достаточно сильными, чтобы избавиться от торговцев; союз, который прошел через Реформацию, был распущен, а Кромвель обезглавлен.

Никогда папа римский не насаждал поклонение чуду с такой жестокостью, как это делал Генрих. Согласно закону о “Шести статьях”, отрицание чуда мессы каралось сожжением и конфискацией имущества без права отречения. Чистота веры не могла быть идеалом реформаторов.

До недавнего времени протестанты придерживались традиции, согласно которой монастыри Англии были подавлены восстанием народа, возмущенного разоблачением мерзостей, творимых под прикрытием монашества. В течение нескольких лет публикация британских архивов пролила новый и мрачный свет на Реформацию. Они, по-видимому, неопровержимо доказывают, что, как Филипп расправился с тамплиерами, так и Генрих расправился со всеми религиозными орденами своего королевства.

В 1533 году положение Генриха было отчаянным. Он противостоял не только папе и императору, но и всему, что осталось от старого феодального общества, и всему, что уцелело от угасающей эпохи воображения. Ничто не могло противостоять этой комбинации, кроме растущей мощи централизованного капитала, и поэтому Генриху пришлось стать рупором людей, которые придавали выражение этой силе.

Он нуждался в деньгах, и деньгах в изобилии, и Кромвель возвысился до практической диктатуры, потому что был наиболее приспособлен для их обеспечения. Во всем, что касается Эссекса, Фокс является несомненным авторитетом, и Фокс без колебаний приписал политику Кромвеля Генри в этот кризис: —

“Ибо так было угодно Всемогущему Богу посредством упомянутого лорда Кромвеля побудить короля сначала уничтожить часовни, затем дома монахов и небольшие монастыри, пока, наконец, все аббатства в Англии, как большие, так и меньшие, не были полностью свергнуты и вырваны с корнем....

“Из того, какой великой похвалы был достоин этот человек, и какое мужество и отвага были в нем, всем людям может стать очевидным, что он один, благодаря исключительной ловкости своего ума и совета, осуществил то, чего даже по сей день ни один принц или король во всей Европе не осмелился или не может осуществить. Ибо, в то время как одна Бретания из всех других наций по своей природе является и была самой суеверной; этот Кромвель, будучи рожден из простого или низменного происхождения, с помощью божественного метода или политики остроумия и разума воспринял, перенес, ввел в заблуждение, пресек и подавил всю политику, поезда, злобу и ненависть монахов, религиозных деятелей и священников, которых в Англии было великое множество ”.[245]

Сила Кромвеля заключалась в его превосходстве над теми сомнениями в правде и чести, которые мешают более слабым людям. Он делал то, чего требовали обстоятельства. Его целью, как и у Филиппа, было очернить свои жертвы, чтобы потом уничтожить их, и для сбора доказательств он выбирал инструменты, приспособленные для этой работы. Если бы он воспользовался другими, то показал бы свою непригодность. Мистер Гэрднер заметил в своем предисловии к десятому тому *Календаря*: “На самом деле у нас нет оснований высоко оценивать характер гостей Кромвеля”.^[246] Это мнение мистера Гэрднера подтверждается всеми дошедшими до нас свидетельствами. Томас Лег, один из членов комиссии, не только всегда брал взятки, но, будучи назначен управляющим больницей Шерберн, распорядился ими “для полного лишения наследства, разложения и разрушения древнего и благочестивого фундамента того же дома”.^[247] Генри, вероятно, считал его нечестным, поскольку его счета были расследованы. Даже коллега Лега, Ап Райс, хотя сам был продажен и очень боялся быть убитым за свое предательство, в определенных выражениях донес на него Кромвелю:

“И, конечно же, за каждое избрание он просит не меньше 20 фунтов стерлингов в качестве пошлины, что, на мой взгляд, слишком много и превышает любые пошлины, которые когда-либо взимались до сих пор. Также во время своих посещений он много раз отказывается от своей награды, хотя она и достойна, из-за того, что они предлагают ему так мало, и заставляет их посылать ему такие награды, которые могут понравиться ему, ибо, конечно, религиозные люди никогда так сильно не боялись доктора Аллена, как его, раз он так грубо обращается с ними”.^[248]

Однако на следующий день Ап Райс, опасаясь, что его откровенность может привести к убийству, написал своему хозяину, умоляя его быть осторожным:

“Поскольку упомянутый мистер Доктор так хорошо знаком со многими хулиганами и прислужниками, ... Я, обычно не имеющий с собой большой помощи, когда выезжаю за границу, могу, возможно, нанести непоправимый вред ему или его близким, прежде чем я об этом узнаю. Пожалуйста, сохраните в секрете то, что я сказал”.^[249]

Сам Ап Райс оказался в затруднительном положении, и Ли разоблачил его, поскольку признался, что был “настолько смущен” этим обвинением, что не мог ничего возразить. Кроме того, он, несомненно, сделал что-то, что поставило его во власть Кромвеля, поскольку он написал: Я знаю “по собственному опыту, как смертельно для любого мужчины навлечь на себя ваше неудовольствие, чего я не пожелал бы своему злейшему врагу”.^[250]

Показания таких свидетелей имели бы сомнительную ценность, даже если бы они свободно выражали свои мысли; но правительство допускало только одну форму отчета. Хороший пример навязываемой дисциплины можно найти в переписке Лейтона. Он неосторожно похвалил аббата Гластонберийского и получил выговор от Кромвеля за то, что написал в свое оправдание:

“В то время как я понимаю, что мистер Поллард очень удивляет вас, почему я это делаю ... так сильно хвалю ... аббат Гластон.... Так что моя чрезмерная и нескромная похвала ... это должно сейчас подтвердить мою великую глупость и неправду, и я не могу ... но это значительно уменьшает мое доверие к его величеству, а тем более к вашей светлости.... И хотя все они фальшивые, притворные, лстивые лицемерные негодяи, поскольку, несомненно, нет никого

другого в этом роде. Поэтому сейчас, по этой моей необходимости, я должен смиреннейшим образом умолять вашу светлость простить меня за совершенную мною тогда глупость ... и о вашей доброте смягчить отношение королевского высочества к предпосылкам”.[251]

Обвинения, выдвинутые посетителями, общеизвестно трудно доказать, даже имея достаточно времени и подготовленных следователей. Допрос Кромвеля проводился людьми незначительными и в большой спешке; не было предоставлено возможности для более чем беглого осмотра помещений и заключенных:

Сегодня мы выезжаем из Бата в Кенсам, где остановимся ко вторнику, а затем продолжим путь в Мейден-Брэдли, в двух милях от которого находится чартерхаус под названием Уиттейм, в семи милях - аббатство Брутон и в семи милях - Гластонбери.... Если вы пробудете у короля восемь дней, мы уничтожим все вышеназванные дома”.[252]

Посещение началось в августе 1535 года и закончилось в феврале 1536 года. В течение этих шести месяцев четверо или пятеро мужчин, часто путешествовавших вместе, предприняли обследование ста пятидесяти пяти домов, разбросанных по всей Англии. “Если судить по пропорции в Йоркшире, - говорит мистер Гэрднер, - посетители обследовали только четверых из десяти”.[253] Насколько можно установить, свидетельства, на которых основывались отчеты, были, как правило, самого ненадежного рода: либо скандал какого-нибудь недовольного монаха или монахини, либо сплетни слуг. Поразительный пример этого был в женском монастыре в Чиксенде, где Лейтон обвинил двух монахинь в недержании мочи, хотя “две настоятельницы не признались в этом ни сторонам, ни кому-либо из монахинь, кроме одной старой бельдаме”.[254]

Когда ничего не удалось выяснить, обвиняемые были признаны участвующими в заговоре. В Ньюарке дом казался ухоженным, и на поверхности не появлялось ничего сомнительного, поэтому Лейтон обвинил монахов в “конфедерации”, но добавил, что будет возражать против различных ужасных преступлений против них, “о которых я узнал от других. Что я найду, я не могу сказать”.[255]

Там, где молчание воспринималось как исповедь, особенно плохо приходилось монахиням. Как правило, они были слишком напуганы или испытывали слишком сильное отвращение, чтобы отвечать. Даже если бы такие доказательства не противоречили друг другу, к ним нельзя было бы придавать большого значения, но случается, что на другой стороне есть многое. Не говоря уже о посещениях епископов, которые проводились как часть церковной дисциплины, собственное правительство Генриха впоследствии назначило комиссии уполномоченных, состоящие из сельских джентльменов, и эти комиссии, которые на досуге проводили обследования в пяти графствах, пришли к выводам, в целом благоприятным для духовенства. Двух примеров будет достаточно, чтобы показать расхождение во взглядах людей, которых Кромвель контролировал, а не не контролировал. В Джерадоне в Лестершире правление Кромвеля сообщило о монастыре Белых цистерцианцев, в котором содержались пять монахов, пристрастившихся к содомии с десятью мальчиками.[256] Второе правление охарактеризовало ту же корпорацию как “компанию приятных разговоров и хорошего служения Богу”.[257]

В Грейс-Дье двум монахиням были предъявлены обвинения в недержании мочи.[258] Сельские джентльмены нашли там только пятнадцать белых монахинь Святого Остина, “хороших и добродетельных в общении и образе жизни”.[259]

Никто, знакомый с развитием полиции в позднее средневековье, не мог бы сильно сомневаться в том, что в целом дисциплина в монастырях довольно точно соответствовала преобладающему тону общества, и что, хотя аскетизм и энтузиазм, возможно, снизились с XII века, подчинение власти усилилось бы с развитием централизации. Мятежные монахи, подобные тем, кто пытался убить Абельяра, несомненно, были бы большей редкостью во времена Реформации, чем в начале крестовых походов.

Преступлением английских монахов, как и преступлением тамплиеров, было беззащитное богатство; и, подобно тамплиерам, их положение едва ли соответствовало их преданности и мужеству. Гибкие и продажные, предавшие их доверие, получали пенсии или повышение по службе; картезианцы, против сурового энтузиазма которых пытки были бессильны, погибли так же, как погибли их предшественники на поле Сент-Антуана.

Атака наемников Кромвеля напоминала натиск армии вторжения. Монастыри жили как завоеванные города; святыни были разграблены, а награбленное свалено на телеги, как при разграблении Константинополя. Церкви были осквернены, окна разбиты, с крыш содрали свинец, колокола расплавлены, стены проданы в каменоломни. Европа была переполнена облачениями и алтарными украшениями, в то время как библиотеки были уничтожены. Ближе к концу 1539 года Лег достиг Дарема, и очищение святилища святого Катберта можно рассматривать как пример всеобщего разграбления:

После того, как были разграблены его украшения и драгоценности, он приблизился к его священному телу, думая, что не нашел ничего, кроме пыли и костей, и обнаружил сундук, в котором он действительно лежал, очень прочно окованный железом, тогда ювелир действительно взял большой кузнечный молот и действительно вскрыл указанный сундук.

“И когда они открыли сундук, то нашли его лежащим целым, неповрежденным, с обнаженным лицом, с бородой, отросшей две недели назад, и со всеми его облачениями, поскольку он привык служить мессе вместе со всеми, и его золотой жезл лежал рядом с ним.

Затем, когда ювелир действительно понял, что сломал одну из своих ног, когда он действительно вскрыл сундук, он очень сожалел об этом и действительно плакал: “Увы, я сломал ему одну из его ног”.

“Тогда доктор Хенли [один из членов комиссии], услышав его слова, позвонил ему и велел предать его земле”.^[260]

По статуту 1536 года были упразднены только те монастыри, которые приносили менее 200 фунтов стерлингов в год или которые в течение двенадцати месяцев после принятия закона должны были быть переданы аббатом королю. Этот закон пощадил митридатские аббатства, и до тех пор, пока какая-либо монастырская собственность оставалась неделимой, землевладельцы удерживали Кромвеля у власти, не будучи, возможно, вполне уверенными в своей способности добиться успеха в одиночку.

В 1539 году оказалось невозможным заставить трех великих настоятелей Гластонбери, Рединга и Колчестера сдаться короне, и, соответственно, Кромвель разработал закон о передаче Генриху монастырских земель, которые должны были быть конфискованы в результате захвата. Затем он обвинил аббатов в государственной измене и таким образом попытался конструктивно вписать сословия, которые они представляли, в рамки статута. Судьба аббата Уайтинга,

которого Лейтон неосторожно похвалил, устроит всех. Ему было восемьдесят, когда он умер, и его мученическая смерть необычайно интересна, поскольку она положила начало великому дому Бедфорд, одному из самых великолепных современных герцогств.

Неожиданно прибыли уполномоченные и нашли старого монаха на ферме в Шарпхеме, примерно в миле от Гластонбери. 19 сентября они арестовали его, обыскали квартиру и, не найдя ничего, что могло бы пригодиться, отправили его в Лондон, чтобы Кромвель разобрался с ним, хотя он был “очень слаб и болезнен”. Кромвель поселил его в Тауэре и обследовал, по-видимому, чисто формально, поскольку правительство определилось со своей политикой. Госсекретарь просто набросал меморандум, чтобы проследить за тем, “чтобы доказательства были хорошо отсортированы, а обвинительные заключения составлены надлежащим образом”, и оставил детали убийства Джону Расселлу, человеку, которому можно полностью доверять. Единственным, что беспокоило Кромвеля, были обвинительные заключения, и “весь день” с ним был “ученый советник короля”, обсуждавший этот вопрос. В конце концов они решили, что будет лучше продолжить в Гластоне, и Уайтинга отправили в Сомерсетшир, чтобы с ним разобрался прародитель длинной линии богатых землевладельцев-вигов.

Руководя судебным процессом, Рассел проявил энергию и рассудительность, которые были вознаграждены. 14 ноября, когда инвалид добрался до Уэллса, он написал, что предоставил ему “самое почтенное жюри, какое когда-либо предъявлялось здесь за эти много лет. И никогда еще в этих краях не видели такой великолепной внешности, как здесь в настоящее время, и никогда еще не было большей готовности служить королю”.^[261] Рассел не терял времени даром. Он организовал суд в один прекрасный день, а казнь - на следующий. “Аббату Гластонбери было предъявлено обвинение, и на следующий день он был казнен вместе с двумя другими своими монахами за ограбление церкви Гластонбери”.^[262]

Он привязал старика к оgrade и потащил на вершину холма Тор, “но ... он не признался бы ни в золоте, ни в серебре, ни в чем другом, кроме того, что он сделал перед вашей светлостью в Тауэре.... И после этого очень терпеливо принял его смерть, и его голова и тело были вручены таким же образом, как я заверил вашу светлость в моем последнем письме”.^[263] “Одна четверть находится в Уэллсе, другая в Бате, а остальные - в Илчестере и Бриджуотере. И его голова на воротах аббатства в Гластоне”.^[264]

17 апреля следующего года Генрих провозгласил Кромвеля графом Эссекским, готовясь к его убийству. В течение двух месяцев новый граф был арестован своим злейшим врагом, герцогом Норфолком, главой землевладельческого сообщества; 28 июля он потерял голову на Тауэрском холме, и его колоссальное состояние кормило людей, разделивших тело Уайтинга.

ГЛАВА IX

ИЗГНАНИЕ ЙОМЕНОВ

Подобно первобытному Риму, Англия в средние века имела необычайно однородное население фермеров, которые составляли замечательную пехоту. Не то чтобы кавалерия была ущербной;

напротив, от верхушки до низов общества каждый мужчина был солдатом, а аристократия обладала превосходными боевыми качествами. Многие короли, такие как Львиный кер, Эдуард III и Генрих V., считались одними из самых способных военачальников своего времени; Черный принц всегда был рыцарским героем; а графов и баронов можно перечислить десятками, прославившихся в Столетней войне.

И все же, хотя английские рыцари были воинственным отрядом, ничто не указывает на то, что в целом они превосходили французов. Английская пехота завоевала Креси и Пуатье, и эта пехота, долгое время наводившая ужас на Европу, набиралась из числа мелких фермеров, которые процветали в Великобритании, пока их не истребил прогресс цивилизации.

До тех пор, пока индивид вообще мог противостоять атаке централизованной общественной массы, Англия оставалась рассадником для выведения этого вида людей. Средневековый король не имел средств для сбора регулярных доходов путем налогообложения; он был всего лишь главой свободных людей, и предполагалось, что его поместий будет достаточно для покрытия его расходов. Доход, приносимый землей, состоял из людей, а не из денег, и, чтобы заполучить людей, государь раздавал свои владения своим ближайшим друзьям, которые, в свою очередь, делили свои поместья на как можно большее количество ферм, и каждый фермер платил арендную плату своим телом.

Сила барона заключалась в полосе копий, которая следовала за его знаменем, и поэтому он делил свои акры настолько, насколько это было возможно, не испытывая большой нужды в деньгах. Сам будучи фермером, он обрабатывал достаточно земли в своем поместье, чтобы удовлетворять свои потребности, обеспечивать свой стол и обставлять свой замок, но, помимо этого, все, что он оставлял себе, - это убытки. При такой системе денежные контракты играли незначительную роль, и экономическая конкуренция была неизвестна.

Арендаторами были свободные люди, чьи поместья переходили от отца к сыну на условиях фиксированного владения; никто не мог перекупить их у их землевладельца, и ни один капиталист не мог разорить их снижением заработной платы, ибо крепостные составляли основу общества, и эти крепостные также были землевладельцами. Теоретически, злодеи могли удерживаться по своему желанию; но на самом деле они, вероятно, были потомками или, по крайней мере, представителями *coloni* Империи, и базовое право владения могло быть доказано решением манориального суда. Таким образом, обычаи защищали даже самых слабых, и на рынке труда не было конкуренции.

Поместье было социальной ячейкой, и, поскольку страна была малонаселенной, пустыри отделяли поместья друг от друга, и эти пустыри стали рассматриваться как общее достояние, принадлежащее к владениям, на которые арендаторы поместья имели имущественные права. Масштабы этих прав варьировались от поколения к поколению, но в основном они сводились к привилегии на пастбища, топливо и тому подобное; вспомогательные средства, которые, хотя и не имели значения для крупных собственников, были жизненно важны, когда граница дохода была узкой.

В старую творческую эпоху, до того, как централизация набрала обороты, существовало мало стимулов для того, чтобы грабить эти владения, поскольку места было предостаточно, а население увеличивалось медленно, если вообще увеличивалось. В тот момент, когда форма конкуренции изменилась, эти условия изменились на противоположные. Возможно, трудно

определить, когда именно денежная рента стала более могущественной силой, чем вооруженные люди, но, безусловно, это время пришло при Генрихе VIII. взойдя на трон, ибо в то время капиталистическое земледелие находилось на подъеме, а спекуляции недвижимостью уже вызвали резкое бедствие. В то время создание полиции снизило стоимость гонорара, и конкурентоспособная арендная плата, как правило, вытесняла военную службу. Вместо того чтобы стремиться к разделению, как в эпоху децентрализации, земля консолидировалась в руках экономически сильных, а капиталисты систематически расширяли свои владения, огораживая общинные земли и лишая йоменов их извечных прав.

Землевладельцы шестнадцатого века представляли собой тип, совершенно отличный от древнего феодального дворянства. Как класс, они были одарены экономическим, а не боевым инстинктом, и они жаждали конкуренции. Их сила заключалась в их способности поглощать собственность своих более слабых соседей под защитой всемогущей полиции.

Все имело тенденцию к ускорению консолидации, особенно рост стоимости денег. В то время как, даже при обесценивании монеты, цены на зерновые не повысились, рост обрабатывающей промышленности привел к удвоению стоимости шерсти. "Поэтому нам не нужно удивляться, обнаружив, что искушение заняться овцеводством было почти непреодолимым, и что закон за законом не могли остановить эту тенденцию".[265] Преобразование пахотных земель в пастбища привело, конечно, к массовому выселению, и к 1515 году страдания стали настолько острыми, что подробности были приведены в актах парламента. Места, где двести человек жили, выращивая кукурузу, пришли в запустение, дома обветшали, а церкви пришли в упадок.[266] Язык этих уставов доказывает, что описания современников не были преувеличены.

"Ибо я сам знаю много городов и деревень, которые пришли в упадок, ибо там, где, как и в прошлые времена, в каком-нибудь городе было сто семей, сейчас не осталось тридцати; в каких-нибудь пятидесяти их сейчас нет десяти; да (что еще более достойно сожаления). Я знаю, что тауны настолько обветшали, что здесь нет ни стояка, ни камня на камне, как они обычно говорят.

"Там, где у многих мужчин были хорошие отношения и утонченное гостеприимство, способные порой помочь кингу в его войнах и выдержать другие испытания, способные также помочь своим ближайшим соседям и достойно воспитать своих детей в благочестивых письмах и хороших науках, теперь нет ни одного человека, населяющего вышеупомянутые места. Те звери, которые были созданы Богом для пропитания человека, теперь не являются нашими людьми.... И причиной всего этого убожества и нищенства в простом обществе являются грязные джентльмены, то есть торговцы шепотом и грабьяры. Почему они учатся для получения собственного товара, общее благо подвержено разложению. С тех пор как они стали шепмейстерами и федералами кэттелла, у нас не было ни одежды, ни одежды какого-либо разумного прайса. Нет, меруайл, для этих рыночных торговцев, как они обычно говорят, "они так заполучили все вещи в свои руки, что бедному человеку приходится либо расстаться с ними у них дома, либо жалко искать хонгара и жалко краситься в колде".[267]

Сокращение посевных площадей под пашню, должно быть, привело к снижению урожая зерновых и объясняет их небольшое повышение в цене во второй четверти XVI века. Тем не менее этот рост не принес фермеру облегчения, поскольку в условиях конкуренции арендная плата росла быстрее цен, а в поколении, реформировавшем Церковь, нищета йоменов стала

крайней. В 1549 году Латимер произнес проповедь, в которой содержится отрывок, часто цитируемый, но всегда интересный: —

Более того, если честь короля, как говорят некоторые люди, выражается в великом множестве людей, то эти скотоводы, огородники и собиратели ренты являются помехами чести короля. Ибо там, где раньше было великое множество домовладельцев и жителей, теперь остались только пастух и его собака....

“ Мой отец был йоменом, и у него не было собственной земли, только у него была ферма, доходившая самое большее три-четыре фунта в год, и после этого он обрабатывал столько, что содержал полдюжины человек. У него было поголовье ста овец, а моя мать доила тридцать коров. Он был в состоянии и действительно нашел королю сбрую для себя и своей лошади, когда пришел на место, где должен был получить королевское жалованье. Я помню, что я застегивал его сбрую, когда он отправлялся на Блэкхитское поле. Он держал меня в школе, иначе я не смог бы сейчас проповедовать перед королевским величеством.

“Он женился на моих сестрах, заплатив по пять фунтов, или двадцать ноблей за штуку, так что воспитал их в благочестии и страхе Божьем. Он оказывал гостеприимство своим бедным соседям и раздавал кое-какую милостыню бедным. И все это он сделал на упомянутой ферме, где тот, у кого она сейчас есть, платит шестнадцать фунтов в год или больше и не в состоянии ничего сделать для своего принца, ни для себя, ни для своих детей, ни подать чашу питья бедным”.[\[268\]](#)

Мелкий собственник страдал вдвойне: ему приходилось выдерживать конкуренцию крупных поместий и терпеть сокращение своих ресурсов из-за огораживания общего достояния. Результатом стало обнищание йоменов и мелкого дворянства, а до Реформации бездомных бедняков стало так много, что в 1530 году парламент принял первый из серии законов о бродяжничестве.[\[269\]](#) Поначалу применяемое средство было сравнительно мягким, поскольку трудоспособных нищенствующих следовало только пороть до тех пор, пока они не окровавятся, возвращать по месту жительства и там пороть до тех пор, пока они не возьмутся за работу. Поскольку рабочая сила не была предоставлена, законодательство провалилось, и в 1537 году опустошение монастырей привело к кульминации дела. Тем временем парламент попытался провести эксперимент по уничтожению безработных; во втором акте бродяг сначала калечили, а затем вешали как преступников.[\[270\]](#)

В 1547 году, когда Эдуард VI. был коронован, великий кризис достиг своего апогея. Серебро Потоси еще не принесло облегчения, валюта пребывала в хаосе, рабочие были дезорганизованы, и нация кипела от недовольства, которое вылилось два года спустя в восстание. Землевладельцы обладали абсолютной властью, и прежде чем взять на себя бремя кормления голодающих, они всерьез взялись за дело истребления. В преамбуле третьего акта говорилось, что, несмотря на “великие путешествия” и “благочестивые постановления” парламента, пауперизм не уменьшился, поэтому любой бродяга, доставленный к двум судьям, должен был быть признан рабом своего похитителя на два года. Его могут заставить работать, избивая, заковывая в цепи или иным образом, кормить хлебом и водой или отказываться от мяса, а также надеть железное кольцо на шею, руки или ноги. За его первую попытку побега его рабство стало бессрочным, за вторую он был повешен.[\[271\]](#)

Даже в 1591 году, в разгар великой экспансии, которая принесла процветание всей Европе, и когда монахи и монахини, брошенные на произвол судьбы подавлением женских монастырей, должно быть, в основном умерли, нищих было так много, что на похоронах графа Шрусбери “по сообщениям тех, кто подавал им пособие, их было 8000 человек. И они думали, что было почти столько же тех, кого нельзя было обслужить из-за их непокорности. Да, давление было настолько велико, что дайверы были убиты и многие пострадали. И далее сообщается от заслуживающих доверия лиц, которые хорошо оценили количество всех упомянутых нищих, что, по их мнению, их было около 20 000 ”. Было высказано предположение, “что все упомянутые бедняки проживали в радиусе тридцати миль от Шеффилда”.[\[272\]](#)

В 1549 году, как раз в тот момент, когда ситуация изменилась, восстание вспыхнуло по всей Англии. На западе разгорелась ожесточенная битва между крестьянством и иностранными наемниками, и Эксетер был освобожден только после длительной осады. В Норфолке йомены во главе с неким Кеттом долгое время контролировали большой район. Они арестовали непопулярных землевладельцев, вскрыли захваченное ими имущество и разграбили поместья, чтобы выплатить компенсацию выселенным фермерам. Подвергшись нападению, они упорно сражались и дважды штурмовали Норвич.

Страйп описал “этих мятежников” как “неких бедняков, которые стремились вернуть себе свое достояние силой; и чтобы в соответствии с законом было принято регулирование превращения пахотных земель в пастбища”.[\[273\]](#)

Кранмер прекрасно понимал ситуацию и, хотя был непревзойденным придворным и сам был порождением капиталистической революции, так отзывался о своих покровителях:

“И они много жалуются на богатых людей и джентльменов, говоря, что они отнимают общее у бедных, что они повышают цены на всевозможные вещи, что они правят бедностью и угнетают ее по своему усмотрению....

“И хотя здесь я, кажется, выступаю только против этих незаконных сборщиков, все же я не могу допустить этого, но я должен пригрозить им вечным проклятием, будь они джентльменами или кем бы они ни были, которые никогда не перестают покупать и присоединять дом к дому и землю к земле, как будто они одни должны владеть землей и населять ее”.[\[274\]](#)

Бунт против давления этой неограниченной экономической конкуренции принял форму пуританства, сопротивления религиозной организации, контролируемой капиталом, и даже во времена Кранмера отношение потомков людей, образовавших линию в Пуатье и Креси, было настолько зловещим, что англиканские епископы встревожились.

“Сообщается, что среди этих незаконных собраний много тех, кто претендует на знание Евангелия, и их нужно будет назвать евангелистами.... Но теперь я пойду дальше и немного расскажу о великой ненависти, которую многие из этих мятежных личностей питают к джентльменам; эта ненависть у многих настолько возмутительна, что они ничего так не желают, как добычи, разорения и уничтожения тех, кто богат и состоятельных”.[\[275\]](#)

Сомерсет, который был обязан своим возвышением случайности того, что был братом Джейн Сеймур, оказался не в силах противостоять кризису 1449 года, и его место занял Джон Дадли, которого теперь лучше помнят как герцога Нортумберлендского. Дадли был сильнейшим представителем новой аристократии. Его отец, Эдмунд Дадли, был знаменитым юристом,

который прославился как вымогатель Генриха VII., и которого звали Генрих VIII. казнен в знак популярности при восшествии на престол. Джон, помимо финансовых способностей своего отца, обладал определенными способностями к войне и несомненным мужеством; соответственно, он быстро продвигался по службе. Он и Кромвель понимали друг друга; он льстил Кромвелю, и Кромвель одалживал ему деньги.[276] Страйп намекнул, что у Дадли были серьезные мотивы сопротивляться восстановлению палаты общин.[277]

В 1547 году он получил титул графа Уорика, а в 1549 году подавил восстание Кетта. Этот военный успех привел его к власти в государстве; он оттеснил Сомерсета и принял титул герцога Нортумберленда. Его сын был не менее выдающимся. Он стал фаворитом королевы Елизаветы, которая присвоила ему титул графа Лестера; но, хотя он был опытным придворным, он был одним из самых некомпетентных генералов, которых даже земельная аристократия времен Тюдоров когда-либо выставляла на поле боя.

Беспорядки во время правления Эдуарда VI. они не переросли в революцию, вероятно, из-за облегчения, которое принес рост цен после 1550 года; но, хотя до настоящей гражданской войны им не хватило сил, они были достаточно грозны, чтобы запугать аристократию и заставить ее отказаться от своей политики истребления избыточного населения. В 1552 году был принят первый статут[278], направленный на систематическую помощь беднякам. Мелкие фермеры сильно преуспели после 1660 года, поскольку цены сильно выросли, гораздо сильнее, чем арендная плата; и только после начала семнадцатого века, когда арендная плата снова начала повышаться, йомены снова забеспокоились. Кромвель вырастил своих Железнобоких из числа правнуков людей, штурмовавших Норвич вместе с Кеттом.

“Тогда у меня был очень достойный друг; и он был очень благородным человеком, и я знаю, что все очень благодарны его памяти, — мистер Джон Хэмпден. Когда я впервые участвовал в этом сражении, я увидел, что наши люди были избиты со всех сторон. Я действительно так и сделал; и пожелал ему, чтобы он пополнил армию милорда Эссекса несколькими новыми полками; и я сказал ему, что буду полезен ему в привлечении таких людей, которые, по моему мнению, обладают духом, способным что-то сделать в этой работе. То, что я говорю вам, - чистая правда; Бог знает, что я не лгу. ‘Ваши войска, - сказал я, - в большинстве своем старые, пришедшие в упадок служаки, пивные и тому подобные ребята; и, - сказал я, - их войска - сыновья джентльменов, младшие сыновья и знатные люди: неужели вы думаете, что духи таких низких людей когда-нибудь смогут встретиться с джентльменами, в которых есть честь, мужество и решимость?’... Я действительно сказал ему: “Вы должны найти людей с духом: ... с духом, который, вероятно, зайдет так далеко, как только могут зайти джентльмены; иначе вас будут бить по—прежнему”

“Он был мудрым и достойным человеком; и он действительно думал, что я высказал хорошую идею, но неосуществимую. Действительно, я сказал ему, что могу кое-что сделать в этом, ... И действительно, я должен сказать это вам, ... Я воспитал таких людей, которые имели перед собой страх Божий, которые хоть немного сознавали то, что они делали; и с того дня, я должен вам сказать, их никогда не били, и где бы они ни сражались с врагом, они били постоянно”.[279]

Таким образом, давление усиливающейся централизации постепенно раскалывало прежнее однородное население Англии на классы, распределенные в соответствии с их

экономическими возможностями. Те, у кого не было необходимого инстинкта, превращались в сельскохозяйственных поденщиков, чья участь в целом, вероятно, была несколько хуже, чем у обычных рабов. Одаренные, такие как Говарды, Дадли, Сесилы и Болейны, выросли в богатых дворян и хозяев государства. Между ними скопилось масса смелых и нуждающихся авантюристов, которым в конечном итоге было суждено не только господствовать в Англии, но и вершить судьбы мира.

Одна часть из них, более проницательная и менее отважная, тяготела к городам и разбогатела как торговцы, подобно основателю семейства Осборнов, чей потомок стал герцогом Лидским; или подобно знаменитому Джосае Чайлду, который в правление Вильгельма III контролировал всю восточную торговлю королевства. Менее проницательные и более воинственные вышли в море и как работорговцы, пираты и завоеватели построили колониальную империю Англии и установили ее господство на море. К этому классу принадлежали Дрейк и Блейк, Хокинс, Рейли и Клайв.

В течение нескольких сотен лет после нормандского завоевания англичане не проявляли особого интереса к океану, вероятно, потому, что на суше имелся достаточный выход для их энергии. В средние века торговлей на острове занимались в основном торговцы Сталелитейного завода, ответвления Ганзейского союза; в то время как великими исследователями пятнадцатого и начала шестнадцатого веков обычно были итальянцы или португальцы; такие люди, как Колумб, Веспучий, Васко-да-Гама или Магеллан. Такое положение вещей продолжалось, однако, только до тех пор, пока экономическая конкуренция не начала разорять мелких фермеров, и тогда самая выносливая и смелая раса Европы была брошена на произвол судьбы и вынуждена искать счастья в чужих землях.

После битвы при Флоддене в Англии не было свободных мест ни для солдата, ни для искателя приключений. Мирная и инертная буржуазия все больше и больше вытесняла древний воинственный род баронов; их представители уклонялись от кампаний, подобных кампаниям Ричарда I, Эдвардсов и Генриха V. и поэтому для изгнанного фермера не существовало ничего, кроме далеких континентов Америки и Азии, и к ним он направил свои стопы.

Жизни адмиралов рассказывают историю на каждой странице. История Дрейка теперь известна. Его семья принадлежала к мелкому девонскому дворянству, но пала так низко, что отец с радостью устроил его учеником на каботажное судно в ла-манше, где его жизнь была полна почти невыносимых лишений. С этого скромного начала он добился своего, благодаря мужеству и гению, чтобы стать одним из трех величайших моряков Англии; и двое других, Блейк и Нельсон, были одной крови.

Сэр Хамфри Гилберт происходил из того же западного графства, что и Дрейк; Фробишер был бедняком из Йоркшира, а сэр Уолтер Рэли происходил из разрушенного дома. Не менее пяти рыцарских ветвей семьи Рейли когда-то сосуществовали в западных графствах; но с Тюдорами пришла беда, и отец Уолтера попал в беду из-за своего пуританства. Самому Уолтеру рано пришлось столкнуться с миром, и он сколотил свое состояние своим мечом. Он служил во Франции во время религиозных войн; позже, возможно, во Фландрии; затем, через Гилберта, он получил офицерский чин в Ирландии, но в конце концов попал ко двору Елизаветы, где занялся пиратством и задумал колонизировать Америку.

Глубокая пропасть отделяла этих авантюристов от земельных капиталистов, поскольку они принадлежали к крайне воинственному типу, типу, которого ненавидела и боялась знать. За исключением периода Содружества, землевладельцы контролировали Англию от Реформации до революции 1688 года, то есть в течение ста пятидесяти лет, и в течение этого длительного промежутка времени нет особого риска утверждать, что аристократия не произвела на свет ни одного солдата или матроса более чем средней квалификации. Разница между королевской и парламентской армиями была столь велика, как если бы они были набраны из представителей разных рас. У Чарльза не было ни одного достойного офицера, в то время как сомнительно, чтобы какие-либо силы когда-либо руководились лучше, чем войска, организованные Кромвелем.

Такие люди, как Дрейк, Блейк и Кромвель, были одними из самых страшных воинов мира, и олигархия, инстинктивно ощущавшая свою неполноценность в вооружении, не доверяла им и боялась их. Поэтому во время правления Елизаветы такие политики, как Сесилы, позаботились о том, чтобы великие моряки не имели права голоса в государственных делах. И хотя эти люди победили Армаду, и хотя Англия была обязана им большим, чем всему остальному своему населению, вместе взятому, ни один из них не достиг звания пэра и не пользовался доверием и уважением. Судьба Дрейка показывает, что их ожидало. Как и все представители его класса, Дрейк страстно желал войны с Испанией, и время от времени его отпускали с цепи, когда сражения нельзя было предотвратить; но его политика была отвергнута, его операции больше напоминали пиратские, чем адмиральские, и когда он умер, то умер с чем-то вроде позора.

Аристократия даже превратила ложное положение, в которое они поставили своих моряков, в источник прибыли, поскольку вынудила их купить прощение за свои победы, отдав сокровища, которые они завоевали своей кровью. Фортестью действительно пришлось вмешаться, чтобы защитить Рейли и Хокинса от алчности Элизабет. В 1592 году Боро отправился в плавание под командованием эскадры, укомплектованной двумя последними, при некотором содействии королевы и лондонского сити. Боро захватил карак, Мадре-де-Диос, один только перец которого Берли оценил в 102 000 фунтов стерлингов. Груз оказался стоимостью 141 000 фунтов стерлингов, и из этой суммы доля Элизабет, согласно действующему правилу распределения, составляла одну десятую, или 14 000 фунтов стерлингов. Она потребовала 80 000 фунтов стерлингов и разрешила Рейли и Хокинсу, которые потратили 34 000 фунтов стерлингов, получить только 36 000 фунтов стерлингов. Рейли с горечью сравнивал разницу между собой, солдатом, и пэром или лондонским спекулянтом. “Я был причиной того, что все это дошло до королевы, и что король Испании потратил 300 000^{ли} в прошлом году.... Я, рискнувший всем своим имуществом, теряю своего принципала.... Я взял на себя все заботы и страдания; ... они только утоляют по-прежнему... за что им дается вдвое меньше, чем мне принадлежит”.^[280]

Рейли был настолько храбр, что не мог понять, что его талант был для него опасностью. Он воображал, что его способность к войне принесет ему славу и богатство, и это привело его на плаху. Пока была жива Елизавета, восхищение женщины героем, вероятно, спасло его, но он даже не входил в Тайный совет и реальной власти у него не было. Сувереном, которого выбрала олигархия, был Джеймс, и Джеймс заключил его в тюрьму, а затем убил. Судьба Роли также не была особенной, поскольку из-за робости Кавалеры испытывали почти такую же ненависть ко многим солдатам. Они выкопали кости Кромвеля, они пытались убить Вильгельма III и низвергли Мальборо в разгар победы. Таковы были новые классы, на которые экономическая конкуренция

разделила народ Англии в шестнадцатом веке, и Реформация была лишь одним из многих последствий этой глубокой социальной революции.

За первые пятьдесят три года шестнадцатого века Англия прошла через две различные фазы церковной реформы: более раннюю, при Генрихе, когда монастырская собственность была присвоена восходящей аристократией; более позднюю, при Эдуарде, когда часть светских пожертвований также была конфискована. Каждый период разграбления сопровождался нововведениями в доктрине, и за каждым следовала реакция, последняя из которых при Марии приняла форму примирения с Римом. Рассматриваемое в связи с восстаниями, все движение вряд ли можно отличить от вооруженного завоевания воображения экономической частью общества; завоевания, которое привело к весьма любопытному развитию нового клерикального типа.

В Средние века иерархия представляла собой организацию чудотворцев, независимую от государства и поначалу стоявшую выше него. Эта великая корпорация существовала за счет собственных средств и, как правило, управлялась людьми экстатического темперамента, из которых святой Ансельм является, пожалуй, самым совершенным примером. После завоевания в эпоху Реформации эти условия изменились. Потеряв свою независимость, жречество превратилось в придаток гражданской власти; затем оно было реорганизовано на экономической основе и постепенно превратилось в наемный класс, которому платили за то, чтобы прививать послушание представителю олигархии, контролировавшей национальный доход. Пожалуй, во всей современной истории нет более поразительного примера того, как быстро и полно при благоприятных обстоятельствах один тип может вытеснить другой, чем тщательность, с которой экономический фактор вытеснил эмоциональный темперамент в англиканской церкви во времена династии Тюдоров. Мыслительные процессы новых пасторов отличались не столько по степени, сколько по характеру от таковых у старых.

Хотя похищения Эдварда менее хорошо запомнились, чем похищения его отца, вряд ли они были менее радикальными. Они начались с поместий церковей и гильдий и быстро распространились на все виды собственности. В средние века одним из главных источников доходов священнослужителей были их молитвы за души в чистилище, и во всех крупных церквях были часовни, многие из которых были богато украшены, для постоянного проведения месс по умершим; в Англии и Уэльсе существовало более тысячи таких часовен, доходы от которых часто были очень ценными. Это были часовни, которые исчезли вместе с эпохой изобретательности, создавшей их, и гильдии постигла та же участь.

До того, как экономическая конкуренция разделила людей на классы в соответствии с их финансовыми возможностями, все ремесленники обладали капиталом, а все земледельцы владели землей. Гильдия устанавливала социальный статус ремесленника; как член торговой корпорации, он руководствовался правилами, устанавливающими количество рабочих рук, которые он мог нанять, количество товаров, которые он мог производить, и качество его работы; с другой стороны, гильдия регулировала рынок и обеспечивала спрос. Торговцам, возможно, нелегко разбогатеть, но они так же редко беднеют.

С централизацией жизнь изменилась. Конкуренция отделяла сильных от слабых; первые разбогатели и нанимали рабочих за плату, вторые потеряли все, кроме способности к труду; и когда корпоративное тело производителей таким образом распалось, ничто не стояло между общей собственностью и людьми, которые контролировали механизм закона. К 1 Эдуарду VI,

ок. 14, все имущество школ, колледжей и гильдий Англии, за исключением колледжей Оксфорда и Кембриджа и гильдий Лондона, было передано королю, и начатое таким образом распределение распространилось повсюду и было убедительно описано мистером Блантом:

“Они сорвали свинец с крыш и вырвали медь из полов. С книг они срывали дорогие обложки, а затем продавали их как макулатуру. Золотую и серебряную пластину они переплавили с медью и свинцом, чтобы получить такую позорную монету, какой никогда не знали ни до, ни после в Англии. Облачения алтарей и священников они превращали в скатерти, ковры и драпировки, когда это было не очень дорого; а когда стоило больше денег, чем обычно, они продавали их иностранцам, не заботясь о том, кто использует их в "суеверных" целях, но заботясь о том, чтобы заключить наилучшую "сделку" из своей добычи, какую только могли. Даже за сами стихари и алтарное полотно можно было что-то получить, и это тоже было схвачено их алчными руками”.[\[281\]](#)

Этими “алчными руками” были члены тайного совета. Генрих не предполагал, что кто-либо из членов правления должен иметь преимущество, но тело короля еще не успело остыть, как Эдвард Сеймур начал интригу, чтобы сделать себя защитником. Чтобы консолидировать за собой партию, он начал свою администрацию с распределения всей добычи, до которой смог дотянуться; и мистер Фрауд подсчитал, что “по наиболее выгодным для совета подсчетам, поместья стоят ... в современной валюте около пяти миллионов фунтов стерлингов были ”присвоены — полагаю, я не должен говорить “украдены” — и разделены между собой”.[\[282\]](#) Во главе этого совета стоял Кранмер, который без зазрения совести брал свою долю. Вероятно, оценка Фруда слишком занижена, поскольку, хотя Сеймуру, как герцогу Сомерсету, пришлось, подобно Генриху, удовлетворить настоятельные требования, которые истощили его кошелек, он все же построил Сомерсет-хаус, самый роскошный дворец Лондона.

Сеймур был казнен Дадли, когда пришел к власти благодаря своему военному успеху в Норфолке. Дадли, так же как и Кромвель, был приспособлен к чрезвычайным ситуациям, в которых он жил; смелый, способный, беспринципный и энергичный, его партия ненавидела, но следовала за ним, потому что без него они не видели способа завладеть собственностью, которой так жаждали. Он тоже, как и Кромвель, вступил в союз с евангелическим духовенством, и при Эдуарде ортодоксальность “Шести статей” уступила место женевской доктрине. Даже в 1548 году Кальвин смог написать Сомерсету, благодаря Бога за то, что благодаря его мудрости была проповедана “чистая истина”;[\[283\]](#) но когда Дадли управлял правительством в качестве герцога Нортумберлендского, епископы, не колеблясь, учили, что догма о “плотском присутствии” в причастии “поддерживает эту звериную жестокость ”антропофагов", то есть пожирателей человеческой плоти: ибо более жестоко пожирать быстрого человека, чем когда он умирает". чем убить его".[\[284\]](#)

Дадли походил на Генри и Норфолка в том, что был естественным консерватором, поскольку умер католиком; но для всех них деньги были высшей целью, и поскольку им не хватало физической силы, чтобы грабить в одиночку, они были вынуждены примирять радикалов. Их представлял Нокс, и герцог усердно ухаживал за Ноксом. Шотландец начал проповедовать в Бервике в 1549 году, но правительство вскоре перевезло его в Лондон, а в 1551 году сделало его королевским капелланом, и в качестве капеллана он был призван утвердить Сорок две статьи 1552 года. Это он мог делать сознательно, поскольку они содержали догматы избрания и

предопределения, первородного греха и оправдания верой, наряду с отрицанием “реального и телесного присутствия ... Христа во плоти и крови в Таинстве Вечери Господней”.

Дадли из всех сил пытался купить Нокса и предложил ему Рочестерскую кафедру; но герцог вызвал глубочайшее недоверие и неприязнь у проповедника, который назвал его “этим жалким Нортумберлендом”. Он отверг это предпочтение, и действительно, с самого начала между кальвинистами и двором, похоже, царил вражда. В письме, написанном в начале 1554 года, Нокс выразительно выразил свое мнение о реформирующей аристократии, начав с Сомерсета, “который стал настолько холоден, услышав Слово Бога, что в год, предшествовавший его последнему аресту, он позволил себе навестить своих масонов и не позволил себе выйти из своей галереи в свой зал для прослушивания проповеди”.^[285] После этого дела ухудшились, поскольку “советник хейла сказал, что уолд больше не наследует ваша проповедь: вы были всего лишь безразличными товарищами; (да, и сумма этих людей такова, что их нельзя назвать болтающими лжецами.)”^[286]

Наконец, незадолго до смерти Эдварда произошел открытый разрыв. Нокс испытывал крайнее презрение и антипатию к лорду-казначею Паулету, маркизу Винчестерскому, которого он называл “хитрой лисой”. При жизни Эдварда Нокс насмеялся над Ноксом, “который был самым смелым по отношению к крию, Бастарду, кровосмесительному бастарду, Мария никогда не будет править нами”, а теперь, когда Мария на троне, именно перед ней Паулет “приседает и преклоняет колени”.^[287] В последней проповеди, которую он произнес перед королем, он дал волю чувствам. его язык, и, вероятно, он покинул бы двор, даже если бы правление продолжалось. В этой проповеди Дадли был Ахитофелом, Паулетом, Шебной:—

“Я утверждал, Что обычно это было так, что у самых благочестивых принцев были офицеры и главные советники, которые были самыми безбожными, призывали врагов Божьей истинной религии и изменников своим принцам.... Были ли Давид, Сайд Я и Иезекииль, князья с великими и благочестивыми способностями и опытом, оскорблены коварными советниками и лицемерными лицемерами? Что же тогда удивительного, что молодой и невинный Человек был обманут коварными, корыстолюбивыми, извращенными и нечестивыми советниками? Я очень боюсь, что Ахитофел будет советником, что Иуда будет кошельком, а Собна - писцом, контролером и казначеем. Это и кое-что еще яговорил в тот день не в углу (как многие до сих пор могут понять), а даже перед теми, кого моя совесть сочла достойными обвинения”.^[288]

Нокс понимал, какое отношение люди его склада имели к англиканству. В 1549 году еще предстояло разделить много земель, поэтому ему и ему подобным льстили и уговаривали до тех пор, пока Паулет и его друзья не наберутся достаточно сил, чтобы прогнать их. Вера в руках денежной олигархии превратилась в инструмент полиции, и, начиная с Реформации, откровение излагалось в Англии законодательно. Следовательно, люди с богатым воображением, которые не могли принять свою веру на свое жалованье, в любой момент подвергались опасности быть объявленными еретиками и понести суровое наказание за неподчинение.

Послушание мирянам всегда было тестом, с помощью которого англиканское духовенство отделялось от католиков и пуритан. Для обладающего богатым воображением ума вера должна проистекать из откровения, а откровение должно быть непогрешимым и неизменным. Истина

должна быть единственной. Католики верили, что их откровение является непрерывным, передаваемым устами просвещенного духовенства, выступающего в своем корпоративном качестве. Пуритане считали, что их откровение было сделано раз и навсегда и содержалось в книге. Но и католикам, и пуританам было ясно, что божественная истина непреложна и что Вселенская Церковь не может ошибаться. Для умов такого типа законы, регулирующие явление тела Божьего в стихиях, были не только нечестивыми, но и абсурдными, и люди священнического темперамента, будь то католики или пуритане, скорее встречали смерть лицом к лицу в ее самых ужасных формах, чем склонялись перед ней.

Здесь Фишер и Нокс, Беллармайн и Кэлвин согласились. Вместо того чтобы признать королевское превосходство, цвет английского духовенства стремился к бедности и изгнанию, к эшафоту и костру. Ради этого престарелый Рыбак поспешил в квартал на Тауэр-Хилл; ради этого Форест нависал над тлеющими углями костра; ради этого картузианцы гнили в своих зловонных берлогах. Пуритане также ни на йоту не отставали от католиков в отстаивании священного достоинства; “Никогда не богохульствуй, слыша голос эума [Генриха VIII.], суммирующего конец церкви до Христа”, - писал Кальвин, и на этом основании неконформисты боролись с установленной Церковью, начиная с восшествия на престол Елизаветы.

Труды Мартина Марпрелата лишь повторили проблему, которая была поднята Гильдебрандом пятьсот лет назад; ибо продвижение централизации воспроизвело в Англии нечто вроде тех же условий, которые царили в Константинополе, когда он стал центром обмена. Везде, где цивилизация достигла точки, на которой энергия выражает себя через деньги, вера должна быть подчинена представителю богатства. Стивен Гардинер понимал условия, в которых он жил, и принял свое рабство из уважения к великому престолу Винчестера. С поразительной остротой он процитировал Юстиниана как прецедент для Генриха: —

“Тогда, сэр, кто же когда-либо отрицал факт Юстиниана, который издал законы о славной Троице и католической вере, касающиеся епископов, мужчин, духовенства, еретиков и других, подобных им?”[289]

Со дня разрыва с Римом британское духовенство превратилось в наемных работников, и те из древнего духовенства, кто остался в англиканской иерархии после Реформации, смирились со своим положением, что отражено во всех их трудах, но ни в одном, пожалуй, более поразительно, чем в “Формулах веры” Генриха VIII, где епископальная коллегия представила свои взгляды на православие на пересмотр светской власти:-

“И хотя, ужаснейший и милостивый государь, мы единодушно подтверждаем нашими знаниями, что указанный трактат во всех пунктах настолько согласуется со священным Писанием, что мы надеемся, что ваше величество воспримет то же самое как вещь, к которой относятся самым искренним и чистым образом, во славу Бога, честь вашей светлости, единство вашего народа, что ваше высочество, как мы хорошо можем видеть, руководствуется главным образом тем же желанием: все же мы смиреннейшим образом отдаем его на высочайшую мудрость и точное суждение вашего величества, чтобы оно было исполнено”. признается, контролируется и исправляется, если ваша светлость сочтет, что какое-либо слово или предложение в нем заслуживает изменения, уточнения или дальнейшего разъяснения для ясного изложения самого добродетельного желания и цели вашего высочества в этом отношении. Чему мы в таком случае будем соответствовать в соответствии с нашими самыми главными обязанностями перед Богом и вашим высочеством”.

Подписано “смирнейшими подданными и поденщиками вашего высочества Томасом Кантуариеном” и всеми епископами.^[290]

Церковь, таким образом, оказавшаяся во власти светской власти, превратилась в движимое имущество в руках класса, контролировавшего доходы, и с Реформации до революции 1688 года этот класс состоял из сравнительно небольшого числа крупных землевладельческих семей, образуя узкую олигархию, которая управляла короной. В средние века король выводил свою армию из своих собственных владений. Львиный Кер имел свои собственные средства нападения и защиты, как и любой другой барон, только в большем масштабе. Генрих VIII, напротив, был одинок и беспомощен. По мере развития централизации расходы на управление росли, пока не стало необходимым регулярное налогообложение, а налоги мог взимать только парламент. Король едва мог платить телохранителям, а та военная сила, которая существовала в королевстве, подчинялась землевладельцам. Если бы не несколько богатых дворян, таких как Норфолк и Шрусбери, “Паломники Благодати” могли бы дойти до Лондона и свергнуть Генриха с его трона так же легко, как Вильгельм впоследствии сверг Якова. Эти землевладельцы вместе с лондонскими торговцами помогли Генриху пережить кризис 1536 года, и после этого он оказался в их руках. Его бессилие проявлялось в каждом акте его правления. Он шел на риск и платил за это высокую цену, в то время как другие жирели на награбленном. Говарды, Сесилы, Расселлы, Дадли поделили между собой церковную добычу и выжали из короны последний пенни, так что Генрих жил в долг, а Эдуард оказался перед угрозой банкротства.

Как ни глубоко Мария ненавидела святотатство, она не осмеливалась просить о возмещении ущерба аббатствам. Такой шаг, вероятно, привел бы к ее свержению, в то время как Елизавета никогда не пыталась противостоять, но подчинялась Сесилу, воплощению духа олигархии. Люди, сформировавшие эту олигархию, были совершенно иного типа, чем все, что процветало в Англии в эпоху воображения. Не склонные к воинственности, поскольку их островное положение позволяло им выживать без воинственных качеств, они всегда брезговали оружием. Они также не были достаточно многочисленны или сильны, чтобы внушить благоговейный страх нации даже в спокойные времена. Соответственно, они обычно оставались инертными и только по необходимости вступали в союз с какой-нибудь более буйной фракцией.

Аристократия времен Тюдоров была богатыми, флегматичными и лишенными воображения людьми, у которых другие способности были подчинены приобретению, и они относились к своей религии как к финансовому вложению. Строго говоря, Англиканская церковь никогда не имела веры, но колебалась между ортодоксальностью “Шести статей” и кальвинизмом “Ламбетских статей”, в соответствии с потребностями недвижимости. В течение одного поколения отношение плоти и крови Христа к хлебу и вину менялось пять раз королевским воззванием или актом парламента.

Но если вероисповедания были одинаковы для новой экономической аристократии, она хорошо понимала ценность кафедры как подразделения полиции королевства и с самого начала использовала духовенство как часть светской администрации. По этому поводу Кранмер был недвусмыслен.^[291] Елизавета, вероятно, представляла землевладельческое дворянство более безупречно, чем любой другой государь, и она прямо сказала своим епископам, что ее мало волнует доктрина, но она хочет, чтобы клерки следили за порядком. Она заметила, что видела, как там было написано: —

“что сами протестанты не любили его, и в действительности они так и делают (сказала она), потому что я слышала, что некоторые из них в последнее время говорили, что я не принадлежу к религии, ни горячей, ни холодной, но такой, что однажды вызовет у Бога рвоту.... После этого она пожелала, чтобы епископы обратили внимание на частные собрания, и теперь (сказала она) я скучаю по милорду Лондону, который ничуть не лучше относится к Городу, где у каждого торговца должен быть свой школьный учитель и ночные собрания”.[292]

Елизавета управляла своим духовенством железным жезлом. Ни одному священнику не разрешалось вступать в брак без одобрения двух мировых судей, не считая епископа, ни главе колледжа без разрешения посетителя. Когда декан собора Святого Павла оскорбил королеву в своей проповеди, она велела ему “прекратить это безбожное отступление и вернуться к его тексту”, и Гриндалл был временно отстранен от работы за неподчинение ее приказам.

При первенстве Гриндалла среди духовенства вошли в моду ежемесячные молитвенные собрания, называемые “пророчествами”. По какой-то причине эти собрания оскорбили правительство, и Гриндаллу было приказано положить им конец. Атакованный таким образом, в защиту самых дорогих прав священников, архиепископ отказался. Без лишних церемоний старый прелат был отстранен от должности и не был помилован до тех пор, пока не подал прошение пять лет спустя.

Переписка елизаветинских епископов полна рассказов об их рабстве. Пилкингтон, среди прочих, жаловался, что “Мы находимся под властью властей и не можем вносить какие-либо новшества без санкции королевы ... и единственная альтернатива, которая нам сейчас доступна, заключается в том, будем ли мы мириться с этими вещами или нарушим покой Церкви”.[293]

Даже церковная собственность продолжала изыматься там, где ее можно было вывезти безопасно; и история Эли Хауса, хотя ее и отрицали, достоверна по духу. С самого начала Реформации лондонские епископские дворцы были заманчивой добычей. Генри забрал Йорк-хаус себе, Роли арендовал Дарем-хаус, и примерно в 1565 году сэр Кристофер Хаттон, чьи отношения с королевой вряд ли можно было назвать двусмысленными, предпринял попытку заставить епископа Кокса передать ему Эли-Хаус. Епископ воспротивился. Хаттон обратился к королеве, и, как говорят, она таким образом пресекла это дело: —

“Гордый прелат: Я понимаю, что вы запоздали с выполнением своего соглашения, но я хотел бы, чтобы вы знали, что я, сделавший вас тем, кто вы есть, могу лишить вас этого звания, и если вы немедленно не выполните свое обязательство, клянусь Богом, я немедленно лишу вас сана. Элизабет”.

Если бы крупные землевладельцы были либо сильнее, чтобы контролировать власть общин, либо более воинственны, чтобы подавлять ее, развитие английской церкви было бы иным. Как бы то ни было, между католиками и более удачливыми из изгнанных йоменов, которые зарабатывали деньги торговлей, и которые ненавидели их и конкурировали с ними, лежала кучка правящих семей, пресытившихся награбленным. Пуритане, так же как и католики, стремились оспорить права собственности на церковные земли: —

“Удивительно видеть, с каким пренебрежением они пишут об этом вопросе. Они называют нас церковными грабителями, пожирателями падуба, бакланами и т.д. Подтверждаем, что по закону Божьему вещи, однажды посвященные богу для служения этой церкви, принадлежат ему навеки лично для себя я испытываю некоторые порицания и т.д. и я благодарю бога, что сохраняю их сth чистой совестью, и многое еще предстоит сделать. Закон касается нас”.[\[294\]](#)

Оказавшись в таком положении, земельные капиталисты упорно боролись за свое существование, и в качестве лучшей защиты они организовали группу священников для проповеди божественного права первородства, которое стало отличительной догмой этой национальной церкви. Таково, по крайней мере, было мнение тех, кто не был присяжным заседателем, которые всегда считались одними из самых ортодоксальных представителей англиканского духовенства и которые, безусловно, были всеми, у кого хватило постоянства пострадать за свою веру. Джон Лейк, епископ Чичестерский, отстраненный от должности в 1689 году за то, что не присягнул на верность Уильяму и Марии, на смертном одре сделал следующее заявление: -

“Что, несмотря на то, что я был крещен в религию Англиканской церкви и впитал ее с молоком, я постоянно придерживался ее на протяжении всей своей жизни, и теперь, если такова будет воля Божья, я окрасился в нее; и я решил, благодаря Божьей милости, помогающей мне, окраситься именно так, хотя и на костре.

“И хотя эта религия Англиканской церкви научила меня доктрине непротивления и пассивного повиновения, которую я соответственно привил другим и которую я считал отличительной чертой Англиканской Церкви, я придерживаюсь ее не менее твердо и непоколебимо и вследствие этого был отстранен от исполнения своих обязанностей и ожидал лишения”.[\[295\]](#)

В двенадцатом веке монарх черпал свои сверхъестественные качества в своем посвящении священством; в семнадцатом веке деньги уже стали представлять силу настолько преобладающую, что процесс пошел вспять, и священство приписало свою прерогативу говорить от имени Божества вмешательству короля. В этом заключалась суть Реформации в Англии. Кранмер учил, что Бог поручил христианским князьям “полное исцеление всех их подданных, а также в том, что касается применения слова Божьего ... как ... в политических делах”; следовательно, епископы, пасторы и викарии были министрами временного правителя, которому он доверял церковные должности, поскольку он доверял обеспечение порядка начальнику полиции.[\[296\]](#) Как часть светской администрации, основной функцией реформированного духовенства было проповедовать послушание своим покровителям; и доктрина, которую они развивали, была таким образом резюмирована Маколеем: —

“Серьезно утверждалось, что Верховное Существо относилось к наследственной монархии, в отличие от других форм правления, с особой благосклонностью; что правило наследования в порядке первородства было божественным институтом, предшествующим христианскому и даже моисееву устроению; что никакая человеческая сила ... не могла лишить законного князя его прав; что власть такого князя обязательно всегда была деспотической”[\[297\]](#)

Ни в одном другом ведомстве по связям с общественностью землевладельцы не проявляли особой энергии или способностей. Их армия была неэффективна, их флот не справлялся со своей работой, их финансами распоряжались безразлично, но вплоть до момента их свержения в 1688 году они были чрезвычайно успешны в церковной организации. Они точно выбирали

свои инструменты, и олигархия редко пользовалась более искусным обслуживанием. Маколей был практичным политиком, и Маколей оценивал духовенство как главную политическую силу при Карле II: —

“При каждом важном событии инвективы в адрес вигов и призывы повиноваться помазаннику Господню разом раздавались со многих тысяч кафедр; и эффект был поистине устрашающим. Из всех причин, которые после роспуска Оксфордского парламента вызвали бурную реакцию против эксклюзионистов, самой мощной, по-видимому, было ораторское искусство сельского духовенства”.[\[298\]](#)

Для сельских сквайров наемное духовенство было в безопасности, и хотя знаменитый отрывок Маколея, описывающий их страх перед армией, встретил противоречие, это, вероятно, правда: -

В их сознании постоянная армия была неразрывно связана с Задницей, с Защитником, с разграблением Церкви, с очищением Университетов, с упразднением звания пэра, с убийством короля, с угрюмым правлением Святых, с ханжеством и аскетизмом, со штрафами и конфискациями имущества, с оскорблениями, которые генерал-майоры, вышедшие из отбросов народа, наносили старейшим и наиболее почтенным семьям королевства. Более того, в парламенте едва ли нашелся бы баронет или сквайр, который частично не был бы обязан своим положением в собственном графстве своему званию в ополчении. Если бы эта национальная сила была отведена в сторону, дворянство Англии должно было бы потерять большую часть своего достоинства и влияния”.[\[299\]](#)

Работа, которую должна была выполнять иерархия династии Тюдоров, была корыстной, а не творческой; поэтому необходимо было выбирать пасторов, которым можно было доверить добросовестный труд за плату. Возможно, ни одна столь же многочисленная и умная группа людей никогда не была отобрана более искусно. Англиканские священники, как единое целое, всегда были верны руке, которая их кормила, невзирая на принципы, которые они должны были проповедовать. Замечательный пример их покорности, когда потеря дохода была наказанием за неповиновение, был продемонстрирован при восшествии на престол Вильгельма и Марии. Божественное право было, конечно, самой священной из англиканских догм, и все же, когда духовенству было приказано принести клятву верности тому, кого они считали узурпатором, как заметил Маколей, “некоторые из сильнейших мотивов, которые могут влиять на человеческий разум, возобладали. Свыше двадцати девяти тридцатых представителей профессии подчинялись закону”.[\[300\]](#) Более того, у землевладельцев был экономический инстинкт, они вели соответствующие переговоры, и Елизавета прямо сказала своим епископам, что они должны нанять ей трезвых, респектабельных проповедников, но людей, которые должны стоить дешево.

“Тогда заговорил мой лорд-казначей.... Ее Матушка объявила вам о поразительно большой ошибке, заключающейся в том, что в это светлое время вы делаете так много развратных и необразованных служителей.... Это епископ Личфилдский ... я имею в виду тех, кто за один день сделал LXX. министров за деньги, некоторых тейлоров, некоторых сапожников и других ремесленников, я уверен, что большая часть из них недостойна держать лошадей. Тогда сказал Бп. из Рочестера, что, может быть, и так, ибо я знаю одного, который заработал 7 долларов за один день, я хотел бы, чтобы каждый человек нес свою ношу сам, некоторые из нас совершают величайшую несправедливость, которую только можно испустить.... Но, мой Господь, если ты

хочешь, чтобы в служение были допущены только ученые проповедники, ты должен обеспечить им лучшую жизнь....

“По моему мнению, иметь ученых служителей в каждом приходе”.”

“Иисус (сказала королева) 13,000, этого не нужно искать, я думаю, что время прошло, а 4. проповедники в епархии, я имею в виду, что вы должны выбирать не только ученых служителей, потому что их невозможно найти, но и честных, трезвых и мудрых людей, и таких, которые могут хорошо пересказывать Священные Писания и проповеди людям”.[\[301\]](#)

Англиканское духовенство при Тюдорах и Стюартах было не столько священниками в смысле XII века, сколько наемными политическими слугами. Знаменитое описание Маколей слишком хорошо известно, чтобы нуждаться в полной цитате: “на одного человека, изображавшего джентльмена, приходилось десять простых слуг.... Грубый и невежественный сквайр” мог нанять “молодого левита” за свой стол, маленькую мансарду и десять фунтов в год. Этот священник “мог бы не только быть самым терпеливым из попок и слушателей, мог бы не только быть всегда готовым в хорошую погоду взять миски, а в дождливую - доску для лопат, но мог бы также сэкономить на расходах садовника или конюха. Иногда преподобный прибивал гвоздями абрикосы, а иногда чистил каретных лошадей”.[\[302\]](#)

Однако, как также указывал Маколей, иерархия была разделена на две части: обычных рабочих и менеджеров. Последние были незаменимы для аристократии, поскольку без них их машина вряд ли могла бы работать, а это были талантливые люди, которые требовали и получали хорошую заработную плату. Вероятно, по этой причине большой доход был зарезервирован для высшего светского духовенства, и с самого начала политика оказалась успешной. Многие из самых способных организаторов и проницательных политиков Англии в шестнадцатом и семнадцатом веках сидели на епископской скамье, и двумя наиболее типичными, а также самыми способными англиканами, которые когда-либо жили, были два выдающихся епископа, возглавлявших противоположные крыла Церкви, когда она была реформирована Генрихом VIII.: Стивен Гардинер и Томас Кранмер.

Гардинер был сыном суконщика из Бери-Сент-Эдмундса и родился около 1483 года. В Кембридже он стал лучшим гражданским юристом королевства и, познакомившись с Вулси, произвел на него такое сильное впечатление своим талантом, что кардинал быстро продвинул его по службе и в январе 1529 года отправил вести переговоры о разводе в Рим. Никто не сомневается, что до конца своей жизни Гардинер оставался искренним католиком, но прежде всего он был великим англиканцем. Став секретарем короля в июне 1529 года, когда Вулси был близок к своему падению, он трудился над тем, чтобы привлечь Кембриджский университет на сторону королевы, а также посвятил себя Анне, пока не получил престол Винчестера, когда его усилия по разводу ослабли. Он даже зашел так далеко, что заверил Климента, что раскаялся и намеревался покинуть двор, но, несмотря на это, “поднял полы” мантии Анны на ее коронации.

В 1535 году пути их разошлись, откладывая принятие решения было нельзя, он отрекся от Рима и произнес свою проповедь “de vera Obedientia”, в которой признал в Генрихе верховенство византийского императора. Боль, которой стоил ему этот поступок, длилась до самой его смерти, и он сказал папскому нунцию, что “написал эту книгу по принуждению, не имея сил терпеливо перенести смерть, которая была ему уготована”.[\[303\]](#) Действительно, когда умирал, его отступничество, похоже, было его последней мыслью, ибо в последние часы, когда ему

читали историю страстей, он воскликнул: “Negavi cum Petro, exivi cum Petro, sed nondum flevi cum Petro”. Всю его жизнь враги обвиняли его в лицемерии за подобные поступки, но именно это качество возвысило его до небес. Если бы его нельзя было купить, он вряд ли смог бы выжить в качестве англиканского епископа; такой энтузиаст, как Фишер, закончил бы жизнь на Тауэр-Хилл.

Возможно, более полно, чем любой другой прелат своего времени, Гардинер представлял фракцию Генри и Норфолка; он был настолько ортодоксален, насколько это было возможно, и все же процветал. Он ненавидел Кромвеля и всех "евангелистов", и он любил власть, великолепии и должности. Фишер, с темпераментом святого Ансельма, дрожащий в своем убогом доме, одетый в власяницу и спящий на своем соломенном тюфяке, действительно мог бы “смирненно поблагодарить королевское величество”, избавившее его от “всех этих мирских забот”, но люди, достигшие высот в реформатской церкви, были сделаны из другого теста, и правящая страсть Гардинера никогда не пылала так жаростно, как перед смертью. Несмотря на невыносимые муки от болезни, он цеплялся за свой пост до последнего. Ноай, французский посол, во время последней беседы нашел его “мертвенно-бледным от желтухи и разрывающимся от водянки: но в течение двух часов он беседовал со мной спокойно и любезно, без малейшего признака смущения; и на прощание ему пришлось взять меня под руку и пройти по трем салунам, нарочно чтобы показаться людям, потому что они сказали, что он умер”.^[304]

Гардинер был человеком, рожденным для того, чтобы стать великим прелатом при богатой олигархии, но каким бы одаренным он ни был, он должен был уступить во славе этому замечательному архиепископу, который так глубоко запечатлел в своем сознании секту, которую он любил, и которого большинство англиканцев, вероятно, назвали бы вместе с каноником Диксоном первым священнослужителем своего времени. Кранмер был настолько в высшей степени приспособлен к требованиям экономической революции, в условиях которой он жил, что одним прыжком поднялся из ничтожества к тому, что для англичанина было вершиной величия. В 1529 году, когда произошел разрыв, Гардинер уже занимал место главного секретаря, в то время как Кранмер оставался беднягой Иисуса. Через четыре года он был рукоположен в сан примаса и купил свое преимущество, поклявшись в верности папе, хотя и знал, что получил повышение с явной целью нарушить свою клятву, издав указ о разводе, который должен был разлучить Англию с Римом. Все его качества были признаны современниками; его ловкость, его надежность и его гибкость. “Такой архиепископ, назначенный таким образом, и ... так и в таком мудром освящении король мог использовать подходящий инструмент ... подходящую крышку для такой чаши; и никогда не было медведя, который мог бы командовать своими медведями больше, чем король мог бы командовать им”.^[305] Церковники всегда считали это суждение немалой претензией на славу; Бернет, например, сам епископ и поклонник своего выдающегося предшественника, было ясно, что сила Кранмера заключалась в той смеси интеллекта и подлобострастия, которая делала его полезным для тех, кто ему платил: -

“Большой интерес Кранмера к королю был основан главным образом на его мнении о том, что церковные чиновники в такой же степени подчинены королевской власти, как и все другие

гражданские чиновники.... Но была одна разница : Кранмер когда - то придерживался такого мнения ... но Боннер вопреки своей совести (если она у него была) выполнил это”.[306]

О гениальности архиепископа как придворного можно судить по судьбе, постигшей его современников. Он был четвертым из великих министров Генриха, тремя другими из которых были Кромвель, Норфолк, и Вулси. Вулси был опозорен, ограблен и затравлен до смерти; Кромвель был обезглавлен, а Норфолк был на пути к эшафоту, когда его спасла смерть человека, осудившего его. Только священник, как лютеранин или как поклонник чуда, которое он впоследствии отрицал, всегда сохранял благосклонность. Бернет описал, с какой готовностью он нарушил свою клятву, участвуя в попытке изменить порядок престолонаследия при Эдуарде: “Он был тверд и сказал, что не мог подписать это без лжесвидетельства; поклявшись соблюдать волю короля Генриха.... Сам король потребовал, чтобы он приложил свою руку к завещанию.... Это сильно огорчило его; но такова была любовь, которую он питал к королю, что в конце концов он уступил и подписал это”.[307] Подобно хамелеону, он менял свой цвет, чтобы соответствовать силе, которая поддерживала его. При Эдуарде он стал радикалом так же легко, как пел мессу в соответствии с “Шестью статьями”, или как при Марии умолял разрешить ему вернуться в Рим. И поступил он так не из трусости, ибо, когда он отправился на костер, ни один мученик Реформации не проявил большего постоянства, чем он. Почти все современники Кранмера, за редким исключением, страдали из-за того, что не могли полностью избавиться от своих угрызений совести. Даже у Гардинера были достаточно сильные убеждения, чтобы заключить его в Тауэр, а Боннер закончил свои дни в Маршалси, вместо того чтобы снова отречься от престола при Елизавете, но никакая подобная слабость не мешала Кранмеру. В Оксфорде, перед своей казнью, он очень много раз в различных формах отрекался и, несомненно, продолжал бы отрекаться, если бы таким образом спас себя.

В отличие от Гардинера, его убеждения были евангелическими, и он, вероятно, довольно рано усвоил принципы реформации, поскольку женился на племяннице Оссиандера в Германии, еще до того, как стал архиепископом. Достаточно характерно, что он проголосовал за “Шесть статей” в знак уважения к Генри, [308] хотя третий раздел закона предусматривал смерть и конфискацию имущества для любого священника, который мог бы жениться. После этого ему пришлось прятать свою жену и переносить “ее с места на место, скрытую от посторонних глаз в сундуке”. [309] Кранмер утверждал на суде, что оставался ортодоксальным в отношении причастия, пока Ридли не обратил его в свою веру после смерти Генри. Но, оставляя в стороне невероятность того, что человек с замечательной проницательностью Кранмера находился под влиянием Ридли, суждение такого человека, как Фокс, должно иметь вес. Конечно, Фокс считал его “проповедником Евангелия” во время суда над Ламбертом, и ничто не может дать столь яркого представления о том, на что были готовы пойти люди англиканского типа, как рассказ Фокса о мученической смерти этого сектанта:

Ламберт: “Я отвечаю вместе со святым Августином, что это определенным образом тело Христово”.

Король: “Отвечай мне не на основании святого Августина и не авторитетом кого-либо другого; но скажи мне прямо, утверждаешь ли ты, что это тело Христово, или нет”....

Ламберт: “Тогда я отрицаю, что это тело Христово”.

Король: ‘Запомни хорошенько! ибо теперь ты будешь осужден даже по собственным словам Христа “Hoc est corpus meum”’.

Затем он приказал Томасу Кранмеру, архиепископу Кентерберийскому, опровергнуть его утверждение; который, сначала сделав короткое предисловие к слушателям, начал свой диспут с Ламбертом очень скромно.... Затем король и епископы снова пришли в ярость против Ламберта, да так, что он был не только вынужден замолчать, но и мог бы прийти в ярость, если бы его уши раньше не были знакомы с подобными насмешками.... И здесь есть чему удивляться, видеть, как, к сожалению, это произошло в этом вопросе, что ... Сатана (который часто возвышает одного брата для уничтожения другого) совершил здесь осуждение этого Ламберта не кем иным, как самими евангелистами, Тейлором, Барнсом, Кранмером и Кромвелем; впоследствии, в некотором роде, все они пострадали подобным образом ради Евангелия; о ком (с Божьей помощью) мы подробнее поговорим позже.... В день, назначенный для страданий этого святого мученика Божьего, он был выведен из тюрьмы в восемь часов утра в дом лорда Кромвеля и таким образом перенесен в его внутренние покои, где, как сообщают многие, Кромвель просил у него прощения за то, что он сделал.... Что касается ужасных способов сожжения этого блаженного мученика, то здесь следует отметить, что из всех других, кто был сожжен и принесен в жертву в Смитфилде, еще ни с кем не обращались так жестоко и жалостливо, как с ним. Ибо после того, как его ноги были сожжены до обрубков, и что жалкие мучители и враги Божьи забрали у него огонь, так что под ним остался лишь небольшой костер и угли, тогда двое, стоявших по бокам от него, со своими алебардами насадили его на свои пики, насколько хватало цепи.... Тогда он, подняв те руки, которые у него были, и кончики его пальцев запылали огнем, воззвал к народу с такими словами: ”Никто, кроме Христа, никто, кроме Христа”; и так, будучи снова отброшен их алебардами, упал в огонь и там закончил свою жизнь”.[\[310\]](#)

В такой иерархии, как англиканская, функцией которой было проповедовать пассивное повиновение представителю богатой, но несколько вялой олигархии, не могло быть постоянного места идеалистам. Когда им угрожало испанское вторжение, недружелюбный правящий класс мог терпеть моряков вроде Дрейка или священников вроде Латимера; но в долгосрочной перспективе их интерес заключался в очищении Англии от столь опасного элемента. Аристократия искала людей, которых можно было купить; но они были иного типа, чем Латимер, который, когда ему поднесли огонь, когда он стоял прикованный к столбу, “говорил в такой манере: ‘Утешьтесь, мастер Ридли, и разыгрывайте мужчину. Милостью Божьей мы сегодня зажжем в Англии такую свечу, которая, я верю, никогда не погаснет’”. И вот, “после того, как он провел руками по лицу и как бы окунул их немного в огонь, он вскоре умер”.

Священнослужители, подобные Латимеру, были склонны придерживаться мнения Нокса, который считал, что “как бы ни были больны Май и дойл Брайдилл, чрезмерные аппетиты принцев не могут быть обвинены в сопротивлении аукциону, куилк - это Божье постановление”. А поскольку интересы землевладельческого капитала были связаны с сохранением королевской прерогативы, таких людей пришлось устранить. После смерти Марии землевладельцы опасались испанского вторжения в сочетании с католическим восстанием, и поэтому политика государственных деятелей, таких как Сесил, заключалась в разжигании враждебности к Риму. До окончания Армады англиканам разрешалось идти на все, вплоть до Жeneвы; даже в 1595 году “Ламбетские статьи” дышали чистым кальвинизмом. Но с началом нового столетия наступили перемены; по мере того как могущество Испании ослабевало,

арендная плата росла, и фермеры начинали проявлять беспокойство именно в тот момент, когда от людей с героическим темпераментом можно было отказаться. Роли был отправлен в Тауэр в 1603 году.

По словам Торольда Роджерса, “хорошая пахотная земля, [которая] сдавалась менее чем по шиллингу за акр в последней четверти шестнадцатого века, сдавалась по цене от 5с. до 6с. в конце первой четверти семнадцатого, ” в то время как арендная плата за пастбища удвоилась.^[311] Рост арендной платы и цены, стремящиеся стать постоянными, вызвали страдания среди сельского населения, а со страданиями пришло недовольство. Это недовольство в стране было вызвано беспокойством в городах, поскольку торговля была сильно стимулирована во время правления Елизаветы испанскими войнами, и торговый элемент начал бунтовать против законодательства, принятого в интересах привилегированного класса. Внезапно недовольство нашло выход; более сорока лет министры королевы не встречали серьезной оппозиции в парламенте; в 1601 году без предупреждения их система монополий была свергнута, и с этого дня и до революции 1688 года Палата общин оказалась неподконтрольной короне. Уже после восшествия на престол Якова соперничество между аристократией и их жертвами начало накаляться с той силой, которая предвещает гражданскую войну.

Если бы аристократия времен Тюдоров была воинственной кастой, они, несомненно, организовали бы армию и управляли бы с помощью меча; но они инстинктивно чувствовали, что на поле битвы они могут оказаться в невыгодном положении, и поэтому пытались управлять народным воображением с помощью духовенства. Таким образом, божественное право первородства стало отличительным догматом Англиканской церкви. Джеймс ощутил всю силу течения, которое несло его вперед, и емко выразил ситуацию в своей знаменитой афоризме “Нет епископа, нет короля”. “У меня будет, - сказал он, - одна доктрина, одна дисциплина, одна религия по существу и обряду”; а политика интересов, которые он представлял, была сформулирована еще в 1604 году на конференции в Хэмптон-Корте.

Следовало проповедовать пассивное послушание, и церковь наполнилась людьми, на которых олигархия могла положиться. Через шесть недель после конференции в Хэмптон-Корте Уитгифт умер, и Бэнкрофта, епископа Лондонского, перевели в Кентербери. Через неделю он был на работе. Он уже подготовил Свод Канонов, с помощью которого проверял духовенство, и утвердил его на собрании, предшествовавшем его хиротонии. В этих канонах утверждалось божественное происхождение епископства; странный отход от доктрины Кранмера. Предполагается, что в 1605 году в Англии и Уэльсе насчитывалось около полутора тысяч пуританских священнослужителей, и при первом отсеивании Бэнкрофта триста были изгнаны.

Среди этих пуритан был некий Джон Робинсон, учитель небольшой общины йоменов в деревне Скруби в Ноттингемшире. Рождение этого человека неизвестно, его ранняя история неясна, но в нем и в фермерах, слушавших его проповеди, долгая и ожесточенная борьба против давления класса, который их уничтожал, породила тот суровый и мрачный энтузиазм, который впоследствии стал отличительной чертой секты. К 1607 году Англия стала невыносимой для этой паствы, и они решили эмигрировать. Они слышали, что в Голландии разрешена свобода совести, и наивно надеялись, что со свободой совести они смогут спокойно зарабатывать себе на хлеб насущный. Однако, вероятно, для них религия была не причиной, а следствием их беспокойства, как показал результат.

После многих испытаний и горестей эти бедняки наконец собрались в Амстердаме, а оттуда отправились в Лейден, где прожили около одиннадцати лет. Но они обнаружили, что борьба за жизнь в Нидерландах была такой же суровой, как и дома, и вскоре изгнанники начали тосковать по какой-нибудь далекой стране, где “они могли бы больше прославлять Бога, приносить больше пользы своей стране, лучше обеспечивать свое потомство и жить, получая больше вдохновения от своих трудов, чем когда-либо в Голландии”. Соответственно, получив грант от Вирджинской компании, они отплыли на "Мэйфлаузере" в 1620 году, чтобы поселиться в Новой Англии; и таким образом, изгнав йоменов, Англия заложила основу одной из великих провинций своей колониальной империи.

ГЛАВА X ИСПАНИЯ И ИНДИЯ

По словам мистера Фруда: “Не успел шестнадцатый век отмерить и половины своего пути, как тень Испании уже простерлась за Анды; из рудников Перу и таможен Антверпена золотые реки текли в ее императорскую казну; короны Арагона и Кастилии, Бургундии, Милана, Неаполя и Сицилии были украшены челом ее государей”.^[312] Но при всех их выдающихся боевых качествах испанцы, по-видимому, были неспособны достичь той же скорости передвижения, что и расы, с которыми им приходилось соревноваться. Они так и не вышли из периода воображения, у них так и не развился экономический тип, и, как следствие, они никогда не были централизованными, как англичане. Эта особенность была замечена еще в начале семнадцатого века, поскольку герцог де Сюлли заметил, что в Испании “ноги и руки сильные, но сердце бесконечно слабое”.

Капитан Мэхан объяснил военное бессилие могучей массы, которая, разбросанная по двум континентам, не могла господствовать на море, а в семнадцатом веке умный голландец хвастался, что “испанцы публично начали нанимать наши корабли для плавания в Индию.... Очевидно, что Вест-Индия, являясь желудком Испании (ибо из нее извлекается почти весь доход), должна быть присоединена к голове Испании морскими силами”;^[313] и слава моряков елизаветинской эпохи заключалась не только в том, что они разгромили эти морские силы, но и в том, что они усвоили немалую часть пищи, которую американский желудок должен был поставлять испанскому сердцу.

Поскольку Испания долго пребывала в эпохе воображения, священник и солдат там безраздельно властвовали после того, как в других местах начали преобладать меркантильный и скептический тип; и инстинкт священника и солдата всегда заключался в уничтожении своих соперников, когда на них давила конкуренция. На самом испанском полуострове инквизиция вскоре искоренила ересь, но к середине XVI века Нидерланды стали рассадником протестантизма, а во Фландрии эти противоборствующие силы сражались не на жизнь, а на смерть. Война, разрушившая Антверпен, создала Англию.

В 1576 году Антверпен был разграблен и сожжен; в 1585 году герцог Пармский довел город до голодной смерти, а его торговля была прервана последовательными бедствиями, часть из них

мигрировала в Амстердам, а часть искала убежища на Темзе. В Лондоне современный человек был защищен морем, и кризис боевых действий наступил в 1588 году, когда испанцы, решив преследовать своего врага до его последнего оплота, послали Армаду погибнуть в Ла-Манше. С этим величайшим усилием жизнеспособность великой империи воображения начала ослабевать, начался распад, и на руинах Испании возникла чисто экономическая централизация Великобритании.

Подобно венецианцам, британцы заложили основу своего высокого состояния пиратством и работоторговлей, и их преимущество перед Испанией заключалось не в массе, а в превосходящей энергии, которая давала им более быстрое передвижение. Эскадра Дрейка, когда он совершал кругосветное плавание, насчитывала пять кораблей, самый большой из которых весил всего сто двадцать тонн, самый маленький - двенадцать, но с ними он преуспел благодаря их скорости. Например, он обогнал "Какафуэго", балластом которого было серебро, а грузом - золото и драгоценности. Он так и не раскрыл ее стоимость, но испанское правительство впоследствии доказало потерю полутора миллионов дукатов, не считая собственности частных лиц. Подобным же образом Армада была уничтожена маленькими кораблями, которые обогнули своего неуклюжего врага и вывели его из строя прежде, чем он успел нанести удар в порядке самообороны.

Испанские войны были безмятежными днями для людей воинственной крови, потерявших свою землю; они тысячами выходили в море и разоряли испанские колонии с энергией и свирепостью викингов. Почти целое поколение они купались в золоте, серебре и драгоценных камнях, а также в разграблении американских городов. Среди этих людей сэр Фрэнсис Дрейк стоял на первом месте, но после 1560 года южные графства кишели пиратами; и когда в 1585 году Дрейк отправился в свой набег на Вест-Индию, он возглавил отряд добровольцев численностью в две с половиной тысячи человек. Он не занимал никаких должностей, экипажи его двадцати пяти кораблей служили без жалованья, они отправились пиратами, чтобы наживаться на торговле испанца. Так случилось, что эта конкретная экспедиция потерпела финансовую неудачу, поскольку флот с сокровищами сбежал, а разграбление трех городов Сантьяго, Сан-Доминго и Картахены принесло всего 60 000 фунтов стерлингов, но ущерб, нанесенный Испании, был неисчислимым.

Невозможно попытаться подсчитать добычу, добытую за эти годы; никаких отчетов никогда не поступало; напротив, все заинтересованные стороны стремились скрыть свои деяния, но некоторые призывы были слишком ослепительны, чтобы их можно было скрыть. Этот факт стал известен, когда Дрейк напал на три каравана на Перешейке, насчитывавших сто девяносто мулов, каждый из которых был нагружен тремя сотнями фунтов серебра. Неудивительно, что Дрейк ел из "серебра, богато позолоченного и украшенного его гербами", что у него были "все возможные предметы роскоши, даже духи", что он обедал и ужинал "под музыку скрипок" и что он мог подкупить королеву бриллиантовым крестом и короной, украшенной великолепными изумрудами, и преподнести лорду-канцлеру сервиз. То, что он выдал по секрету, знал только он один.

Как Фрэнсис Дрейк был идеальным английским корсаром, так и Джон Хокинс был идеальным работоторговцем. Эти мужчины были родственниками и принадлежали к той породе, которая, будучи изгнана с их ферм в конце средневековья, оставила свой след во всем мире. Конечно, два моряка были "проповедниками Евангелия", и м-р Фрауд процитировал интересный отрывок

из рукописи современного иезуита, который показывает, насколько уважался их класс к концу шестнадцатого века: “Единственной партией, готовой сражаться насмерть за королеву, единственными настоящими друзьями, которые у нее были, были пуритане, пуритане Лондона, пуритане приморских городов”.^[314] Священник считал их отчаянными и решительными людьми. Тем не менее, они иногда провоцировали Элизабет своими проповедями. Рассказывают, что однажды, прочитав письмо Хокинса Берли, она воскликнула: “Смерть Господня! Этот дурак ушел солдатом, а вернулся богословом”.

Хотя и Дрейк, и Хокинс обладали хищническим темпераментом, Хокинс обладал сильным коммерческим инстинктом и внимательно следил за торговлей. Он был сыном старого Уильяма Хокинса, первого британского капитана, когда-либо посетившего Бразилию и привезшего оттуда туземного вождя, которого он подарил Генриху VIII. Будучи молодым человеком, Джон обнаружил на Канарах, “что негры были очень хорошим товаром на Эспаньоле”,^[315] и что их легко можно было добыть на побережье Гвинеи. Соответственно, в 1562 году он снарядил три корабля, причалил к Сьерра-Леоне и “частично мечом, а частично другими средствами” получил груз, “и с этой добычей он переплыл океан” на Эспаньолу, где с большой прибылью продал свой товар. Вест-Индские острова и страны, граничащие с Мексиканским заливом, не могут быть с пользой обработаны белыми рабочими; поэтому, когда испанцы своим жестоким обращением частично истребили туземцев, возникла необходимость в свежих рабочих руках, и их можно было легко и дешево получить на побережье Африки.

Сначала Испания пыталась исключить иностранцев из этого наиболее прибыльного оборота; но и здесь англичане действовали слишком быстро, чтобы их можно было остановить. Куда бы Хокинс ни направлялся, он был готов сражаться, и, если ему мешали вести мирную торговлю, он применял силу. В своем первом путешествии он не встретил сопротивления, но впоследствии, в Бурбурате, ему было отказано в разрешении на продажу, и, ни секунды не колеблясь, он выступил против города с “сотней хорошо вооруженных людей” и заставил губернатора согласиться. Снабдив этот порт всеми необходимыми рабами, Хокинс отправился в Рио-де-ла-Ача, где он аналогичным образом провел демонстрацию с “сотней человек в доспехах” и двумя небольшими пушками и за десять дней избавился от всего своего запаса.

Поскольку в то время способный негр, по-видимому, стоил в Вест-Индии около 160 фунтов стерлингов,^[316] груз в пятьсот человек должен был принести от семидесяти до восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов, поскольку стоимость похищения была незначительной. Поэтому неудивительно, что рабовладение процветало и что к середине восемнадцатого века Англия, вероятно, ежегодно перевозила из Африки в колонии около ста тысяч чернокожих. Восток не предлагал такого рынка, и, несомненно, Адам Смит был прав в своем мнении, что торговля с Индией никогда не была такой выгодной, как торговля с Америкой.^[317]

И работорговцы, и пираты привозили в Англию слитки, и вскоре этот поток серебра начал стимулировать в Лондоне определенный объем обмена между Востоком и Западом. Жители Востока всегда предпочитали оплату звонкой монетой, и, поскольку серебро обычно приносило больше прибыли, чем золото при экспорте, европеец с избытком серебра имел преимущество перед всеми конкурентами. Соответственно, пока Испания не потеряла способность защищать свои коммуникации со своими рудниками, испанский полуостров пользовался почти монополией на торговлю за пределами Кейпа; но по мере того, как война продолжалась и все больше драгоценного металла утекало на север, Англия и Голландия начали отправлять свое

серебро в Азию, голландцы организовали одну Ост-Индскую компанию в 1595 году, а британцы - другую в 1600 году.

Сэр Джосайя Чайлд, который был, возможно, самым способным торговцем семнадцатого века, заметил, что в 1545 году “торговля Англии тогда была незначительной, а купцов было очень мало”.^[318] Факты Чайлда не вызывают сомнений, и установленная им дата интересна, потому что она совпадает с открытием Потоси, откуда поступала большая часть серебра, снабжавшего пиратов и работорговцев. До 1545 года в Лондоне было мало денег, но когда пираты в течение целого поколения топили галеоны с сокровищами, они обнаружили, что обладают достаточным количеством денег, чтобы мечтать об Индии, и таким образом пиратство заложило фундамент Британской империи в Азии.

Но ограбление испанцев имело другой, более немедленный и поразительный результат, поскольку, вероятно, ускорило гражданскую войну. По мере того как город богател, его раздражала медлительность аристократии, которая, робкая и миролюбивая, теснила его, перекрывая каналы, по которым он попадал в собственность иностранцев; и как раз тогда, когда йомены были раздражены ростом арендной платы, Лондон начал излучать ту энергию, которой, если дать выход, было суждено подчинить столь значительную часть мира. Возможно, не будет преувеличением сказать, что даже с момента организации Ост-Индской компании торговые интересы контролировали Англию. Не то чтобы тогда он мог править единолично, у него не хватило для этого сил почти на сто лет вперед; но, после 1600 года, его вес перевернул чашу весов, на чью сторону он был брошен. До Долгого парламента торговцы, как правило, были пресвитерианами или умеренными пуританами; фермеры - независимыми или радикалами; и Уинтроп, готовясь к эмиграции в Массачусетс, имел дело не только со сквайрами, такими как Хэмпден, но и с городскими магнатами, такими как Томас Эндрюс, лорд-мэр. Этот союз между сельскими и городскими пуританами пережил Великое Восстание, и по мере того, как их коалиция сокращала монархию, их разделение восстанавливало ее.

Маколей очень метко заметил, что “если бы не враждебность города, Карл Первый никогда не был бы побежден, и что без помощи города Карл Второй вряд ли смог бы восстановиться”.^[319] После смерти Протектора пресвитериане бросили фермеров, вероятно, потому, что боялись их. Армия Содружества кишела такими людьми, как Кромвель и Блейк, воинами, не знающими сопротивления ни на суше, ни на море, с которыми, будучи организованным, город не мог справиться. Поэтому он рассеял их и, связав свою судьбу с Кавалерами, провозгласил короля.

Примерно в течение поколения после Реставрации ни один отдельный интерес не обладал достаточной силой, чтобы навязать свою волю нации, или, другими словами, партии были в равной степени сбалансированы; но с середины столетия прилив быстро пошел на убыль. Капитал накапливался, и по мере его накопления люди, приспособленные быть его инструментами, превращались в правящий класс. Сэр Джосайя Чайлд - самая интересная фигура этого периода. Его знакомые помнили его бедным подмастерьем подметальщика в конторе, где он работал; и все же в пятьдесят лет его состояние достигло 20 000 фунтов стерлингов в год, что почти равнялось арендной плате герцога Ормонда, богатейшего пэра королевства. Чайлд выдал свою дочь замуж за старшего сына герцога Бофорта и дал ей 50 000 фунтов стерлингов, и его способности были настолько велики, что в течение многих лет он безраздельно управлял Ост-Индской компанией и использовал ее доходы для коррумпирования парламента. В финансовых вопросах такой человек вряд ли ошибся бы, и он

высказал свое мнение, что в 1635 году “на Бирже можно было найти больше торговцев стоимостью в тысячу фунтов каждый и выше, чем в прежние дни, а именно до 1600 года, можно было найти торговцев стоимостью в сто фунтов каждый”.

“ И вот ... сейчас на Бирже можно найти больше людей, состояние которых оценивается в десять тысяч фунтов, чем тогда в тысячу фунтов. И если в этом сомневаются, давайте спросим пожилых людей, не считались ли пятьсот фунтов, выделенные на дочь шестьдесят лет назад, большей суммой, чем две тысячи фунтов сейчас; и не считали ли бы себя благородные женщины в те дни прилично одетыми в саржевое платье, в котором сейчас стыдно показаться горничной.... Сейчас у нас почти сто автобусов на один, который был у нас раньше. Сейчас мы с легкостью можем заплатить за один год больший налог, чем наши предки могли заплатить за двадцать. Наши обычаи значительно улучшились, я полагаю, по сравнению с вышеупомянутым соотношением шесть к одному; это связано не столько с ростом цен на товары, сколько с увеличением объема торговли

“Я сам помню, что в Лондоне не использовалось столько причалов или ключей для выгрузки товаров торговцев, по крайней мере на треть, как сейчас, а те, что были тогда, едва ли могли найти работу и на половину того, на что они были способны; и теперь, несмотря на то, что для той же цели используется на треть больше, в мирное время их слишком мало, чтобы выгружать товары, которые прибывают в Лондон”.[\[320\]](#)

Чайлд подсчитал, что за двадцать лет заработная плата выросла на треть, а арендная плата - на двадцать пять процентов, в то время как “недавно построенные дома в Лондоне приносят вдвое больше арендной платы, чем до пожара”.[\[321\]](#) Фермы, которые “их деды или отцы купили или продали пятьдесят лет назад... вместе они принесли бы, по крайней мере, втрое больше денег, а в некоторых случаях и в шесть раз больше, чем за них тогда покупали и продавали”.[\[322\]](#) Маколей оценил население Лондона в 1685 году в полмиллиона человек и полагал, что тогда он стал крупнейшим городом Европы.

Аристократия была вынуждена терпеть людей хищного типа, пока боялась испанского вторжения, но после поражения Армады эти воины стали опасны у себя дома, и олигархия, вполне естественно, попыталась очистить остров от класса, который постоянно угрожал их власти. Преследования вынудили множество нонконформистов перебраться в Америку, и история капитана Джона Смита показывает, как мало общество тогда давило на расу авантюристов, даже там, где горечь борьбы не вызывала религиозного энтузиазма.

Смит опоздал на поколение. Родился в 1579 году, ему было девять лет, когда погибла Армада, и всего шестнадцать, когда Дрейк и Хокинс погибли в море. У отца Смита было состояние, но когда он остался сиротой, опекуны пренебрегли им и в пятнадцать лет позволили ему отправиться в путешествие всего с десятью шиллингами в кармане. Дома перед ним не открывалась карьера, поскольку Сесилы скорее сажали в тюрьму и обезглавливали солдат удачи, чем награждали их. Соответственно, он уехал за границу и к двадцати пяти годам побывал на службе в большинстве стран Континента, был поработщен турками, сбежал и отправился в Берберию, сражался с испанцами на французском военном корабле и, наконец, понял, что мечты его юности принадлежат прошлому и что он должен вступить на новый путь. Поэтому он присоединился к отряду, направлявшемуся в Виргинию, и о трудностях того времени можно судить по тому факту, что из компании в сто пятьдесят два человека были

джентльменами-авантюристами, такими же нуждающимися, как и он, и никто из них не искал изгнания из-за религии.

Путешествия Смита в Америку не принесли ему ничего, кроме горечи. Он вернулся в Англию и провел свои последние годы в безвестности и заброшенности, и, возможно, судьба, ожидавшая солдат при Джеймсе, нигде не была описана лучше, чем в собственных словах Смита. Он потратил пять лет и более пятисот фунтов стерлингов на службу Вирджинии и Новой Англии, но “ни в том, ни в другом” ... у меня нет ни одного фута земли, ни самого дома, который я построил, ни земли, которую я копал своими руками, ни вообще какого-либо содержания или удовлетворения, и хотя я обычно вижу эти две страны, разделяемые передо мной теми, у кого их нет, и кто знает их только по моим описаниям”.^[323]

Пока правила аристократия времен Тюдоров, Великобритания давала мало утешения таким людям, как Смит. У этой аристократии не было таланта ни к авантюрам, ни к войне, и немногие западные страны имеют более печальную военную историю, чем Англия при Стюартах. И все же под инертной массой знати бурлила энергия, которой предстояло заново централизовать мир; и когда капитал накопился до определенной точки, люди, давшие ему выход, наложили свою руку на государство. В 1688 году королевство завоевали коммерческие авантюристы.

Перемена была радикальной; одновременно социальной, политической и религиозной. Оплотом тори была королевская прерогатива. Победители передали власть короны комитету, избранному Палатой общин. Догма божественного права немедленно исчезла, а вместе с ней и все, что отличало англиканство. Хотя этот великий догмат Церкви Генриха VIII и был извращен Тюдорами. это был, по крайней мере, пережиток эпохи воображения; и когдаторговцы смели его, исчезли все следы идеализма. С тех пор английская цивилизация стала чисто материалистическим явлением.

По мере ускорения движения общества консолидируются, а по мере консолидации общества претерпевают глубокие интеллектуальные изменения. Энергия перестает находить выход через воображение и принимает форму капитала; следовательно, по мере развития цивилизаций творческий темперамент имеет тенденцию исчезать, в то время как экономический инстинкт поощряется, и, таким образом, в мире появляются существенно новые разновидности людей.

Ничто так не грозит человечеству, как это таинственное и неумолимое ускорение движения, которое меняет методы конкуренции и пути торговли; ибо из-за него бесчисленные миллионы мужчин и женщин обречены на счастье или несчастье, так же несомненно, как звери и деревья, которые процветали в дикой природе, обречены исчезнуть, когда почва будет покорена человеком.

Римляне накопили сокровища, с помощью которых они управляли своей Империей, путем грабежа и порабощения мира. Империя, скрепленная этим сокровищем, рухнула, когда неблагоприятные обмены привели к тому, что итальянские слитки оказались на берегу Босфора. Ускоренное движение среди полуварваров Запада вызвало агонию крестовых походов, в ходе которых пал Константинополь, когда восстали итальянские города; в то время как Венеция и Генуя, а вместе с ними и вся арабская цивилизация пришли в упадок, когда Португалия установила прямое сообщение с Индостаном.

Открытие океана в качестве магистрали ускорило Реформацию и построило Антверпен, в то время как в конце концов оно разорило Испанию; и, наконец, последнее великое оживление

эпохи пара, которое централизовало мир в Лондоне, залило землю кровью от Миссисипи до Ганга. Таким образом, религии проповедуются и забываются, империи возвышаются и падают, философии рождаются и умирают, искусство и поэзия расцветают и увядают по мере того, как общества переходят от распада, при котором воспламеняется воображение, к консолидации, давление которой заканчивается смертью.

В 1688 году, когда импульс развития Англии внезапно возрос, это изменение было равносильно завоеванию острова новой расой. Среди семьи европейских наций Великобритания поднялась так, как не поднимался ни один народ со времен Пунических войн. Почти мгновенно она вступила на путь завоеваний, не имеющий аналогов в современной истории. Из ста двадцати пяти лет, прошедших между Бойном и Ватерлоо, около семидесяти она провела в жестоких войнах, из которых вышла победительницей на суше и на море, хозяйкой могущественной империи, обладательницей неисчислимых богатств и центром мировых обменов. Затем, от этой кульминационной точки экспансии путем завоеваний, она незаметно перешла к периоду упадка, когда Рим пал перед ней при Цезарях.

Хотя обилие металлической валюты само по себе, вероятно, не создает торгового процветания, такое процветание вряд ли совместимо с уменьшающимся запасом денег; ибо, когда начинается сокращение и цены падают, производители и должники разоряются, как они были разорены в Италии при более поздних императорах. К концу семнадцатого века Европа, казалось, оказалась на грани такого сокращения, поскольку, хотя Перу щедро пополнило запасы драгоценных металлов сто лет назад, утечка в Азию и растущие потребности торговли были настолько значительными, что стандартная монета в целом обесценилась. Начиная с правления Августа, торговля между Европой и Азией обычно шла в пользу Азии, и это было особенно верно для семнадцатого века, когда стоимость слитков на Западе упала и, следовательно, способствовала щедрому экспорту на Восток, где они сохранили свою покупательную способность. Согласно Адаму Смиту, “банки Венеции, Генуи, Амстердама, Гамбурга и Нюрнберга, по-видимому, были изначально созданы” для обеспечения идеальной валюты для расчетов по переводным векселям, и деньги “таких банков, будучи лучше, чем обычная валюта страны, обязательно имели *agio*, которое было больше или меньше, в зависимости от того, предполагалось, что валюта была более или менее обесценена ниже государственного стандарта”.^[324] Смит оценил обесценение в Гамбурге в четырнадцать процентов, а в Амстердаме в начале прошлого века - в девять процентов. короче говоря, пострадали все европейские страны, но в Англии зло достигло апогея благодаря инертности новой аристократии.

В Англии серебро всегда было стандартом, и к третьему году правления Елизаветы монете вернули надлежащую чистоту, которая с тех пор тщательно поддерживалась. Но хотя правительство не ухудшало качество металла, запасы слитков, если они не пополнялись постоянно извне, имели тенденцию уменьшаться пропорционально росту страны и экспорту звонкой монеты в Азию. После открытия Америки стоимость серебра по отношению к золоту упала в Европе примерно до четырнадцати-пятнадцати к одному, в то время как в Китае или Индии она оставалась довольно стабильной - от десяти до двенадцати к одному. Следовательно, начиная с 1600 года серебро оставалось самым выгодным грузом, который можно было отправить вокруг мыса Доброй Надежды, и, к несчастью для британского процветания, в тот самый момент, когда возникла Ост-Индская компания, пиратство прекратилось. Основной запас слитков был, таким образом, перекрыт, нагрузка от экспортной

торговли легла на монету, и в течение чуть более чем одного поколения эффект стал очевиден в вырождении валюты.

Чтобы укрепить свое положение центра обмена, у Англии не было иного выбора, кроме как снабжать себя всем необходимым силой. Кромвель прекрасно понимал ситуацию и едва вступил в должность протектора, как уже строил планы искоренить зло в корне, завоевав Испанскую Америку и лишив Испанию ее рудников. С этой целью он снарядил свою великую экспедицию против Сан-Доминго, который должен был служить ему базой; но на этот раз его военный гений подвел его, его командиры допустили грубую ошибку, атака провалилась, и в результате кампании остался только остров Ямайка.

Однако тем временем, чтобы не терять времени в борьбе за сами рудники, Кромвель послал Блейка перехватывать корабли с сокровищами у берегов Испании. Поначалу Блейку тоже не везло. В 1655 году флот тарелок ускользнул от него, но в следующем году, хотя он и был вынужден отправиться в порт за припасами, он отправил капитана Стейнера с шестью парусами в круиз у Кадиса, и 19 сентября генерал Монтегю смог сообщить, что его “сердце [было] очень согрето предчувствием исключительного провидения Божьего”, который позволил Стейнеру встретиться “с кинжалом испанского вест-индского флота” и взять среди других призов “галлион, на борту которого, по сообщениям, было два миллиона кусочков тарелок”.^[325] Если “тарелкой” были мексиканские “восьмерки” по четыре шиллинга и шесть пенсов, то груз стоил 450 000 фунтов стерлингов, или значительно больше, чем весь ежегодный экспорт на Восток в начале восемнадцатого века. Если бы Протектор был жив, не может быть никаких сомнений в том, что с помощью подобных средств он приумножил бы британские ресурсы и сохранил целостность британской монеты; но менее чем через два года после отправки Монтегю Кромвель был мертв, а инертность землевладельцев-тори парализовала нацию на следующее поколение. Ни один иностранец не был ограблен, и запасы отечественного серебра сокращались из года в год, пока во время революции золотая гинея, которая с момента своего первого выпуска в 1662 году и до восшествия на престол Вильгельма и Марии номинально стоила двадцать шиллингов, фактически не была продана на рынке за тридцать шиллингов из тех денег, которые были в ходу.

“Это уменьшение количества денег и подделка их были в то время настолько чрезмерными, что то, что было хорошим серебром, стоило едва ли половину его нынешней стоимости, в то время как большая часть монет была покрыта только железом, латуной или медью, а некоторые были просто вымыты”.^[326]

Одним из первых актов нового правительства была полная перечекалка монет, которая была завершена в 1699 году; но эта мера не достигла своей цели по той причине, что экспорт серебра регулярно превышал импорт.

В 1717 году комитет Палаты лордов рассмотрел состояние валюты, и тогда лорд Стэнхоуп очень доходчиво объяснил причину нехватки серебра. Среди других документов он представил отчет Таможни, из которого следовало, что в 1717 году “Ост-Индская компания экспортировала около трех миллионов унций серебра, что намного превышало импорт слитков в том году, из этого неизбежно следовало, что огромное количество серебра должно было быть переплавлено как для покрытия экспорта, так и для снабжения серебряных дел мастера”.^[327] За десятилетие с 1711 по 1720 год ежегодный экспорт слитков Ост-Индской компанией составлял в среднем 434 000 фунтов стерлингов.^[328] При восшествии на престол Георга III. в 1760 году лорд Ливерпуль

подсчитал, что шиллинги потеряли одну шестую, а шестипенсовики - четверть своего первоначального веса, в то время как монета в виде кроны почти полностью исчезла.[329] Даже Адам Смит признал, что из-за этого оттока серебро выросло в цене и, вероятно, на него было куплено “больше количество как рабочей силы, так и товаров”, чем могло бы быть в противном случае.[330]

В этой чрезвычайной ситуации британские торговцы проявили находчивость, которая всегда была их отличительной чертой, и, за неимением достаточного запаса звонкой монеты, снизили нагрузку на свою валюту, выпустив бумажные деньги. Средневековое банковское дело не пошло дальше создания резервов монет, которые служили средством расчетов по переводным векселям; англичане сделали большой шаг по ускорению обращения своих денег, используя этот резерв в качестве основы для бумажной валюты, которая могла быть значительно расширена. Банк Англии был зарегистрирован в 1694 году, Банк Шотландии - в 1695 году, и эффект, несомненно, был значительным. Адам Смит так описал импульс, полученный Глазго:

“Последствия этого были именно такими, как описано выше. Бизнес в стране почти полностью осуществляется с помощью бумаг различных банковских компаний, с помощью которых обычно совершаются покупки и платежи всех видов. Серебро появляется очень редко, за исключением размена банкноты в двадцать шиллингов, а золото все еще продается. Но, тем не менее, поведение всех этих различных компаний не было безупречным ... страна, несмотря на это, очевидно, извлекла большую выгоду из их торговли. Я слышал, как утверждали, что торговля города Глазго удвоилась примерно за пятнадцать лет после открытия там первых банков; и что торговля Шотландии увеличилась более чем вчетверо с момента открытия двух государственных банков в Эдинбурге”.[331]

Но, хотя благодаря этому была достигнута определенная степень облегчения и хотя цены медленно росли на протяжении первой половины XVIII века, фундаментальная трудность оставалась. Серебра для экспорта было недостаточно, обмены были неблагоприятными, и не хватало того запаса чеканных денег, который является формой, в которую облекается сила в высокоцентрализованных сообществах. То, как Англия в конце концов удовлетворила свои потребности, - одна из самых драматических страниц истории.

Как метко заметил Джевонс, Азия является “великим резервуаром и поглотителем драгоценных металлов”. С незапамятных времен восточным обычаем было копить, и от магната, сверкающего алмазами Голконды, до крестьянина, голодающего на свои жалкие гроши, у каждого индуса в прежние времена было сокровище, припасенное на случай неприятностей. Год за годом, с тех пор как Писарро убил инку Атауальпу ради его золота, поток слитков потек из Америки в Европу, а из Европы на Восток: там они исчезли так бесследно, как будто их снова похоронили в недрах рудника. Эти сокровища, сбережения миллионов людей на протяжении веков, захватили англичане и увезли в Лондон, как римляне увезли добычу из Греции и Понта в Италию. Какова была стоимость клада, никто не может оценить, но это, должно быть, были многие миллионы фунтов стерлингов — огромная сумма по сравнению с запасами драгоценных металлов, которыми тогда владели европейцы. Некоторое представление о добыче завоевателя можно составить из описания Маколеем первого визита английского солдата в восточную сокровищницу:

Что касается Клайва, то его приобретениям не было предела, кроме его собственной умеренности. Перед ним распахнулась сокровищница Бенгалии. По обычаю индийских князей, там были сложены огромные массы монет, среди которых нередко можно было обнаружить флорины и византы, на которые венецианцы закупали восточные продукты и пряности еще до того, как какой-либо европейский корабль обогнул мыс Доброй Надежды. Клайв ходил между грудями золота и серебра, увенчанный рубинами и бриллиантами, и был волен взять что угодно сам”.[332]

Жизни немногих людей известны лучше, чем жизни Клайва и Гастингса, и все же есть немногие, чье влияние на судьбу человечества было оценено столь скудно. Не будет преувеличением сказать, что судьба Европы зависела от завоевания Бенгалии. Роберт Клайв принадлежал к тому же роду, что Дрейк и Хокинс, Рейли, Блейк и Кромвель; он был старшим сыном одного из тех мелких фермеров, чьи предки владели своей землей со времен Завоевания и которые, когда их наконец выселили и изгнали за море, сражались и завоевывали на каждом континенте и в каждом океане. Среди толпы великих английских авантюристов нет никого более великого, чем он.

Он родился в 1725 году и с детства проявлял те качества, которые делали его выдающимся на поле боя; сражаться было его наслаждением, и характер у него был настолько свирепый, что семья не могла его контролировать. Наконец, когда ему исполнилось восемнадцать, отец с радостью отправил его в Мадрас клерком на службу в Ост-Индскую компанию; и там, в жарком климате, который подорвал его здоровье, бедный и заброшенный, одинокий и заброшенный, он тосковал, пока в меланхолии дважды не предпринял попытку самоубийства. Но ему было суждено основать империю, и наконец его час настал.

Когда Клайв отправился в Индию, Компания все еще была чисто коммерческим предприятием, владела только землей, необходимой для ее складов, и получала жалованье от нескольких плохо дисциплинированных сипаев. В 1746 году, когда Клайву был двадцать один год, бушевала война за австрийское наследство, и внезапно французский флот под командованием Лабурдонне появился у Мадраса и атаковал форт Сент-Джордж. Соппротивление было безнадежным, местечко сдалось, а губернатор и главные жители были доставлены в Пондишери. Клайву, однако, удалось сбежать, и, вызвавшись добровольцем, он получил звание прапорщика и начал свою военную карьеру.

Вскоре после этого в Европе был заключен мир, но в Индии исход борьбы между французами и англичанами оставался нерешенным, и призом был полуостров. Дюпле, французский губернатор Пондишери, был человеком выдающегося интеллекта, который первым увидел возможность построения европейской империи в Индостане путем контроля над местными князьями. Следуя своей идее, он ввязался в войну за престолонаследие и, преуспев в установлении суверена Декана, сделал себя хозяином Южной Индии. Сокровищница Низама была открыта перед ним, и, помимо множества ценных драгоценностей, он, как говорят, присвоил двести тысяч фунтов стерлингов монетами. Это был человек, на которого Клайв, будучи всего лишь двадцатипятилетним клерком, без военного образования или опыта, напал и сверг.

Клайв начал свои кампании с захвата и обороны Арко, одного из самых смелых подвигов поколения, посвятившего себя вечной войне. С помощью своих местных союзников французы осадили Трихинополис, и Клайв объяснил своему начальству, что от судьбы Трихинополи

зависит судьба всего полуострова. Он рекомендовал совершить отвлекающий маневр, напав на Арко, столицу Карнатик; его план был одобрен, и с двумя сотнями европейцев и тремя сотнями сипаев он выступил на битву с величайшей державой Востока. Ему удалось застать город врасплох и занять его без потерь, но когда он оказался внутри города, началась настоящая опасность. В Арко не было ни рвов, ни пригодных для обороны валов, у англичан не хватало провизии, и набоб поспешил выдвинуть десять тысяч человек, чтобы освободить свою столицу. С четырьмя офицерами, ста двадцатью британцами и двумястами сипаями Клайв удерживал город в течение пятидесяти дней, и когда враг атаковал в последний раз, он обслуживал свои собственные орудия. Он одержал решающую победу и с того часа был признан одним из самых блестящих офицеров мира.

Последовали другие кампании, но его здоровье, подорванное тропиками, пошатнулось, и в двадцать семь лет он вернулся домой, чтобы промотать свои деньги и участвовать в выборах в парламент. Вскоре его ресурсы подошли к концу, и незадолго до начала Семилетней войны он получил чин подполковника и отправился в плавание, чтобы принять командование в Индостане. Компания назначила его губернатором Форта Сент-Дэвид, поселения недалеко от Мадраса; но едва он вступил в должность, как произошло событие, которое привело к завоеванию Бенгалии. Бенгальский набоб захватил Калькутту и заточил сто сорок шесть жителей Англии в “Черную дыру”, где за одну ночь погибло сто двадцать три человека.

Был вызван Клайв, который действовал со своей обычной энергией. Он разгромил армию Набоба, отвоевал Калькутту и немедленно свершил бы месть, если бы не вмешались мирные жители, которые хотели, чтобы их вернули на свои места.

Последовали долгие и извилистые переговоры, в ходе которых Клайв проявил более чем восточную хитрость и двуличие, закончившиеся походом во внутренние районы страны и битвой при Плесси. Там, с тысячей англичан и двумя тысячами сипаев, он встретился и разгромил шестидесятитысячную армию набоба. 23 июня 1757 года одна из богатейших провинций Азии лежала перед ним беззащитная, готовая к разграблению. Восемьсот тысяч фунтов были отправлены по реке Хугли в Калькутту одной партией; сам Клайв взял от двухсот до трехсот тысяч фунтов.

Подобно Дрейку и Хокинсу, Клайв совершил великие дела для Англии, но он был военным авантюристом, одним из тех, в ком аристократия видела врага; и хотя в Лондоне к нему относились с внешним уважением и даже присвоили звание ирландского пэра, землевладельцы ненавидели его и пытались уничтожить, как в следующем поколении они пытались уничтожить Гастингса.

По поводу разграбления Индии не может быть лучшего авторитета, чем Маколей, который занимал высокий пост в Калькутте, когда еще помнили администрацию Гастингса; и который меньше, чем кто-либо из писателей, следовавших за ним, был рупором чиновничьего класса.^[333] Он рассказал, как после Плесси “посыпался поток богатства”, и он описал собственные достижения Клайва: “Мы можем с уверенностью утверждать, что ни один англичанин, начинавший с нуля, никогда, ни в какой сфере жизни не сколотил такого состояния в конце концов”. ранний возраст - тридцать четыре года”.^[334] Но доходы Клайва, как для себя, так и для правительства, были ничтожны по сравнению с массовым грабежом и разграблением, последовавшими за его отъездом, когда Бенгалия стала беспомощной добычей множества жадных чиновников. Эти чиновники были абсолютными, безответственными и алчными, и они

опустошили частные запасы. Их единственной мыслью было как можно быстрее выжать из туземцев несколько сотен тысяч фунтов стерлингов и поспешить домой, чтобы продемонстрировать свое богатство.

“Таким образом, в Калькутте были быстро накоплены огромные состояния, в то время как тридцать миллионов человеческих существ были доведены до крайности нищеты”.

“Неправильное управление англичанами было доведено до такой степени, что кажется едва ли совместимым с самим существованием общества. Римский проконсул, который за год или два выжал из провинции средства на строительство мраморных дворцов и бань на берегах Кампании, на питье из янтаря, на пиршествах с певчими птицами, на показ армий гладиаторов и стад камелопардов; испанский вице-король, который, оставив позади проклятия Мексики или Лимы, въехал в Мадрид с длинной вереницей золоченых карет и лошадей, запряженных в капканы и подкованных серебром, теперь был превзойден”.[\[335\]](#)

Таким образом, сокровища океанов перетекали в Англию через частные руки, но в Индии дела Компании шли все хуже и хуже. Неправильное правительство привело к обнищанию людей, сбережения, накопленные за долгие годы тяжелого труда, были исчерпаны, и когда в 1770 году засуха привела к массовому голоду, ресурсы людей иссякли, и они погибли миллионами: “сами улицы Калькутты были забиты умирающими”. Затем последовала вспышка гнева разочарованных акционеров; землевладельцы воспользовались случаем, чтобы напасть на Клайва в парламенте; и торговцы выбрали Гастингс для разработки ресурсов Индостана.

Как сказал Шеридан, Компания “распространила грязные принципы своего происхождения на все свои последующие операции, связав с их гражданской политикой и даже с их самыми смелыми достижениями подлость корабейника и расточительность пиратов”. В Гастингсе Компания нашла подходящего человека, государственного деятеля, достойного организовать огромную империю на экономической основе. Способный, смелый, хладнокровный и безжалостный, он с первого взгляда схватывал ситуацию и никогда не колебался в достижении своей цели. Если нужно было выжать из туземцев еще больше сокровищ, необходимо было систематически применять силу. Хотя Бенгалия могла быть разорена, сокровища соседних властителей оставались в безопасности, и Гастингс намеренно пустился в их опустошение. Маколей объяснил политику и мотивы, которые им двигали: —

“Целью его дипломатии в то время было просто получить деньги. Финансы его правительства находились в затруднительном положении, и это затруднительное положение он был полон решимости облегчить каким-либо способом, честным или подлым. Принцип, которым руководствовались все его отношения с соседями, в полной мере выражен старым девизом одной из великих хищнических семей Тевингдейла: ‘Ты будешь хотеть раньше, чем я захочу’. Он, по-видимому, выдвинул в качестве фундаментального положения, которое не может быть оспорено, что, когда у него не было столько лаков рупий, сколько требовалось для государственной службы, он должен был брать их у любого, у кого они были. Одно, действительно, можно сказать в его оправдание. Давление, оказанное на него его работодателями дома, было таким, какое могла выдержать только высшая добродетель, таким, которое не оставляло ему иного выбора, кроме как совершить большие проступки или уйти со своего высокого поста, а вместе с этим постом и со всеми его надеждами на богатство и отличия”.[\[336\]](#)

Как он получил свои деньги, обещания, которые он нарушил, и кровь, которую он пролил, известны, как известны немногие отрывки из истории, поскольку эта история была рассказана Маколеем и Берком. Как он лишил Набоба Бенгалии половины дохода, который Компания торжественно обещала выплачивать, как он отказался от доходов, которые правительство обязалось передавать Моголу в качестве дани за уступленные им провинции, и как в обмен на четыреста тысяч фунтов стерлингов он послал бригаду убивать рохильяс и спокойно наблюдал, как “их деревни сжигаются, их детей убивают, а их женщин насилуют”, было описано в одном из самых популярных эссе на этом языке. При импичменте Гастингса самым тяжким обвинением против него было то, что основывалось на его поведении по отношению к принцессам Уде, которых его приспешник Асаф-уль-Доула заключил в тюрьму и морил голодом, чьих слуг он мучил и с которых в конце концов выжал тысячу двести тысяч фунтов стерлингов в качестве платы за кровь. Благодаря этим и подобным им действиям сокровища, которые утекли в Европу в результате истребления перуанцев, были снова возвращены в Англию из сокровищниц покоренных индусов.

ГЛАВА XI

СОВРЕМЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Обсуждая феномены высокоцентрализованного общества, в котором он жил, Милль определил капитал “как накопленный запас человеческого труда”. Другими словами, капитал можно рассматривать как накопленную энергию; но большая часть этой энергии течет по фиксированным каналам, одни только деньги способны быть немедленно преобразованы в любую форму деятельности. Таким образом, приток индийских сокровищ, значительно увеличив денежный капитал страны, не только увеличил запас ее энергии, но и значительно повысил ее гибкость и быстроту передвижения.

Очень скоро после Плесси бенгальские трофеи начали прибывать в Лондон, и эффект, по-видимому, был мгновенным, поскольку все авторитетные источники сходятся во мнении, что “промышленная революция”, событие, отделившее девятнадцатый век от всех предшествующих времен, началась с 1760 года. По словам Бейнса, до 1760 года оборудование, используемое для прядения хлопка в Ланкашире, было почти таким же простым, как в Индии;^[337] примерно в 1750 году английская металлургическая промышленность находилась в полном упадке из-за вырубки лесов ради топлива. В то время четыре пятах железа, использовавшегося в королевстве, поступало из Швеции.

Битва при Плесси произошла в 1757 году, и, вероятно, ничто и никогда не могло сравниться с быстротой последовавших перемен. В 1760 году появился летающий челнок, и уголь начал заменять древесину при выплавке. В 1764 году Харгривз изобрел прядильную машину, в 1779 году Кромптон изобрел мула, в 1785 году Картрайт запатентовал механический ткацкий станок, и, что важнее всего, в 1768 году Ватт создал паровую машину, самый совершенный из всех источников централизованной энергии. Но хотя эти машины служили отдушинами для ускоряющегося движения времени, они не вызывали этого ускорения. Сами по себе

изобретения пассивны, многие из наиболее важных столетиями бездействовали, ожидая, пока накопится достаточный запас энергии, чтобы заставить их работать. Это хранилище всегда должно принимать форму денег, причем денег не накопленных, а находящихся в движении.

Таким образом, книгопечатание было известно в Китае с незапамятных времен, прежде чем оно пришло в Европу; римляне, вероятно, были знакомы с порохом; револьверы и пушки, заряжающиеся с казенной части, существовали в пятнадцатом и шестнадцатом веках, а эксперименты с паром проводились задолго до рождения Уатта. Наименьшая часть труда Уотта заключалась в разработке своей идеи; он потратил свою жизнь на ее маркетинг. До притока индийских сокровищ и последовавшего за этим расширения кредита не существовало сил, достаточных для этой цели; и если бы Уотт жил на пятьдесят лет раньше, он и его изобретение погибли бы вместе. Учитывая трудности, с которыми Мэтью Боултон, самый способный и энергичный производитель своего времени, едва не погиб, никто не может сомневаться, что без работ Боултона в Бирмингеме двигатель не был бы произведен, и все же до 1760 года такие работы не могли быть организованы. Фабричная система была порождением “промышленной революции”, и до тех пор, пока капитал не накопился в массах, способных придать солидность большим коллективам рабочих, производством неизбежно занимались разрозненные люди, которые сочетали ремесло с сельским хозяйством. Хорошо известно очаровательное описание Галифакса Дефо о том времени, когда Боултон учился своему ремеслу:

“Чем ближе мы подъезжали к Галифаксу, тем больше становились дома, а деревни - во всех уголках; ... поскольку земля была разделена на небольшие участки, от двух акров до шести-семи каждый, редко больше, на каждых трех-четырех участках земли имелся дом.

Короче говоря, после того, как мы взобрались на третий холм, мы обнаружили, что местность представляет собой сплошную деревню, хотя и гористую во всех отношениях, где едва ли один дом стоит на расстоянии разговора от другого; и, когда день прояснился, мы могли видеть в каждом доме палатку, и почти на каждой палатке кусок ткани, керси или шеллон; это три предмета труда этой страны

Тогда кажется, что это место было задумано провидением именно для тех целей, которым оно сейчас предназначено.... Кроме того, индустрия людей не желает прикрываться этими преимуществами. Хотя мы встретили мало людей без дверей, но внутри мы увидели дома, полные крепких парней, одни у красильного чана, другие у ткацкого станка, третьи выделывают ткани; женщины и дети чесали или пряли; все были заняты от мала до велика; вряд ли кто-то старше четырех лет, но рук у него было достаточно, чтобы прокормиться самому. Не видно ни нищего, ни праздного человека, разве что тут и там в богадельнях, построенных для тех, кто устарел и перестал работать. Люди в целом живут долго; они наслаждаются хорошим воздухом; и при таких обстоятельствах тяжелый труд, естественно, сопровождается благословением здоровья, если не богатства”.[\[338\]](#)

Таким образом, скорее капиталисту, чем изобретателю, цивилизация обязана паровым двигателем как частью повседневной жизни, и Мэтью Боултон был одним из самых замечательных представителей расы производителей, чье правление длилось вплоть до Ватерлоо. По преданию, Боултоны были фермерами из Нортгемптоншира, но дед Мэтью столкнулся с неудачами при Уильяме и отправил своего сына в Бирмингем искать счастья в торговле. Там авантюрист зарекомендовал себя как серебряный чеканщик, и там в 1728 году родился Мэтью. Юный Боултон рано проявил энергию и изобретательность, а по достижении

совершеннолетия стал партнером своего отца, с тех пор управляя бизнесом. В 1759 году, через два года после завоевания Бенгалии, отец умер, и Мэтью, женившись в 1760 году, мог бы отойти от дел на правах собственности своей жены, но предпочел глубже погрузиться в торговлю. Расширяя свои работы, он построил знаменитые магазины в Сохо, которые закончил в 1762 году, потратив 20 000 фунтов стерлингов - долг, который, вероятно, остался за ним до конца его жизни.

Боултон заключил партнерство с Уаттом в 1774 году, а затем начал производить паровую машину, но столкнулся с огромными трудностями. Прежде чем продажи принесли какую-либо отдачу, затраты поставили его на грань банкротства; и он не добился успеха, пока не исчерпал свои собственные ресурсы и ресурсы своих друзей.

“Он заложил свои земли до последнего фартинга; брал займы у своих личных друзей; собирал деньги с помощью аннуитетов; получал авансы от банкиров; и вложил в предприятие свыше сорока тысяч фунтов стерлингов, прежде чем оно начало приносить прибыль”.^[339]

Сельское хозяйство, так же как и промышленность, почувствовало импульс новой силы. Артур Янг заметил в 1770 году, что в течение десяти лет в сельском хозяйстве было “больше экспериментов, больше открытий и больше здравого смысла в целом, чем в сотне предыдущих”; и причина, по которой такое движение должно было произойти, кажется очевидной. После 1760 года возникла сложная система кредитования, основанная на металлических ценностях, и те, кто мог брать займы, имели в своем распоряжении средства для импорта пород крупного рогатого скота и улучшения обработки почвы, а также для организации фабрик, подобных Сохо. В результате произошла быстрая централизация. Распространение высокоразвитого земледелия, безусловно, повысило стоимость земли, но это также сделало положение йоменов несостоятельным, и ничто лучше не показывает масштабы социальной революции, произведенной Плесси, чем способ, которым были огорожены пустоши после середины века. Между 1710 и 1760 годами было поглощено всего 335 000 акров общего достояния; между 1760 и 1843 годами - почти 7 000 000. За восемьдесят лет отряд йоменов вымер. Многие из этих мелких фермеров мигрировали в города, где более сильные, подобно предку сэра Роберта Пиля, накапливали богатство в промышленности, а более слабые переходили в руки фабрикантов. Те, кто остался на земле, трудились поденщиками.

Возможно, с начала существования мира ни одна инвестиция никогда не приносила такой прибыли, как индийская добыча, потому что почти пятьдесят лет у Великобритании не было конкурентов. То, что она так долго пользовалась монополией, на первый взгляд кажется загадочным, но, возможно, состояние Континента может подсказать объяснение. С тех пор как Италия была разорена потерей восточной торговли, она перестала воспитывать экономический склад ума; следовательно, ни один класс ее населения не мог внезапно и яростно ускорить свои перемещения. В Испании священник и солдат так основательно истребили скептиков, что ее империя, далекая от централизации в семнадцатом веке, как это сделали Англия и Франция, пришла в полный упадок во время революции 1688 года. Во Франции произошло нечто подобное, хотя и в гораздо меньшей степени. После полуторавековой борьбы Церковь в 1685 году одержала верх настолько, что добилась отмены Нантского эдикта. После отзыва многие гугеноты отправились в изгнание, и таким образом немалая часть экономического класса, который должен был сильнее всего давить на Англию, была изгнана за Ла-Манш, чтобы

добавить своей энергии к энергии туземцев. Германии не хватало капитала. Окруженная врагами и не имевшая морского побережья, она оказалась в невыгодном положении в грабительской войне; соответственно, она не накапливала денег и не могла консолидироваться до тех пор, пока в 1870 году не вымогала сокровище из Франции. Таким образом, в 1760 году конкурентом оставалась только Голландия, богатая, морская и населенная протестантами. Но Голландии не хватало массы, которой обладал ее великий противник, помимо отсутствия полезных ископаемых; и, соответственно, она не только не ускорила свой прогресс, но и оказалась неспособной поддерживать свои относительные темпы продвижения.

Таким образом, изолированная и благодетельствованная угольными и железными копями, Англия не только господствовала на европейском и американском рынках в то время, когда производство было до предела стеснено войной, но даже недооценивала индийскую рабочую силу в Калькутте. Каким-то несовершенным образом ее прибыль может быть оценена по росту ее долга, который должен представлять собой сбережения. В 1756 году, когда Клайв отправился в Индию, нация задолжала 74 575 000 фунтов стерлингов, по которым она выплатила проценты в размере 2 753 000 фунтов стерлингов. В 1815 году этот долг увеличился до 861 000 000 фунтов стерлингов с ежегодными процентами в размере 32 645 000 фунтов стерлингов. В 1761 году герцог Бриджуотер закончил строительство первого из каналов, которые впоследствии должны были образовать внутренний водный путь стоимостью 50 000 000 фунтов стерлингов, или более двух третей суммы государственного долга на момент начала Семилетней войны. Тем временем также был введен пар, построены фабрики, усовершенствованы шлагбаумы и возведены мосты, и все это делалось с помощью кредитной системы, распространявшейся по всей стране. Кредит - это избранный источник энергии в централизованных обществах, и как только в Лондоне накопилось достаточно сокровищ, чтобы заложить им основу, они взлетели на воздух с поразительной быстротой.

С 1694 года до Плесси рост был относительно медленным. В течение более шестидесяти лет после основания Банка Англии его самой мелкой банкнотой было 20 фунтов стерлингов, банкнота была слишком крупной, чтобы свободно обращаться, и которая редко уходила далеко от Ломбард-стрит. В 1790 году Берк упомянул, что, когда он приехал в Англию в 1750 году, в провинциях не было “двенадцати банковских лавок”, хотя тогда, по его словам, они были в каждом торговом городке.^[340] Таким образом, поступление бенгальского серебра не только увеличило массу денег, но и стимулировало их движение; ибо сразу же, в 1759 году, банк выпустил банкноты в 10 и 15 фунтов стерлингов, и в стране частные фирмы хлынули потоком бумаги. В начале наполеоновских войн в провинции насчитывалось около четырехсот домов, многие из которых были более чем сомнительной платежеспособности. Маклеод, который обычно не преувеличивает подобные вещи, сказал, что бакалейщики, портные и драпировщики наводнили страну своими жалкими лохмотьями.^[341]

Причиной такой неполноценности банкиров страны была алчность Банка Англии, который препятствовал образованию акционерных компаний, которые могли бы выступать в качестве конкурентов; и, поскольку период был периодом большого промышленного и коммерческого подъема, когда предприимчивые и производящие классы контролировали общество, в обращении находилось достаточное количество какой-либо валюты, чтобы предотвратить снижение цен на товары по отношению к монете. Покупательная способность валюты, при прочих равных условиях, пропорциональна ее количеству. Или, выражаясь словами Локка, “ценность денег в целом - это количество всех денег в мире, пропорциональное всей

торговле”.[342] В конце восемнадцатого века многие причины объединились, чтобы сделать деньги обильными и, следовательно, удешевить их. Не только запасы слитков в Англии увеличились за счет импорта из Индии, но и почти на целое поколение сократился экспорт серебра в Азию. В среднем с 600 000 фунтов стерлингов в год в период с 1740 по 1760 год поставки Ост-Индской компании наличными упали до 97 500 фунтов стерлингов в период с 1760 по 1780 год; и они не поднимались до своего прежнего уровня до тех пор, пока после закрытия администрации Гастингса торговля не вернулась в нормальное русло. После 1800 года поток увеличился, и между 1810 и 1820 годами годовая партия составляла 2827 000 фунтов стерлингов, или почти половину драгоценных металлов, добываемых на рудниках.

От крестовых походов до Ватерлоо в Европе доминировали производители, ростовщикам часто приходилось туго, о чем свидетельствует обращение с евреями. У всех, от самых высоких до самых низких, были товары на продажу: у фермера - его урожай, у ткача - его ткань, у бакалейщика - его товары, и все были заинтересованы в поддержании стоимости своих товаров относительно монеты, поскольку они проигрывали при продаже на падающем рынке. Постепенно, по мере обострения конкуренции после Реформации, сформировался тип, который, пожалуй, можно назвать торговцем-авантюристом; люди, подобные Чайлду и Боултону, смелые, энергичные, дерзновенные. Постепенно энергия все более и более свободно проявлялась через этих торговцев, пока они не стали правящей силой в Англии, их правление длилось с 1688 по 1815 год. В конце концов, они пали в самом расцвете своего гения. Богатство, которое они накопили так быстро, накапливалось, пока не возобладало над всеми другими формами силы, и тем самым привело к власти другую разновидность людей. Этими последними были современные банкиры.

С приходом банкиров цивилизация претерпела глубокие изменения, поскольку начался экономический спад. Личный интерес с самого начала научил производителя тому, что для процветания он должен иметь дело с товарами, стоимость которых имеет тенденцию скорее повышаться, чем падать по отношению к монете. Ростовщиком владел противоположный инстинкт; он обнаружил, что разбогател, когда деньги подорожали или когда заемщику пришлось расстаться с большим количеством имущества, чтобы выплатить свой долг, когда наступил срок его погашения, чем можно было бы купить на одолженные ему наличные в день заключения обязательства. Когда к концу восемнадцатого века огромные лондонские богатства перешли во владение людей последнего типа, на первый план вышла третья и наиболее грозная разновидность экономического интеллекта, разновидностью которого, возможно, наиболее ярким примером является семья Ротшильдов.

В одном из убогих и грязных домов еврейского квартала Франкфурта Майер Амшель родился в 1743 году. Дом имел номер 152 на Юденгассе, но был более известен как дом Красного Щита и дал свое название семье Амчел. Родители Майера выучили его на раввина; но, посчитав, что он лучше разбирается в финансах, он поступил на службу к ганноверскому банкиру по имени Оппенгейм и оставался у него до тех пор, пока не скопил достаточно денег, чтобы открыть собственное дело. Затем в течение нескольких лет он торговал старинными монетами, раритетами и слитками, женился в 1770 году, вернулся во Франкфурт, обосновался в доме Красного Щита и быстро продвинулся к богатству. Вскоре после этого он бросил торговлю диковинками, ограничившись банковским делом, и его большой шаг в жизни был сделан, когда он стал “Придворным евреем” ландграфа Гессенского. К 1804 году он уже был настолько

преуспевающим, что заключил договор с датским правительством о займе в размере четырех миллионов талеров.

У Майера было пятеро сыновей, которым он оставил свой бизнес и свое богатство. В 1812 году он умер, и, лежа на смертном одре, его последними словами были: “Скоро ты станешь богатым среди самых богатых, и мир будет принадлежать тебе”. [343] Его пророчество сбылось. Эти пятеро сыновей задумали и осуществили оригинальный и дерзкий план. В то время как старший оставался во Франкфурте и руководил родительским домом, четверо других переехали в четыре разные столицы: Неаполь, Вену, Париж и Лондон, и, постоянно действуя сообща, им удалось получить контроль над денежным рынком Европы, столь же беспрецедентный, сколь и прибыльный для них самих.

Из пяти братьев третий, Натан, обладал командирскими способностями. В 1798 году он поселился в Лондоне, женился в 1806 году на дочери одного из богатейших английских евреев, а к 1815 году стал деспотом Фондовой биржи; “пэры и принцы крови сидели за его столом, священнослужители и миряне склонялись перед ним”. У него не было вкусов ни литературных, ни общественных, ни артистических; “в своих манерах и обращении он, казалось, получал удовольствие от демонстрации своего полного пренебрежения всеми любезностями и удобствами цивилизованной жизни”; и когда его спросили о будущем его детей, он сказал: “Я хочу, чтобы они наделили его умом, душой”, и сердце, и тело — все для дела. Это способ быть счастливым”. [344] Чрезвычайно показной, хотя и без деликатности или признательности, “его особняки были заставлены произведениями искусства и самыми роскошными украшениями”. Его доброжелательность была капризной; процитирую его собственные слова: “Иногда, чтобы развлечь себя, я даю нищему гиней. Он думает, что это ошибка, и из страха, что я узнаю об этом, убегает изо всех сил. Я советую вам иногда давать нищему гиней. Это очень забавно”. [345]

Будучи удивительно смелым и беспринципным спекулянтом, Натан, вероятно, добился своих главных успехов благодаря искусству в кредитовании, и в этой области финансирования ему благоприятствовали времена, в которые он жил. Во время долгих войн Европа погрязла в долгах, выдавая займы в обесценившихся бумагах или монетах, которые были беспрецедентно дешевыми из-за обилия драгоценных металлов.

В 1809 году цены достигли наибольшей высоты, которой они когда-либо достигали в современной или даже, возможно, во всей истории. Есть что-то удивительно впечатляющее в этот момент времени, когда мир стоял на пороге новой эры. Современному глазу Наполеон достиг своего зенита. Повсюду одерживая победы, он разбил англичан в Испании и вынудил армию Мура высадиться в Корунье; в то время как при Ваграме он поверг Австрию в прах. Казалось, он вот-вот соперничал с цезарем и основал военную империю, которая должна была объединить народы континентальной Европы. И все же в действительности надвигалось одно из тех обширных и незаметных изменений, которые, изменяя условия, в которых люди соревнуются, меняют облик цивилизаций и которые привели в течение девятнадцатого века к решительному отказу от воинственного ума с богатым воображением.

В апреле 1810 года Боливар получил власть в Каракасе, и с началом южноамериканских революций гигантская, но наделенная богатым воображением испанская империя перешла в острую стадию распада. 19 декабря того же года император Александр открыл порты России для нейтральной торговли. Тем самым Александр отрекся от “континентальной системы”

Наполеона, сделал разрыв с ним неизбежным и, таким образом, привел к Московской кампании, разгрому Великой армии и завершению французских военных триумфов на холме Ватерлоо. С 1810 года природа благоволила ростовщическому уму, точно так же, как она благоволила ему в Риме после смерти Августа.

Более того, как в древней, так и в современной жизни первый симптом этой глубокой экономической и интеллектуальной революции был идентичным. Тацит описал панику, которая была непосредственной предвестницей роста цен на драгоценные металлы в первом столетии; и в 1810 году подобная паника произошла в Лондоне, когда цены внезапно упали на пятнадцать процентов,^[346] и когда самый известный биржевой магнат был разорен и убит. Великие дома Бэринга и Голдсмита предприняли переговоры о правительственном займе в размере 14 000 000 фунтов стерлингов. К удивлению этих выдающихся финансистов, ценности медленно падали, и в сентябре смерть сэра Фрэнсиса Бэринга ускорила кризис; Абрахам Голдсмит, доведенный до банкротства, в отчаянии покончил с собой; самые острые умы мгновенно восстали на трупах более слабых, а Ротшильды остались диктаторами мировых рынков. С того дня и по сей день медленное сокращение продолжалось лишь с перерывом немногим более чем в двадцать лет, когда золото Калифорнии и Австралии хлынуло ошеломляющим потоком; и с того дня и по сей день одна за другой сменяют друг друга те же серии явлений, которые восемнадцать столетий назад озаменовали выхолащивание Рима.

Во время заключения мира сошлись многие причины, вызвавшие рост денежной массы; экспорт слитков на Восток почти удвоился; Америка бурно развивалась, и добыча полезных ископаемых была прервана восстанием испанских колоний. И все же, каким бы благоприятным ни было положение класса кредиторов, его можно улучшить с помощью законодательства, и, вероятно, ни одна финансовая политика никогда не была так умело задумана или так искусно выполнена, как тот шедевр государственного искусства, который дал Ломбард-стрит контроль над валютой Великобритании.

Во времена правления производителей ценности, как правило, выравнивались путем удешевления валюты при падении цен. В четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом веках пенни систематически обесценивался, чтобы идти в ногу с растущей нехваткой серебра. Когда в 1561 году поток перуанских слитков достиг своего апогея, валюта восстановила свою пробы; но в 1601 году пенни потерял в весе еще полгранулины, и, хотя на монетном дворе его больше не фальсифицировали, вся чеканка монет так сильно пострадала от жесткого обращения, что при Стюартах она упала примерно до двух третей своей номинальной стоимости. При Вильгельме была произведена повторная чеканка монет, но затем на смену им пришла бумага, и деньги, находившиеся в обращении, продолжали приходить в упадок, поскольку не было предусмотрено изъятие легких монет. К 1774 году потери даже гвинеи стали настолько велики, что вмешался парламент, и лорд Норт рекомендовал “вернуть все дефицитные золотые монеты и отчеканить заново”, а также “в будущем обращение золотой монеты должно регулироваться как по весу, так и по номиналу”... и что несколько монет не должны быть законным платежным средством, если они были уменьшены в результате ношения или иным образом ниже определенного веса, который будет определен прокламацией”.^[347]

Такими средствами, как этот, целостность металлических денег была наконец обеспечена; но эмиссия бумажных денег оставалась неограниченной, и в 1797 году даже Банк Англии приостановил выплаты наличными. Затем цены выросли так, как никогда прежде, и в течение

первых десяти лет девятнадцатого века коммерческие авантюристы достигли своего расцвета. С 1810 года их власть пришла в упадок; но за несколько предыдущих поколений они сформировали настоящую аристократию, определяя законы и обычаи своей страны. Им нужно было много валюты, и они получали ее через Банк. Со своей стороны, директора признали эту обязанность своей главной функцией и установили в качестве принципа, что все законные коммерческие бумаги всегда должны быть дисконтированы. Если проценты росли, это означало нехватку денег, и они восполняли эту нехватку банкнотами.

Лорд Оверстоун так объяснил банковскую систему, которая была безоговорочно принята до 1810 года: “Предполагаемое обязательство удовлетворять реальные потребности торговли и дисконтировать все коммерческие векселя, возникающие в результате законных сделок, по-видимому, рассматривалось как принцип, на основании которого должен был регулироваться объем обращения”.^[348] И все же, как ни странно, даже противники этой системы признавали, что она работала хорошо. Такой твердый в своих взглядах человек, как Тук, не мог сдержать своего удивления, что “под руководством максим и принципов, столь необоснованных и имеющих такую явно пагубную тенденцию, как те, которые исповедовали управляющие и некоторые директора Банка в 1810 году, такая умеренность и ... такая регулярность эмиссии должна была сохраниться при случайностях и изменениях в политике и торговле, беспрецедентных по силе и размаху, поскольку должна была произойти спонтанная корректировка стоимости золота и бумажных денег, как это и произошло, без какого-либо сокращения их обращения”.^[349]

При такой системе валюта имела тенденцию падать, а не расти в цене по сравнению с товарами, и по этой причине владельцы огромных запасов оказывались в невыгодном положении. Чего хотели могущественные ростовщики, такие как Ротшильд, так это законного платежного средства с фиксированным количеством, которое, будучи неспособным расширяться для удовлетворения возросшего спроса, выросло бы в цене. Более того, им требовалось средство обращения, достаточно компактное, чтобы его контролировало сравнительно небольшое число капиталистов, которые, таким образом, при благоприятных условиях держали бы в своей власти все сообщество должников.

Если считать 1810 год точкой, с которой энергия, накопленная в денежных накоплениях, начала преобладать в Англии, то революция, закончившаяся свержением производителей, продвинулась, почти не сдерживаемая, к своему завершению “Законом о банках” 1844 года. Первым симптомом приближающихся перемен стал знаменитый “Комитет по ценным бумагам”, назначенный по предложению Фрэнсиса Хорнера в 1810 году. Этот отчет в высшей степени интересен, поскольку он знаменует собой эпоху, и в нем борьба за превосходство между кредитором и заемщиком представлена в полной мере. Для производителя товар был мерой стоимости; для банкира - монетой. Производитель искал валюту, которая сохраняла бы определенное соотношение ко всем товарам, одним из которых было золото. Банкир настоял на том, чтобы установить фиксированный вес металла, который он контролировал, стандарт, который не подлежал обжалованию.

Выдающийся торговец по фамилии Чемберс в своих показаниях Комитету изложил проблему в двух словах:—

В. “При монетной цене стандартного золота в этой стране, сколько золота стоит банкнота Банка Англии в один фунт?

А. “5 ст. 3 гр.

Вопрос “При текущей рыночной цене стандартного золота в 4,12 фунтов стерлингов за унцию, сколько золота вы получаете за банкноту Банка Англии за один фунт?

А. “4 ст. 8 гр.

Вопрос Считаете ли вы, что банкнота Банка Англии достоинством в один фунт при нынешних обстоятельствах может быть обменена в золоте на то, что она представляет из этого металла?

А. “Я не считаю золото более справедливым стандартом для банкнот Банка Англии, чем индиго или сукно”.

Хотя банкиры контролировали “Комитет по ценным бумагам”, коммерческие интересы все еще сохранялись в парламенте, и резолюции, предложенные председателем в его отчете, были отклонены в Палате общин большинством примерно два к одному. Ситуация, однако, изменилась, и, возможно, лучшим показателем момента, в который сместился баланс сил, может быть ход Пила. Из всех общественных деятелей своего поколения Пил обладал самым верным чутьем на самую сильную силу. Редко, если вообще когда-либо, этот инстинкт подводил его, и после 1812 года интуиция побудила его отделиться от отца; как позже в жизни это привело его к дезертирству из своей партии во время кризиса 1845 года. Первый сэр Роберт Пил, великий фабрикант, сколотивший состояние семьи, обладал инстинктом производителя и категорически выступал против сокращения производства. В 1811 году он проголосовал против доклада Комитета по ценным бумагам, и тогда его сын проголосовал вместе с ним. Однако после 1816 года младший Пил стал представителем Ломбард-стрит, и рассказывают, что, когда в июле 1819 года был принят законопроект, предусматривающий выплаты наличными, старик, выслушав великолепную речь своего сына, с горечью сказал: “Роберт удвоил свое состояние, но разорил свою страну”.^[350]

Вероятно, Ватерлоо ознаменовало начало новой эры, поскольку после Ватерлоо банкиры не потерпели серьезного поражения. Поначалу они почти не сталкивались с сопротивлением. Они начали с того, что отказались от серебра. В 1817 году правительство сделало $123\frac{374}{1000}$ граммов золота единицей ценности, монета, представляющая этот вес металла, перестала быть законным платежным средством при дефиците примерно на половину грана. Таким образом, стандарт был определен, оставалось обеспечить его соблюдение. К этому времени класс кредиторов выбрал Пила своим рупором, и в 1819 году он представил законопроект, предусматривающий выплаты наличными. Он не встретил особого сопротивления своей мере и предложил 1823 год в качестве времени возврата; так получилось, что дата была предвидена, и банкноты были погашены золотом с 1 мая 1821 года. Что касается чеканки монет, то этот закон завершил работу, но задача ограничения скидок осталась нетронутой, задача еще более важная, поскольку, пока Банк продолжал дисконтировать векселя и, таким образом, выпускать неограниченное количество банкнот всякий раз, когда повышалась процентная ставка, должники не только всегда могли выполнять свои обязательства, но и ценность денег не могла быть существенно увеличена. Этот вопрос был решен в связи с паникой 1825 года, вызванной Законом о возобновлении.

В 1797 году было приостановлено использование бумаги мелких номиналов для замены исчезнувшей монеты, но срок действия этого закона истек через два года после возвращения к денежным выплатам. Поэтому по прошествии времени начали поступать небольшие выпуски, и,

по словам Маклеода, к 1823 году тираж в стране сократился примерно на двенадцать процентов. Банк Англии также изъяс большое количество банкнот достоинством менее пяти фунтов и, чтобы восполнить пробел, накопил около двенадцати миллионов соверенов - массу золота, примерно равную добыче на рудниках за предыдущие семь или восемь лет. Это золото пришлось изъять из европейской валюты, и внезапное сокращение вызвало шок, который прокатился по всему Западу.

Во Франции чеканка золотых монет почти прекратилась, и цены сильно упали, снизившись на двадцать четыре процента в период с 1819 по 1822 год. И все же, возможно, наиболее яркая картина бедствия, вызванного этим поглощением золота, дана в отрывке, написанном Маклеодом, чтобы доказать, что поступок Пила не имел никакого отношения к катастрофе:

“Был один совершенно удовлетворительный аргумент, доказывающий, что низкие цены того года не имели ничего общего с Законом 1819 года, а именно, что цены на все виды сельскохозяйственной продукции были одинаково низкими по всему европейскому континенту по одной и той же причине. Колебания на континенте действительно были гораздо более сильными, чем даже в Англии.... Те же явления наблюдались в Италии. Аналогичное падение, но не в такой степени, произошло в Лиссабоне. Какое отношение может иметь Закон 1819 года к этим местам?”[351]

Тяжелая и затяжная депрессия, хотя и затронула всех производителей, особенно сильно сказалась на дворянстве, чьи поместья были обременены ипотеками и всевозможными выплатами, причем настолько, что часто имущество проседало ниже уровня своих обременений, а владельцы разорялись. На открытии парламента обе палаты были завалены петициями о помощи. Среди этих петиций одна из наиболее известных была представлена в Палату общин в мае 1822 года Чарльзом Эндрю Томпсоном из Чизвика, что свидетельствует об остроте положения должников, владеющих землей.

Томпсон, по существу, заявил, что в 1811 году он и его отец, будучи богатыми торговцами, приобрели поместье в Хартфордшире за 62 000 фунтов стерлингов, а впоследствии вложили еще 10 000 фунтов стерлингов в улучшения. Что в 1812 году они заключили контракт на другое поместье, цена которого составляла 60 000 фунтов стерлингов, но, поскольку возник вопрос о титуле, начался судебный процесс, и до вынесения судебного решения заявитель и его отец понесли такие убытки, что не смогли выплатить сумму, признанную причитающейся судом. После этого, чтобы собрать деньги, они заложили оба поместья за 65 000 фунтов стерлингов. В июле 1821 года оба поместья были выставлены на продажу, но они не смогли внести сумму, за которую были заложены. Поместья в других округах, которые стоили 33 166 фунтов стерлингов, были проданы за 12 000 фунтов стерлингов, и из-за спада в торговле заявители обанкротились. В 1822 году отец заявителя умер от разрыва сердца, а сам он остался разоренным человеком с семьей собственными детьми, десятью детьми своего брата и семью детьми своей сестры, которые все зависели от него.[352]

Казалось, что нация находится на грани некоторого потрясения, поскольку джентри едва ли заботились о том, чтобы скрыть свой план по реструктуризации как государственных, так и частных долгов. Страсти накалились, и в июне 1822 года последовали длительные дебаты по предложению мистера Вестерна изучить последствия возобновления выплат наличными. Это

предложение действительно потерпело поражение, но потерпело поражение из-за уступки, которая повлекла за собой катастрофу, до того времени не имевшую себе равных в опыте Великобритании. Чтобы спасти “Закон о возобновлении”, министерство в июле внесло законопроект об отсрочке выпуска мелких банкнот до 1833 года - мера, которая сразу же утихомирила волнения, но привела к самым далеко идущим и неожиданным результатам.

По словам Фрэнсиса, банки страны увеличили свои эмиссии на пятьдесят процентов в период с 1822 по 1825 год,[353] и это увеличение количества бумаг не было единственной или наиболее серьезной формой инфляции. Великий клад государей, накопленный банк, чтобы заменить свои небольшие заметки, был излишним; и, в пояснительной записке выступил директор в Палате общин, не менее чем за £14,200,000 были, как утверждалось, были брошены на руках в 1824 г. Это изменение политики.[354] эффект был создать настоящий избыток золота в Соединенное Королевство; цены выросли аварийно—пятнадцать процентов—между 1824 и 1825.

По мере того как цены росли, лихорадка спекуляций охватила людей, которые долгое время страдали от резкого экономического спада, а тем временем Банк, придерживаясь своей старой политики, свободно сбрасывал со счетов все приносимые им солидные счета. В 1824 году цены поднялись выше континентального уровня, и золото, которое в Лондоне было дешевле, чем в Париже, начало поступать туда. Банковские резервы неуклонно сокращались. В марте 1825 года лихорадка достигла своего апогея, и начался спад, в то время как директора, обеспокоенные состоянием своего резерва в мае, попытались ограничить свои выпуски. Следствием стало резкое сокращение, и в ноябре наступил крах. Г-н Хаскиссон заявил в Палате общин, что в течение сорока восьми часов было невозможно конвертировать даже государственные ценные бумаги в наличные. Казначейские векселя, банковские акции и акции Ост-Индии были одинаковонепригодны для продажи, и многие из богатейших лондонских купцов ходили по улицам, не зная, не окажутся ли они завтра неплатежеспособными. “Говорят, что” сам банк“, должно быть, прекратил платежи, и что мы были бы вынуждены перейти к бартеру, если бы не коробка, полная старых банкнот в один и два фунта, которая была обнаружена случайно”. [355] Что происходило в те дни в банковском зале, неизвестно. Вероятно, давление торговых классов стало слишком острым, чтобы ему можно было противостоять, возможно, даже самые сильные банкиры были встревожены; но, во всяком случае, финансовая политика полностью изменилась. Сокращение было прекращено, Банк вернулся к системе 1810 года, и в одно мгновение наступило облегчение. “Мы предоставляли кредиты всеми возможными способами и способами, которых мы никогда раньше не применяли; ... мы не только сразу сделали скидку, но и внесли авансы по переводным векселям на огромную сумму”. Банк выпустил банкноты на пять миллионов за четыре дня, и “эта дерзкая политика увенчалась самым полным успехом, паника была остановлена почти немедленно”. [356]

С распространением валюты, достаточной для обеспечения средств выплаты долгов, паника прошла, но катастрофа предоставила банкирам их возможность; они воспользовались ею, и с тех пор их влияние на общество никогда, ни на мгновение, не ослабевало. Администрация была дискредитирована и обратилась за помощью к единственным людям, которые обещали оказать им эффективную поддержку: это были капиталисты с Ломбард-стрит, первой заботой которых было добиться принятия закона, запрещающего мелкие банкноты, которые, как они утверждали, были причиной несчастья 1825 года. Закон, которого они требовали, был принят в 1826 году, и примерно в это же время получил известность Сэмюэл Лойд, который был,

возможно, величайшим финансистом современности. Осторожный и проницательный, хотя и решительный и смелый, одаренный удивительным проникновением в сложные причины, управляющие конкуренцией в современной жизни, он оказывал влияние на сменявшие друг друга администрации и подавлял самую яростную оппозицию. По-видимому, он никогда не колебался в своем курсе и вплоть до дня своей смерти насмехался над охваченными паникой директорами, которые спаслись от банкротства только благодаря тому, что случайно вспомнили и выдали “пачку старых выброшенных однофунтовых банкнот ... извлеченных из мусорного погреба в 1825 году”.[\[357\]](#)

Отец Лойда начал жизнь довольно скромно в качестве несогласного священника в Уэльсе, но после женитьбы он поступил на работу в манчестерскую фирму, а впоследствии основал в Лондоне house of Jones, Loyd and Co., впоследствии объединившийся в London and Westminster Bank, один из крупнейших концернов в мире. Фактически Сэмюэл стал преемником своего отца только в 1844 году, но гораздо раньше он стал признанным главой *monied interest*, и сэр Роберт Пил долгое время служил его лейтенантом. Лойд был человеком, разработавшим Закон о банках 1844 года, которому удалось завладеть валютой королевства и, следовательно, в чьих словах лучше всего выражена политика нового правящего класса:

“Бумажное обращение - это замена бумаги ... вместо драгоценных металлов. Следовательно, его количество должно быть равно тому, каким был бы объем обращения металла; и лучшим показателем этого является приток или отток слитков”.[\[358\]](#)

“В соответствии с положениями этого Закона [Закон о банках 1844 года] разрешается выпуск банкнот на сумму 14 000 000 фунтов стерлингов, как и раньше, то есть без обеспечения погашения банкнот по первому требованию, помимо юридического обязательства по их погашению. Но все колебания количества выпущенных банкнот сверх этих 14 000 000 фунтов стерлингов должны иметь прямое отношение к соответствующим колебаниям количества золота”.[\[359\]](#)

Таким образом, принцип Лойда, который он воплотил в своем уставе, заключался в жестком ограничении валюты весом золота, доступного для обмена на деньги. “Когда ... разрешается выпуск банкнот, количество которых в обращении всегда должно быть точно равно монете, которая была бы в обращении, если бы их не существовало ”.[\[360\]](#) В 1845 году Закон о банках был распространен на Шотландию, за исключением того, что там все еще допускались мелкие банкноты; распространение провинциальной бумаги было запрещено, и Англия вернулась к экономическому состоянию Византии — состоянию сокращения, в котором класс должников находится в прострации, поскольку законное платежное средство абсолютно ограничено, и когда кредиторы решают отозвать свои займы, платежи становятся невозможными.

Возможно, ни один финансист никогда не жил более талантливо, чем Сэмюэл Лойд. Несомненно, он понимал так, как понимали немногие люди даже более поздних поколений, могучий двигатель единого стандарта. Он понимал, что по мере расширения торговли неэластичная валюта должна расти в цене; он видел, что, располагая достаточными ресурсами, его класс мог бы добиться такого роста почти с удовольствием; конечно, они могли бы манипулировать им, когда это произойдет, используя в своих интересах иностранные валюты. Более того, он понимал, что после установления валюты ее курс может быть доведен до крайности и что, когда деньги подорожают, как в 1825 году, должникам придется отказаться от своей собственности на таких условиях, которые могут продиктовать кредиторы.

Более того, он рассуждал, что под давлением цены должны упасть до уровня ниже, чем в других странах, что тогда деньги потекут из-за рубежа, и в конечном итоге будет оказана помощь, даже если правительство не вмешается; что этот приток золота увеличит количество денег, тем самым снова повысив цены, и что, когда цены вырастут, залоги, утраченные в панике, могут быть перепроданы авансом. С присущей ему ясностью он объяснил принцип этого взлета и падения ценностей комитету Палаты лордов, который расследовал панику 1847 года:

“Денежно-кредитный кризис имеет тенденцию вызывать падение цен; это падение цен стимулирует экспорт и сокращает импорт; следовательно, оно имеет тенденцию способствовать притоку слитков. Я могу привести факт довольно поразительного характера, который имеет тенденцию показывать, что контрактная операция при обращении имеет тенденцию удешевлять стоимость нашей промышленной продукции и, следовательно, увеличивать наш экспорт”. Затем он заявил, что во время паники он получил письмо “от очень важного лица в Ланкашире”, в котором его умоляли использовать свое влияние на министерство, “чтобы быть твердым в поддержании закона, быть твердым в сопротивлении этим заявлениям о смягчении”, потому что в Ланкашире производители изо всех сил пытались “противостоять чрезмерно высоким ценам на хлопковое сырье”. “Это письмо пришло ко мне в то самое утро, когда было опубликовано письмо правительства [о приостановлении действия закона], и почти сразу же хлопок-сырец подорожал”.

Вопрос “Автор этого письма, вероятно, был человеком со значительным состоянием, очень богатым человеком, с большим капиталом для ведения своего бизнеса?”

А. “Он недавно отошел от дел. Я могу указать на другое обстоятельство, произошедшее в Лондоне, подтверждающее те же результаты. В течение получаса после того, как были разосланы записки о вызове Суда директоров ... стороны, вероятно, сделали вывод... узнав, что вот-вот произойдет смягчение, разослал приказы изъять товары из продажи, которая в то время продолжалась”.[\[361\]](#)

Полувековая история оправдала диагноз этого выдающегося финансиста. Как подчеркивали его преемники, политика Лойда не только привела к снижению цен по всему Западу, но и изменила облик цивилизации. В Англии катастрофа началась с принятия Закона о банках.

Как только этот закон вступил в силу, он неизбежно вызвал падение курса валюты в то время, когда золото дорожало из-за расширения торговли. Между 1839 и 1849 годами цены упали на двадцать восемь процентов, и, каким бы серьезным ни было это падение, оно кажется умеренным, учитывая условия, которые тогда преобладали. Добыча на рудниках была мизерной, и из этой добычи Индия ежегодно получала в среднем 2 308 000 фунтов стерлингов, или чуть более одной шестой части.

Америка росла с беспрецедентной энергией, промышленная конкуренция обострилась по мере падения цен, а год принятия “Закона о банках” стал годом, когда строительство железных дорог начало приобретать форму мании.

Крестьянство всегда является самой слабой частью любого населения, и поэтому цены на сельскохозяйственную продукцию наиболее чувствительны. Но ресурсы крестьян редко бывают большими, и по мере того, как ценность их урожая уменьшается, норма прибыли, на которую они живут, сокращается, пока в хорошие годы они не останутся с голыми средствами к существованию, а в плохие им грозит голод. Ирландские крестьяне были самой слабой частью

населения Великобритании, когда лорд Оверстоун стал верховным правителем, и когда в 1845 году был неурожай картофеля, они голодали.

Хотя землевладельцы потеряли свою власть над страной в 1688 году, они все же, вплоть до последней администрации Пила, сохранили достаточно сил, чтобы обеспечить защиту парламента от иностранной конкуренции. К 1815 году йоменство почти исчезло, земля принадлежала нескольким богатым семьям, доход которых зависел от арендной платы, а величина арендной платы зависела от цен на зерновые. Поэтому поддержание рынка пшеницы стало чрезвычайно важным для аристократии, и когда с заключением мира цены упали, они добились принятия закона, запрещающего импорт до тех пор, пока бушель не будет стоить дома десять шиллингов.

Этот статут, хотя в него часто вносились поправки для повышения его эффективности, частично не соответствовал своей цели. Падающая валюта сделала свое дело, цены упали, арендаторы обанкротились, и по мере роста стоимости денег обремененное имущество все чаще переходило в руки кредиторов. Таким образом, когда Пил вступил в должность в 1841 году, джентри рассматривали Хлебные законы как свою единственную надежду, а Пил - как избранного защитника; но прошло всего несколько лет, прежде чем стало очевидно, что политика Ломбард-стрит должна ускорить борьбу за жизнь между промышленниками и землевладельцами. Во время голода 1846 года наступил решающий момент, и когда сэр Роберт, по своему обыкновению, встал на сторону сильнейших и бросил своих сторонников на произвол судьбы, он всего лишь поддался порыву непреодолимой силы.

Как класс и землевладельцы, и фабриканты были должниками, и к 1844 году дешевый хлеб, казалось, был так же важен для одних, как дорогая кукуруза для других. При неуклонно падающем рынке производители увидели, что их норма прибыли сокращается, и в конце концов Манчестер и Бирмингем поверили, что им грозит разорение, если заработная плата не упадет пропорционально, или они не смогут расширить рынок сбыта своих товаров посредством международных обменов. Хлебные законы закрыли оба пути получения помощи; поэтому между промышленниками и аристократией разгорелась война не на жизнь, а на смерть. О жестокости нападения можно судить по насмешкам Кобдена над джентльменами, которые признавали, что бесплатная кукуруза означает неплатежеспособность: —

“Сэр Эдвард Нэтчбулл не смог бы произнести лучшей речи для Лиги, чем та, с которой он выступил недавно, даже если бы ему за это заплатили. Я так расхохотался, что он специально призвал меня к порядку, и я попросил у него прощения, потому что он последний человек на свете, которого я мог бы обидеть, мы все ему очень обязаны. Он сказал, что они не могли обойтись без этого Хлебного закона, потому что, если бы он был отменен, они не смогли бы выплачивать паевые взносы, взимаемые с их поместий. Лорд Маунткашел тоже (он не слишком проницателен) сказал, что половина земли была заложена, и они не могли бы выплачивать проценты, если бы у них не было налога на хлеб. В Ланкашире, когда человек влезает в долги и не может расплатиться, он обращается в *Gazette*, и то, что хорошо для производителя, я думаю, хорошо и для домовладельца”.^[362]

В таком соревновании джентри были побеждены, поскольку они были всего лишь первой попыткой природы создать экономический тип, и им противостояли более поздние формы, которые надолго отдалили их от жизненного соперничества. Брайт и Кобден, а также Ллойд и Пил принадлежали к расе, которая была вынуждена заняться торговлей из-за потери своих

владений счастливыми предками людей, оказавшихся в их власти в 1846 году. Сам Пил был сыном прядильщицы хлопка и внуком йомена, который лишь в зрелом возрасте оставил ручной ткацкий станок, чтобы сколотить состояние на “промышленной революции”.

В современной Англии, как и в древней Италии, слабейшие сдавались первыми, и мелкопоместное дворянство почти без сопротивления поддалось комбинации, которую против них организовала Ломбард-стрит. И все же, хотя фабриканты, казалось, торжествовали, их ликование было недолгим, ибо судьба нависла над ними даже в час их победы, которая всегда нависает над должником, когда валюта захвачена классом кредиторов. Благодаря “Закону о банках” ростовщики стали главенствовать, и в 1846 году урожай картофеля провалился еще больше, чем в 1845 году. Кредит всегда более чувствителен в Англии, чем во Франции, потому что он опирается на более узкую основу, а в тот момент он оказался под давлением чрезмерных железнодорожных займов. Благодаря свободной торговле кукурузой был произведен крупный импорт пшеницы, который оплачивался золотом. В банке начался отток средств, резерв был истощен, и ко 2 октября 1847 года директора отказали во всех дальнейших авансах. В течение трех лет после вступления в силу его устава произошло событие, которое предвидел Лойд. “Денежный кризис” начал снижать цены. Решение директоров отказаться от скидок вызвало “большое волнение на фондовой бирже. Городские и сельские банкиры поспешили продать свои государственные ценные бумаги, обратить их в деньги. Разница между ценой консолей за наличные и по счету от 14 октября показала процентную ставку, эквивалентную 50 процентам в год. Казначейские векселя продавались со скидкой 35долларов”... “Последовало полное прекращение частных скидок. Никто не захотел бы расстаться с деньгами или банкнотами, которые были у него. Торговцы предлагали самые непомерные суммы и отказывались от них”.^[363]

Дополнительное золото можно было получить только из-за границы, и поскольку должно было пройти значительное время, прежде чем наличные могли поступить в достаточном количестве, чтобы оказать помощь, фактически используемая валюта была единственным средством получения законного платежного средства для выплаты долгов. Следовательно, накопительство стало повсеместным, и, как впоследствии заметил канцлер казначейства, “объем обращения, который при обычных обстоятельствах был бы достаточным, стал недостаточным для удовлетворения потребностей общества”. Ящики с золотом и банкнотами в “тысячах и десятках тысяч фунтов стерлингов” были “сданы на хранение банкирам”. Торговцы, по словам канцлера, просили векселя: “Дайте нам векселя; ... нам все равно, какова процентная ставка.... Только скажите нам, что мы можем их заполучить, и это сразу восстановит доверие”.^[364]

Но после 2 октября нельзя было выпускать никаких банкнот, деньги были товаром без цены, и если бы политика “Закона о банках” строго соблюдалась, английские должники, по обязательствам которых наступал срок погашения, должны были бы лишиться своего имущества, поскольку кредит прекратил свое существование и нельзя было получить валюту для погашения их залогов.

Инстинкт ростовщика, однако, никогда не заключался в том, чтобы внезапно разрушить общество, в котором он жил: лишь постепенно он истощает человеческую жизнеспособность. Поэтому, когда крупные капиталисты удовлетворили свои аппетиты, они дали послабление. Со 2 по 25 октября контракции было позволено выполнять свою работу; затем вмешался

Оверстоун, правительству было поручено приостановить действие “закона”, а сообществу была обещана вся валюта, которая может потребоваться.

Эффект был мгновенным. Письмо кабинета министров, подписанное лордом Джоном Расселом, в котором директорам Банка рекомендовалось увеличить свои скидки, “было обнародовано около часа дня в понедельник, 25-го, и как только это было сделано, паника рассеялась, как сон! Мистер Герни заявил, что это произвело свой эффект за десять минут! Как только стало известно, что банкноты можно получить, нужда в них прекратилась!”^[365] Большие пачки банкнот были “возвращены в Банк Англии разрезанными пополам в том виде, в каком они были отправлены в страну”.

История этого кризиса показывает, что к 1844 году ростовщики в Лондоне стали автократами. Министерство, естественно, не желало приостанавливать действие закона, который только что был введен в действие, и удар по сэру Роберту Пиллю был особенно серьезным; но позиция правительства не допускала альтернативы. В то время говорили, что частные банкиры Лондона наемкнули канцлеру казначейства, что, если он немедленно не вмешается, они заберут свои остатки из Банка Англии. Это означало неплатежеспособность, и на такой аргумент ответа не последовало. Но независимо от того, зашло ли дело на самом деле так далеко или нет, не может быть сомнений в том, что кабинет действовал под диктовку Ломбард-стрит, поскольку канцлер казначейства защищал свою политику, заявив, что действие “закона” не было приостановлено до тех пор, пока “те, кто знаком с коммерческими делами и с наименьшей вероятностью примут решение в пользу курса, который мы в конечном итоге приняли”, единогласно не посоветовали оказать помощь торговому сообществу.^[366]

По всей стране царили крайние страдания, которые проявлялись всеми известными способами. Доходы упали, эмиграция увеличилась, пшеница приносила всего около пяти шиллингов за бушель, в то время как только в Англии и Уэльсе насчитывалось свыше девятисот тысяч бедняков. Недовольство приняло форму чартизма, и революция казалась неминуемой. Содрогнулась не только Великобритания: вся Европа была потрясена до самого своего центра, и все предвещало какие-то ужасные потрясения, когда вмешалась природа и излила на мир поток сокровищ, слишком обильный, чтобы его можно было сразу контролировать.

В 1849 году первое калифорнийское золото достигло Ливерпуля. За четыре года предложение драгоценных металлов утроилось, цены выросли, урожай снова продавался с прибылью. По мере того как фермеры богатели, спрос на промышленные товары возрастал, заработная плата росла, недовольство исчезало, и хотя стоимость никогда больше не достигала уровня 1809 года, они, по крайней мере, достигли того уровня существенного процветания, который предшествовал Французской революции. Тем не менее падение покупательной способности денег и, как следствие, способности должников выполнять свои обязательства не вызвало той всеобщей радости, которая охватила Европу при открытии Потоси, поскольку в обществе произошли глубокие перемены с тех пор, как пираты заложили основы благосостояния Англии, разграбив перуанские галеоны.

Для того типа мышления, который преобладал после 1810 года, постоянный рост цен на товары по отношению к деньгам был нежелательным, и почти с момента открытия месторождений золота тонкая, но непреодолимая сила работала на сокращение — сила, которая сначала проявила себя в движении за единообразную золотую чеканку, а затем и в общем золотом монометаллизме. Великие перемены произошли с завоеванием Франции Германией. До

середины девятнадцатого века Германия занимала лишь второстепенное положение в экономической системе Европы из-за своей бедности. Имея мало гаваней, она извлекла мало выгоды из разграбления Америки и Индии, обмены никогда не были сосредоточены в пределах ее границ, и ее накопленного капитала было недостаточно, чтобы стимулировать высокую консолидацию. Завоевание Франции внезапно изменило эти условия. В 1871 году она приобрела огромную добычу, и эффект, произведенный на нее, был сродни эффекту, оказанному на Англию конфискациями в Бенгалии; главное отличие состояло в том, что, в отличие от Англии, Германия почти сразу вступила в период сокращения.

Разграбление Индии продолжалось двадцать лет, разграбление Франции завершилось за несколько месяцев, и, в то время как в Англии между Пласси и принятием золотого стандарта произошла “промышленная революция”, в Германии банкиры доминировали с самого начала. Правительство принадлежало к классу, который желал, чтобы валюта дорожала, и в 1873 году новая империя пошла по стопам Ломбард-стрит и демонетизировала серебро.

Действия Германии были решающими. На монетные дворы Латинского союза и Соединенных Штатов были наложены ограничения, и таким образом, постепенно вся нагрузка в торговле Запада была перенесена со старой составной валюты только на золото. Таким образом, не только вдвое сократилась кредитная база в ведущих торговых государствах, но и сократился ежегодный запас металла для чеканки монет. В 1893 году добытое золото почти на девять процентов отставало от стоимости золота и серебра, произведенных в 1865 году, и все же за эти двадцать восемь лет спрос на деньги должен был чрезвычайно возрасти, если это в какой-либо степени соответствовало росту торговли.

Явления, последовавшие за принятием западными странами золотого стандарта, были именно теми, которые предвидел Лойд. Лорд Оверстоун объяснил их более раннему поколению. В одном из своих писем о “Банковском уставе” еще в 1855 году он развил всю политику ростовщиков:

“Если в стране увеличивается население, богатство, предприимчивость и активность, вероятно, потребуется больше средств обращения для проведения расширенных транзакций. Этот спрос на увеличение обращения повысит ценность существующего обращения; оно станет более дефицитным и более ценным... другими словами — золото подорожает....”[\[367\]](#)

Благодаря действиям Германии политика Оверстоуна была распространена на весь западный мир с результатами, которые он предвидел. Золото дорожало до тех пор, пока не приобрело покупательную способность, не имеющую себе равных со времен средневековья, и хотя в странах, использующих серебро, цены оставались практически неизменными, а производители, соответственно, процветали, в Европе, Соединенных Штатах и Австралии наблюдалась прострация. Как обычно, больше всего пострадало сельское население, и английская аристократия, получившая передышку благодаря золотым находкам, пала первой. Они не только получали свои доходы от сельскохозяйственных угодий, но и, находясь в центре конкуренции, подвергались давлению как со стороны Азии, так и Америки. Урожай 1879 года был одним из худших в столетии, земля безнадежно обесценилась, и этот год, вероятно, можно считать знаменующим падение класса, который жил в достатке почти триста пятьдесят лет.

Эта тюдоровская аристократия, возникшая во время Реформации, была одним из первых результатов оживленного движения, которое перенесло центр обмена из Италии к Северному

морю. Они представляли собой острую экономическую конкуренцию и процветали благодаря интеллектуальному дару, способности, которой они обладали, поглощать земли священников и солдат, среди которых они жили. Этими солдатами были йомены, которые после изгнания стали пиратами, работоторговцами, коммерческими авантюристами, религиозными колонистами и завоевателями, и которые вместе хлынули в Лондон потоком сокровищ, которые, преобразовавшись в движение, совершили “промышленную революцию”. Когда их усилиями к началу девятнадцатого века были накоплены достаточно обширные резервуары энергии в форме денег, на первое место выдвинулась новая раса, способная дать выход этой силе — такие люди, как Натан Ротшильд и Сэмюэл Лойд, вероятно, наделенные более тонким интеллектом и проницательностью, чем кто-либо из их предшественников, финансисты, по сравнению с которыми ростовщики Византии или дворяне Генриха VIII были пигмеями.

Эти банкиры разработали политику, не имеющую себе равных по блеску, которая сделала их хозяевами всей торговли. Они поглотили золото всего мира, а затем законодательным путем сделали его единственным мерилom ценностей. То, что Сэмюэл Лойд и его последователи сделали с Англией в 1847 году, стало возможным для его преемников сделать со всеми странами с золотым стандартом после 1873 года. Когда монетные дворы были закрыты для серебра, валюта стала неэластичной, ценностью денег можно было манипулировать, как ценностью любого предмета, ограниченного в количестве, и, таким образом, человеческая раса стала подданной новой аристократии, которая представляла собой накопленную энергию человечества.

С того момента, как эта аристократия определилась с политикой, такой как, например, “Закон о банках” или монометаллизм, сопротивление производителей становится наиболее трудным. Будучи должниками, производители разоряются, когда изымается кредит, и при первых признаках неподчинения банкиры забирают свое золото, сокращают займы и сеют панику. Затем, чтобы избежать немедленного разорения, должник уступает.

С 1873 года цены в целом упали, и ипотека имела тенденцию поглощать залог; но время от времени класс кредиторов ощущает необходимость обратить имущество, приобретенное у банкротов, в золото, и тогда происходит рост, объясненный Оверстоуном. Открываются кладовые, свободно предоставляются кредиты, увеличивается количество валюты, растут ценности, осуществляются продажи, и новые искатели приключений заключают новые обязательства. Затем за этим расширением следует новое сокращение, и ликвидация повторяется по постоянно убывающей шкале.

В течение многих лет сельскохозяйственные угодья приходили в упадок по всему Западу, как это было в Италии во времена Плиния. Повсюду, как и при Траяне, крестьянство находится в бедственном положении; повсюду они мигрируют в города, как это было, когда Рим отменил динарий. Согласно переписи населения Соединенного Королевства, проведенной в 1891 году, выяснилось не только, что более семидесяти одного процента жителей Англии и Уэльса проживали в городах, но и что, хотя количество городских округов увеличилось более чем на пятнадцать процентов со времени последней переписи, население чисто сельскохозяйственных округов сократилось.^[368]

Более того, в течение одного поколения наблюдается заметная потеря плодovitости среди более дорогостоящих рас. Темпы прироста населения снизились. В Соединенных Штатах принято считать, что древняя индейская кровь с трудом воспроизводит саму себя; но во всех

социальных явлениях Франция опережает другие нации по крайней мере на четверть века, и поэтому именно во Франции наиболее отчетливо проявляется недостаток жизнеспособности. В 1789 году средняя французская семья состояла из 4,2 детей. В 1891 году он упал до 2,1,^[369] а с 1890 года смертность, похоже, сравнялась с рождаемостью.^[370] В 1889 году была предпринята попытка принять закон, поощряющий продуктивность, и родители семерых детей были освобождены от определенных классов налогов, но эксперимент провалился. Левассер в своем великом труде о населении Франции выразил себя почти словами Тацита: “Можно установить в качестве общего закона, что если в таких социальных условиях, как у французов девятнадцатого века, число детей невелико, то это потому, что большинство родителей желают, чтобы оно было небольшим”.^[371]

Такие признаки указывают на кульминацию консолидации. И все же, даже возвышение банкиров - не единственный и не самый верный признак того, что централизация достигает кульминации. Разрушение, вызванное ускоренным перемещением менее цепких организмов, более очевидно внизу, чем наверху, более поразительно в продвижении дешевой рабочей силы, чем в эволюции финансиста.

ГЛАВА XII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очевидно, природе нужно потратить около трех поколений, чтобы усовершенствовать селекцию нового вида. Соответственно, ростовщичество не стало абсолютным сразу после Ватерлоо, и последовал период продолжительностью около шестидесяти лет, в течение которого авантюристы продолжали борьбу, в чем им помогли открытия золота ближе к середине века. По-видимому, они потерпели окончательное поражение при Седане, поскольку разложение солдат, продолжавшееся с момента падения Наполеона, после распада Второй империи достигло точки, даже более низкой, чем после укрепления Рима.

От Алариха до Наполеона солдат служил независимым источником энергии. Часто, даже выступая против капитала, он одерживал победы, и высшей функцией лидера людей было, по крайней мере теоретически, военное командование. Идеальным государственным деятелем был тот, кто, подобно Кромвелю, Фредерику Великому, Генриху IV, Вильгельму III и Вашингтону, мог вести своих последователей в бой, а на Континенте вплоть до 1789 года аристократия считалась военной кастой. Во Франции и Германии старая традиция просуществовала с точностью до поколения. Только после 1871 года наступила новая эра, эпоха, отмеченная многими социальными изменениями. Впервые в истории французского народа правитель, по общему признанию, перешел от военного типа правления к денежному, и повсюду проявилось одно и то же явление: все управление обществом перешло в руки экономического человека. Ничего столь радикального не произошло ни в Риме, ни даже в Византии, поскольку там давление варваров потребовало сохранения военачальника во главе государства; в Европе он утратил это значение. После капитуляции Парижа солдат все больше и больше превращался в наемного чиновника, получающего приказы от финансистов за свое жалованье, не имея права

голоса даже в вопросах, касающихся мира и войны. Та же участь постигла производящие классы; они не смогли обеспечить себя и стали подданными владельцев накопленных богатств. Хотя условности народного правления все еще сохраняются, капитал, по крайней мере, столь же абсолютен, как и при цезарях, а среди капиталистов ростовщики образуют аристократию. Должники на самом деле бессильны из-за распространения той самой системы кредитования, которую они изобрели для удовлетворения своих потребностей. Хотя объем кредита огромен, основа, на которой он зиждется, настолько узка, что им может манипулировать горстка людей. Эта основа - золото; золотом должны быть выплачены долги; поэтому, когда золото изымается, должник становится беспомощным и становится слугой своего хозяина. Эластичность эпохи экспансии исчезла.

Аристократия, обладающая этой автократической властью, неподвластна нападкам, ибо ее защищает наемная полиция, игрушкой которой были легионы; полиция настолько грозная, что впервые в истории восстание безнадежно и не предпринимается. Единственный вопрос, который волнует правящий класс, заключается в том, что дешевле - принуждение или подкуп.

Оглядываясь назад на длительные периоды времени, можно проследить последовательность причин, приведших к такому результату. Во-первых, изобретения с Востока облегчили торговлю; затем совершенствование оружия нападения сделало возможной полицию, а индивидуальная храбрость ненужной; за этим последовало принижение военного и возвышение экономического типа; и, наконец, последовало то интенсивное ускорение передвижения с помощью машин, которое в уничтожающем пространстве разрушило защиту, которой дорогостоящие расы долгое время пользовались от конкуренции более простых организмов.

Римская цивилизация была менее сложной, чем современная, из-за относительной негибкости латинского мышления. Неспособный ускорить свое движение с помощью изобретений, древний итальянец не смог открыть Америку или поглотить Индию и по той же причине без усилий пал под коварной атакой азиатских и африканских рабочих. При Цезаре за притоком слитков не последовало промышленной экспансии, и поэтому, когда стоимость зерновых упала, изгнанный фермер либо попадал в рабство, либо выпрашивал хлеб у магнатов Сената. В наше время наступил индустриальный период; выселенные долгое время находили работу на фабриках городов, и только по мере того, как экономический спад уменьшал спрос на товары из-за снижения покупательной способности сельскохозяйственного населения, образовались те застойные группы безработных, которые в точности соответствуют пролетариату. Но, как каждая особая способность, которая на какое-то время позволяет ее обладателю преуспевать в конкуренции, по-видимому, несет в себе семена собственного упадка, так и изобретательность, которая когда-то позволяла западным расам недооценивать восточные у себя дома, по-видимому, обречена свести все к общему экономическому уровню, как Рим опустился до уровня Египта.

В течение почти столетия изобретения Харгривза, Кромптона, Картрайта и Уатта позволяли Ланкаширу снабжать Бомбей и Калькутту тканями, как в семнадцатом веке Сурат и Каликут снабжали Лондон, и это превосходство казалось обеспеченным до тех пор, пока жители Востока не приобретут импульс, необходимый для производства машин. Одним из последствий в Европе стал быстрый рост населения, собравшегося в городах и имевшего заметное сходство с римскими "унизиорами" в их нежелании воевать. Верные своим инстинктам, авантюристы постоянно ускоряли свои передвижения, постоянно расширяли сферу своих предприятий и,

наконец, как раз в тот момент, когда Вторая империя была на грани падения, они открыли Суэцкий канал в 1869 году. Последствия этого великого инженерного триумфа, вероятно, сравнивались по тяжести с установлением золотого стандарта, но у этих двух явлений была заметная разница. Производители видели опасность и изо всех сил сопротивлялись падению курса валюты, в то время как создание Канала было равносильно самоубийству. Отныне зерно, выращенное самым трудолюбивым трудом в мире, могло беспрепятственно поступать на европейский рынок, и после установления сельскохозяйственной конкуренции промышленное производство могло быть только вопросом времени. Канал удешевил импорт и ремонт оборудования по всей Азии.

С периода, возможно, столь же отдаленного, как победы Клайва, индусы испытывали определенный импульс от контактов с британцами, но только после строительства железных дорог при лорде Далхаузи среди жителей Индии начались более суровые фазы соперничества. Лорд Далхаузи стал генерал-губернатором в 1848 году, и то, что ускорение в течение следующих девяти лет привело к катастрофе, кажется несомненным, поскольку ничто не может быть яснее, чем то, что Мятёж 1857 года был вспышкой воинственного мусульманского населения, подавленного невыносимым давлением.

Одного места беспорядков достаточно, чтобы продемонстрировать точность этого вывода. Последним актом Далхаузи была аннексия королевства Ауд. Столицей этой провинции является Лакхнау, и в то время как Лакхнау был одним из центров восстания, Дели, столица древней империи Великих Моголов, был другим. Однажды покоренное британцами и приведенное к экономическому равенству с более утонченными расами, старое мусульманское дворянство быстро исчезло. С 1857 года эти семьи, которые обеспечивали себя в течение шестисот или семисот лет, быстро разорились, и их поместья были выкуплены кредиторами, растущим классом ростовщиков.

Согласно незапамятным местным обычаям, ростовщик, вообще говоря, не имел принудительных средств для взыскания долга; он полагался на общественное мнение и вел себя соответственно. С другой стороны, неограниченное отчуждение земли обычно не было случайным для права собственности, и, таким образом, пожизненный арендатор, как его называли бы в английском праве, мог только заложить свой урожай; он не мог продать наследство. С централизацией пришла полная собственность, а вместе с ней и упрощенный процесс погашения долга. Следуя своему непреложному закону, природа, изменив форму соревнования, приступила к выбору качества ума, соответствующего новым условиям жизни. Она требовала улучшения выхода своей энергии. Немедленно, под давлением ускоренного движения и прогрессирующей консолидации, кастовые оковы ослабли, население объединилось, и возникла новая аристократия, состоящая из сильнейших экономических типов, отобранных у всех народов, населяющих равнины к югу от Гималаев. Эта аристократия представляет собой странную смесь крови, сплав самых разнообразных элементов, парсов, брахманов, банниев разных рас с одаренными людьми из других каст, такими как кожевники или ювелиры; но среди них самыми безжалостными, самыми продажными, самыми ненавистными и самыми успешными являются марвари, которые были так описаны британской комиссией:

“Среднестатистический ростовщик из Марвари - не самый приятный персонаж для анализа; его наиболее характерные черты - любовь к наживе и безразличие к мнениям или чувствам своего

соседа. Он в значительной степени уверен в себе и обладает огромным трудолюбием, но природа его бизнеса и методы, с помощью которых он осуществляется, имеют тенденцию унижать и ожесточать даже гуманную натуру, которой он не является. Как землевладелец, он следует инстинктам ростовщика, устанавливая максимально жесткие условия со своим арендатором, который также является его должником и часто немногим лучше своего раба”.[372]

Эффект выбора такого типа в качестве доминирующего класса должен быть разрушительным для воинственного населения, будь то французы или англичане, мусульмане или индусы. Упоминалась социальная революция, охватившая Ауд после его аннексии, но судьба, постигшая знаменитый народ махраттов, еще более трагична и впечатляюща.

Когда ближе к концу прошлого столетия британцы продвигали свои завоевания вглубь страны, самым грозным врагом, с которым они столкнулись, были маратты; и, возможно, самой известной битвой после Плесси, когда-либо сражавшейся европейцами против туземцев, была Ассайе, где Уэлсли разгромил Синдию в 1803 году. Эти махратты были племенами индуистских земледельцев, населявших горную страну примерно в ста милях к востоку от Бомбея; территория, столицей которой всегда считалась Пуна. Верхом на своих горных пони эти смелые и выносливые копейщики всегда были готовы последовать в бой за своими вождями и в восемнадцатом веке наводили ужас не только на мусульман Декана, но и на самого Могола в Дели. Даже англичане уважали и боялись их и покорили только в 1818 году после отчаянной борьбы. Затем они были разоружены и подчинены совместному действию мира и английского закона.

Вскоре после этого завоевания начался приток марвариса. Еще в 1854 году в администрации Далхаузи капитан Андерсон заявил, что “две трети риотов [были] в руках марвари, и что средний долг каждого человека [был] не менее 100 рупий”. [373] Конкуренция с течением времени продолжалась беспрепятственно, и в 1875 году в некоторых деревнях близ Пуны вспыхнули беспорядки, достаточно серьезные, чтобы заставить правительство назначить комиссию по расследованию. После всестороннего расследования эта комиссия сообщила, что до 1872 или 1873 года крестьянство казалось относительно зажиточным, но что впоследствии “цены быстро упали”, и что это падение сопровождалось повышением налогов чуть более чем на пятьдесят процентов. [374] Под этим двойным давлением крестьянство быстро погрязло в банкротстве, и вся недвижимость Декана перешла в руки ростовщиков, в то время как фермеры превратились в крепостных, трудившихся на земле, которой они когда-то владели, чтобы погасить неугасимый долг. Точно так же, как *colonus*, правонарушитель не был выселен, но остался, “зарегистрированный как арендатор своего владения и ответственный за выплату начисленного на него дохода, но фактически уменьшенный из-за долгов перед арендатором по собственному желанию ..., выплаченных его кредитором-марвари. Во власти этого кредитора выгнать его в любой день; ... и если ему позволят продержаться, то только при условии выплаты своему кредитору всей продукции со своей земли, которая не является абсолютно необходимой для посева зерна на следующий год или для поддержания жизни. Он задолжал в среднем за шестнадцать-семнадцать лет по выплате государственных доходов. Ему не на что надеяться, но он живет в ежедневном страхе окончательной катастрофы”. [375]

Со времен Ассайе сменилось три поколения, и копейщики махратты исчезли. Западные Гаты ныне возделывает неповоротливая раса, которую британские офицеры считают недостойной

своей кавалерии, а на месте этих прославленных и отважных вождей Шиваджи и Холкара стоит марвари, при которых никакие riots не могут процветать, за исключением тех, “кто, получив некоторое образование, способен сражаться с совкарами их собственным оружием, мошенничеством, придирками и даже подделкой документов”.^[376] По-видимому, та же участь ожидает каждый народ, которому требуется больше, чем минимум пищи, или который не одарен экономическим складом ума. ^[377] потому что “ростовщики забирают урожай сразу после сбора, оставляя только riots, которых едва хватает на пропитание до следующего года”.^[378] Это пособие на Декане оценивается примерно в доллар серебром в месяц — слишком мало, чтобы прокормить кого-либо, кроме самых живучих организмов, даже среди азиатов. Следовательно, хотя население Индии быстро увеличивается, прирост происходит главным образом среди аборигенных племен, образующих низшие касты, или, другими словами, среди невоинственных или подневольных рас. Люди, которые, хотя и были поработаны арийскими захватчиками в доисторические времена и которые всегда подвергались величайшим лишениям, были одарены, подобно египетским феллахам, выносливостью, позволившей им выжить.^[379]

Здесь также можно ясно увидеть разрушительное воздействие политики западных ростовщиков на подвластное им население. Повысив ценность своих собственных денег, они почти удвоили интенсивность этой азиатской конкуренции. В Индии серебро в значительной степени сохранило свою покупательную способность, поэтому riot сейчас, как и во времена капитана Каннингема, может существовать на две рупии в месяц, но на меньшее он жить не может. Соответственно, серьезность его конкуренции с европейцами должна измеряться величиной его заработной платы в пересчете на европейскую шкалу. В 1854 году две рупии риота стоили один доллар; теперь, благодаря повышению курса золота, они стоят около шестидесяти центов, и эффект тот же, как если бы жизнестойкость азиата возросла на четыре шестых. Все, что индийский или китайский крестьянин производит своими руками, будь то на ферме или на фабрике, было снижено в цене по сравнению с западными народами в соотношении шесть к десяти.

Таким образом, в гигантских масштабах воспроизводится самая дешевая форма рабочей силы, и эта рабочая сила ускоряется промышленным развитием, стимулируемым изгнанием фермеров, подобно тому, как сто тридцать лет назад в Англии была стимулирована “промышленная революция”. В течение многих лет хлопчатобумажные фабрики Бомбея недооценивали Ланкашира в более грубых тканях, а когда благодаря каналу, ведущему к Тихому океану, американский хлопок можно будет импортировать дешевле, они будут прясть и более тонкие ткани. Более того, Индостан полон железа и угля, которые никогда не использовались из-за огромной разницы в скорости европейской и азиатской рабочей силы, но неуклонно падающий диапазон западных цен должен вытеснить на рынок самый дешевый продукт, и когда индийские железные дороги перейдут в руки правительства, откроется новая эра. Те же причины затрагивают Китай и Японию, и при точно таких же условиях центр обмена переместился с Тибра на Босфор шестнадцать столетий назад.

Такое единообразие развития в самые отдаленные времена и у самых разных народов указывает на прогрессивный закон цивилизации, каждая стадия которой отмечена определенными интеллектуальными, моральными и физическими изменениями. По мере того, как нападение на войну побеждает оборону, а воинственный инстинкт становится ненужным для сохранения жизни, экономика вытесняет воинственный разум, превосходя его в добывании

пропитания. По мере увеличения скорости и усиления конкуренции природа начинает просеивать сами экономические умы, отбирая привилегированную аристократию самых хитрых и утонченных типов; выбирая, например, армянина в Византии, марвари в Индии и еврея в Лондоне. И наоборот, поскольку дорогостоящая нервная система солдата становится обузой, организмы, которые могут существовать на меньших затратах, последовательно вытесняют друг друга, пока не будет достигнут предел выносливости. Так, славяне истребили греков во Фракии и Македонии, махратты и мусульмане отступают перед племенами низших каст Индии, а инстинкт самосохранения научил белые расы сопротивляться наплыву китайцев. Когда природа завершает эту двойную задачу, цивилизация достигает своего зенита. Человечество не может подняться выше.

Ввиду этого возможного истребления воинственной крови на высших ступенях цивилизации внимание неизбежно сосредоточивается на том, что, возможно, является главной точкой расхождения между древним и современным обществом, — наличию или отсутствию запасов варварской жизни. Все свидетельства указывают на вывод о том, что приток жизненной силы, который Рим когда-либо черпал из территорий за пределами своих границ, был причиной как его силы, так и долголетия. Без такой помощи она никогда не смогла бы объединить мир. С другой стороны, недостаток этого ресурса был слабостью современных наций. Один за другим они мечтали о всеобщем завоевании, и один за другим они падали от истощения на войне.

Испания никогда не нанимала копейщиков в Америку, и ее колонии были источником слабости, поскольку они лишили ее молодости. Если бы Рим был расположен подобным образом, он вряд ли смог бы перенести орлов за Босфор и Альпы. Возможно, армия Цезаря была лучшей из всех, когда-либо выставленных древним полководцем на поле боя, и все же она была полна варваров. Все его легионы были собраны к северу от По, и большинство из них, включая десятый, к северу от Альп.^[380] Столкнувшись с этой силой, коренные италики обратились в бегство, и одной из самых ярких страниц Плутарха является история постепенного осознания Помпеем бессилия римлян. Сам Помпей был выдающимся полководцем, и до тех пор, пока он не разбился о скалу чистокровных воинов, битва была для него синонимом победы.

Сначала он почувствовал такую уверенность, что рассмеялся над предложением перейти Рубикон. С убежденностью завоевателя он сказал: “Всякий раз, когда я ступлю ногой в какую-либо часть Италии, в одно мгновение поднимутся достаточные силы, как конные, так и пешие”.^[381] Очень короткого опыта общения с людьми севера было достаточно, чтобы отрезвить его; ибо, хотя под командованием цезаря было всего двадцать две тысячи человек, а у него в два раза больше, он не только отказался от участия в боевых действиях, но и предпринял все возможное, чтобы предотвратить угрозы галлов от своих людей, “которые были вне себя от горя и уныния”. через ужас перед свирепостью и выносливостью своих врагов, на которых они смотрели как на диких зверей”.^[382] Фарсалия ошеломила его. Когда десятый легион разгромил его левое крыло, он пошел в свою палатку и сидел безмолвно до вторжения в лагерь; затем он ушел “тихо ступая, полностью поглощенный мыслями, которые, вероятно, могли бы владеть человеком, который на протяжении тридцати четырех лет вместе привык к завоеваниям и победам, а затем, наконец, в старости, впервые узнал, что такое поражение и бегство”.^[383]

Таким образом, на самом деле варвары консолидировали древний мир, а сила, создавшая Империю, впоследствии поддержала ее. С каждым последующим столетием тяга к централизованному обществу, питавшемуся кровью страны за Дунаем и Рейном, возрастала, но

приток крови оказался безграничным; и когда западные провинции распались, новая раса с богатым воображением хлынула в Италию и Францию, создав новую религию, новое искусство, новую литературу и новые институты. Среди современных наций только русские развили в себе эту способность поглощать родственные завоеванные народы; и все же, очевидно, что Наполеон вел бы свои кампании при совершенно других обстоятельствах и, возможно, привел бы их к другому концу, если бы он, подобно Цезарю, располагал неистощимым запасом лучших солдат, совершенно независимых от населения Франции.

Религиозные явления становятся объяснимыми, если рассматривать их с той же точки зрения. Несомненно, с 1789 года скептицизм был в полной мере распространен в Париже, как и в Риме, и все же никакой новой религии не родилось. Предположим, однако, что ежегодно во Францию прибывает огромная и очень эмоциональная эмиграция, аспект жизни полностью изменился бы. Христианские святые и мученики были порождены не константинопольскими или римскими ростовщиками, а солдатами-варварами и азиатскими рабами, и христианство вряд ли могло бы стать государственной религией, если бы состав общества в том виде, в каком он существовал при Траяне, оставался неизменным. Даже в правление Юстиниана аристократия придиралась к вере, а византийская архитектура не расцветала до нашествий Алариха и Атиллы.

Таким образом, если, хотя природа никогда в точности не повторяется, она воздействует на человеческий разум в соответствии с неизменными законами, то, сравнивая живую цивилизацию с мертвой, можно будет в какой-то степени оценить пройденный путь. Для такой попытки можно было бы предложить бесконечное разнообразие стандартов, но, возможно, немногие из них подходят больше, чем семейные отношения, лежащие в основе воспроизводства жизни.

В эпоху воинственности и богатого воображения, когда энергия выходит наружу через страх, и каждый мужчина должен быть солдатом, семья обычно образует единое целое; женщины и дети находятся под контролем отца, как они были под контролем библейских патриархов или отцовских семей в Риме. В такие периоды мужчина пользуется спросом у женщины и даже имеет высокую денежную ценность “; И Сихем сказал своему отцу: ... Никогда не проси у меня такого большого приданого и подарков, и я дам то, что ты скажешь мне; но отдай мне в жены девицу”.^[384] Гомеровские герои покупали своих жен и, более того, очень любили их — и женщины отвечали им взаимностью, ибо во всей классической литературе мало найдется более очаровательных легенд, чем о Пенелопе. Развод был неизвестен Гектору и Агамемнону, Улиссу и Ахиллесу. Брак в эти простые века обычно был обрядом наполовину священным, наполовину воинственным. Когда слуга Авраама нашел Ревекку у колодца, он склонил голову и благословил Господа Бога своего господина Авраама, который наставил его на путь истинный. Римская свадьба была торжественным религиозным мероприятием, сопровождавшимся молитвой и жертвоприношением, и в конце невесту несли в дом ее мужа, где ее насильно вырывали из объятий матери.

Аристотель, с его безошибочной проницательностью, сделал следующее наблюдение: “Что все воинственные расы склонны к любви к женщинам”, а также что они склонны “попадать под власть своих жен”.^[385] Несомненно, это инстинкт солдата, и в военные века женщин идеализировали. Когда чужеземец спросил жену Леонида: “Почему вы, лакедемоняне, жены, в отличие от всех остальных, управляете своими мужьями?” - спартанка ответила: “Потому что только мы являемся матерями мужчин”. Когда в Риме Тиберий убил змея-самца, тем самым

посвятив себя смерти, чтобы спасти Корнелию, Плутарх, рассказывая эту историю, заметил, “что Тиберий всем мужчинам казалось, что он не сделал ничего неразумного, решив умереть за такую женщину; которая, когда сам царь Птолемей предложил ей свою корону и хотел жениться на ней, отказалась от этого и предпочла остаться вдовой”.[\[386\]](#)

В средние века, эту величайшую из эпох воинственности и воображения, брак превратился в самое торжественное из таинств, а поклонение женщинам стало популярной религией. Особенно во Франции, центре мысли, энтузиазма и войны, начиная с могущественного храма Парижа и ниже, церкви были посвящены Марии, и рыцарский обет обязывал рыцаря сражаться за Бога и за свою даму.

“Во все века было видно,
Что с похвалой оружию и рыцарству
Награда за красоту по-прежнему остается неизменной”.[\[387\]](#)

Можно почти сказать, что судьбы Франции были сформированы любовью мужчин к женщинам, и что это влияние все еще преобладало вплоть до прихода ростовщиков после разгрома при Ватерлоо. С другой стороны, природа создала тип женщины, пригодный для спаривания с мужчиной с богатым воображением. Посвящение святой Клары святому Франциску - одно из самых изысканных стихотворений Церкви, и на протяжении шестисот лет Элоиза оставалась идеалом Запада. Возможно, действительно, это странное сочетание нежности и энтузиазма, свойственное средневековому уму, никогда не находило более утонченного и возвышенного выражения, чем в простом гимне, который, как говорят, сочинила и спела Элоиза на могиле Абеляра:

“Tecum fata sum perpessa;
Tecum dormiam defessa,
Et in Sion veniam.
Реши crucem,
Из-за ad lucem
Деградации животных”.

В первобытные века дети были источником не только власти, но и богатства, и поэтому высшей заслугой женщины является плодовитость. “И они благословили Ревекку и сказали ей: ... будь ты матерью тысяч миллионов”. Кроме того, материнство - это слава, а бездетность - позор; и Рахиль сказала: “Дай мне детей, иначе я умру”. “И она зачала и родила сына; и сказала: Бог снял с меня поношение”. Чтобы жить ради своих мальчиков, Корнелия отказалась от короны; и когда они вырастут, она будет упрекать их за то, что “римляне пока скорее называли ее дочерью Сципиона, чем матерью Гракхов”. Но отец Корнелии был победителем Ганнибала, а ее сын - аграрным агитатором, которого богатая олигархия убила за возрождение законов Лициния. По-видимому, одним из первых признаков развития цивилизации является падение ценности женщины в глазах мужчин. Вскоре после осады Трои мужья, должно быть, перестали платить за своих жен, поскольку сравнительно рано они потребовали плату за то, чтобы выдать их замуж. Еврипид, родившийся в 480 году до нашей эры, заставил Медею жаловаться на то, что женщинам приходится покупать своих мужей за большие суммы денег. Другими словами, возобладал обычай раздавать свадебную порцию.

По мере усиления давления экономической конкуренции и социальной консолидации семья регулярно распадается, дети отвергают родительскую власть в неуклонно уменьшающемся возрасте; пока, наконец, население не сливается в компактную массу, в которой все индивиды равны перед законом, и все вынуждены конкурировать друг с другом за средства существования. Когда, наконец, богатство накапливается в достаточной степени, чтобы найти выход с помощью капиталистических методов ведения сельского хозяйства и мануфактуры, дети теряют всякую ценность, поскольку тогда наем рабочей силы всегда обходится дешевле, чем размножение. С тех пор у наиболее экстравагантных рас семья приходит в упадок, как в древнем Риме или современной Франции, а брак, превратившись в роскошь, приходит в упадок. Более того, экономический инстинкт побуждает родителей сокращать число возможных наследников своего имущества, чтобы его основная масса не уменьшалась.

На женщин эти изменившиеся условия оказывают огромное воздействие. Все их отношение к обществу меняется. Из религиозного таинства брак превращается в гражданский договор, расторгаемый, как и другие договоры, по взаимному согласию; и по мере уменьшения обязательств по материнству отношения мужа и жены превращаются в своего рода деловое партнерство, которое всегда имеет тенденцию становиться все более эфемерным. Какими бы частыми ни были разводы сейчас, при Антонинах их было еще больше.

На мужчин действие естественного отбора, по крайней мере, столь же радикально. Изменение, произошедшее в характере Рима примерно за триста лет, всегда было одной из проблем истории. По словам Аристотеля, первобытный римлянин “был склонен к любви к женщинам”. Сильный в своих страстях, суровый в своей жизни, свирепый в своей ревности, он считал бесспорное обладание женщиной своим высшим счастьем. Виргиний убил свою дочь, чтобы уберечь ее от Аппия Клавдия, а его товарищи по легионам искупили свою вину кровью децемвира; в то время как среди волнующих баллад о легендарном времени, которые пели у очага фермера, ни одна не вызвала таких эмоций, как рассказ о мести, обрушившейся на Тарквиния за смерть Лукреции. Сравните эту мужественную расу с аристократией срединной империи. Ко второму веку женская чистота перевесила деньги. Говорят, что Марк Аврелий сжал весь экономический моральный кодекс в одном коротком предложении. Его жену Фаустину со скандалом обвинили в том, что она была самой покинутой женщиной своего поколения, даже более печально известной, чем Мессалина. Когда философа убедили отречься от нее, он ответил: “Тогда мне пришлось бы отказаться от ее доли” (Империи); и он не только жил с ней, но и построил храм в ее память. Даже если эта история лжива, она тем не менее верно отражает характер эпохи.

Умы благородных римлян третьего и четвертого веков, подчиненные тому же импульсу, работали иначе, чем у их первобытных предков; им не хватало воинственных и любовных инстинктов. Как правило, одной из характерных черт поздних царствований была сексуальная вялость, поддававшаяся воздействию только самых мощных стимуляторов. Те же явления были замечены среди французов во время распада Империи, с тех пор подобные симптомы приобрели печальную известность в Лондоне.

Если брать историю в целом, то женщины, кажется, никогда более чем умеренно не взывали к чувствам экономического мужчины. Богатый магнат редко губит себя из-за любви, а рыцарство было бы столь же чуждо римскому сенатору при Диоклетиане, как сейчас банкиру с Ломбард-стрит. С другой стороны, пропорционально тому, как уменьшалось влияние женщин,

измеряемое их властью над мужчинами, оно увеличивалось, измеряемое экономическими стандартами. Во многих отношениях женщины, по-видимому, служат отдушиной для энергии капитала почти так же, как и мужчины; на высших уровнях цивилизации они владеют своей собственностью по отдельности и с помощью денег обладают властью, мало чем отличающейся от власти Фаустины. Будучи незамужней, хозяйственная женщина конкурирует с мужчиной почти на равных, и везде и во всех возрастах результат одинаков. Более сильные и удачливые представители этого пола разбогатели и приобрели социальную и политическую власть. Римская политика при Септимии Севере и Каракалле во многом находилась в руках женщин, и Юлия Маса, которая была чрезвычайно богата, провела самую известную интригу, купив трон для Элагабала.

Однако в Риме всегда была сильная примесь варварской крови, и до последнего варвары женились по любви. Юстиниан был тому примером. Рожденный от малоизвестной расы варваров в пустынной болгарской стране, он безудержно влюбился в Феодору, которая вызвала шок даже в театрах Константинополя. Его мать умерла от стыда, но Юстиниан выстоял, и, пока она была жива, его преданность жене никогда не ослабевала.

В Риме и Византии такие женщины были сильнее или удачливее; их аналоги легко найти в любую экономическую эпоху. Уделом более слабых было рабство; теперь конкуренция загоняет их в ряды самой дешевой рабочей силы, что, пожалуй, вряд ли предпочтительнее.

И все же искусство, возможно, даже более ясно, чем религия, любовь или война, указывает путь консолидации; ибо искусство с тончайшей деликатностью отражает те изменения в формах соперничества, которые ослабляют или воспаляют воображение. О греческом искусстве в его зените мало что нужно говорить; его великие качества были слишком полно признаны. Достаточно отметить, что это было абсолютно честно и что оно сформировало средство выражения, столь же гибкое, как и сам язык. Храм, по-видимому, мраморный, был мраморным; колоннада, по-видимому, поддерживающая портик, действительно поддерживала его; и, хотя орнамент составлял неотъемлемую часть сооружения, люди читали его так же разумно, как стихи Гомера. Ничто подобное никогда не процветало в Риме.

В отличие от греков, римляне никогда не отличались чувствительностью или богатым воображением. Собственно говоря, у них не было ничего, что они могли бы выразить с помощью искусства; они с самого начала были утилитарны, и их архитектура в конце концов оформилась в самую совершенную систему материалистического строительства, которая, вероятно, когда-либо существовала. Очевидно, что такая система могла созреть только в капиталистическом обществе, и, соответственно, римская архитектура достигла совершенства лишь несколько позже, возможно, к концу первого века.

Римляне, хотя и были вульгарными и напыщенными, разбирались в бизнесе. Они знали, как сочетать экономичность и даже солидность с демонстративностью. Как заметил Виоле-ле-Дюк, “Они были богаты и хотели казаться таковыми”,^[388] но они стремились достичь своей цели без расточительства. Поэтому сначала они построили дешевую сердцевину из щебня, кирпичей и строительного раствора, которую можно было собрать грубым рабским трудом под руководством инженера и нескольких надсмотрщиков; а их убогий интерьер они впоследствии облицовали мрамором, добавив в качестве украшения ряд за рядом греческих колонн вдоль стен. Этот безвкусный внешний вид не имел никакого отношения к самому зданию, и его можно было снять без серьезных травм. С точки зрения греков, ничто не могло быть более фальшивым,

более оскорбительным для интеллекта или, одним словом, более плутократичным; но работа была добротной, долговечной и, в определенной степени, внушительной по своей массе. Эта система просуществовала практически без изменений даже до Константина или до окончательного переноса столицы на Босфор, единственное различие между памятниками четвертого века и первого заключается в том, что первые несколько грубее, точно так же, как монеты Диоклетиана грубее монет Нерона.

И все же, хотя денежная аристократия оставалась верховной вплоть до окончательного распада Запада, эмиграция очень рано начала изменять основы общества путем вливания значительного количества творческой энергии; и уже в правление Клавдия этот новый запас энергии дал о себе знать благодаря распространению христианства. Обращенные были, конечно, антиподами правящего класса. Они были “униженными”, бедными людьми, стоящими ниже внимания такого богача, как Тацит; “quos, ... vulgus Christianos appellabat”.^[389]

Эти христиане занимали позицию, аналогичную нынешней позиции нигилистов, на которых они были похожи, за исключением отношения к насилию. Они были социалистами, живущими при денежном деспотизме, и они открыто молились о конце света; поэтому их считали “ненавистниками рода человеческого”,^[390] и они понесли наказание. Первобытное христианство было несовместимо с существованием римского общества, против которого оно было протестом, поскольку “полностью принимало идею о том, что богатый, если он не отдавал свои излишки, сохранял то, что принадлежало другому”.^[391] По праву Царство Небесное было закрыто для богатых.

Вероятно, очень немногие из этих ранних христиан были итальянцами; большинство из них были выходцами из Леванта, и о том, что они были сильно эмоциональны, свидетельствует их жажда мученичества — они добровольно искали смерти как средства прославления Бога. Однажды Аррий Антонин, проконсул Азии, приказав арестовать нескольких христиан, увидел, как все верующие города предстали перед его трибуналом, требуя разделить судьбу тех, кто был избран для мученической смерти. Он в гневе уволил их, сказав, что если они так любят смерть, то могут покончить с собой;^[392] а рассказ Ренана о гонениях при Нероне демонстрирует невероятную экзальтацию.^[393]

Почти сразу же стало заметно влияние этого эмоционального темперамента. Росписи в катакомбах являются, возможно, древнейшим образцом христианского искусства, и о них г-н Витэ так отзывался много лет назад: —

“Эти украшения, сделанные поднятой рукой, тайно, поспешно и скорее из благочестивых побуждений, чем из любви к прекрасному, тем не менее открывают самым непокорным взорам, несмотря на странную небрежность и некорректность, я не знаю, что такое одушевление, молодость, плодовитость и, так сказать, реальное преобразование того самого искусства, которое, находясь на службе язычеству, казалось тогда, мы все согласны, умирающим от истощения”.^[394]

По мере того, как мир распадался, и воображение повсюду приобретало силу, а вместе с властью богатство и средства выражения, на Востоке возникла совершенно новая архитектура, рост которой непосредственно следовал за вторжениями варваров и постепенным истощением римской крови. Система строительства была азиатской, модифицированной греческим

влиянием,[395] и с этим новым строительством появилось столь же новое украшение, украшение, которое снова служило языком.

Каменные мозаики использовались издавна, но мозаики из стекла, придающие куполу такой ни с чем не сравнимый блеск, были изобретением левантских христиан и, по-видимому, вошли во всеобщее употребление к началу пятого века. Но пятый век был периодом великих вторжений Алариха, Аттилы и Теодориха, и за этот период население Италии, Македонии и Фракии, должно быть, претерпело глубокие изменения. В Италии рушилась вся структура консолидированного общества; к югу от Дуная оно уцелело, но сохранилось в измененной форме, форме, на которой недавние миграции оставили безошибочный отпечаток. Галла Платидия, первая великая покровительница чисто византийской школы, умерла в 450 году, после того как насыщенная событиями жизнь в основном прошла среди варваров, за одного из которых она вышла замуж. Она начала украшать Равенну, и сравнение этих руин с руинами Франции и Италии одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого веков показывает разницу в силах, сформировавших эти три цивилизации.

При всей своей грации и утонченности характерной чертой Равенны был не религиозный экстаз, а скорее отсутствие страха перед неизвестным и уважение к богатству. Нет ничего таинственного или ужасного в этих очаровательных зданиях, которые явно являются скорее прославлением Империи на Босфоре, чем Царства Небесного.

В Сан-Витале это Юстиниан в ореоле вокруг головы, окруженный придворными, несущий дар святыне; или Феодора, сверкающая драгоценностями, за которой следуют великолепные дамы из ее окружения. В Сан-Аполлинаре длинная процессия святых богато облачена и несет короны, в то время как сама Пресвятая Дева, восседающая на троне и почитаемая как суверенная, так же далека от вульгарности, как и сама Феодора. “Византийский этикет больше не позволяет обращаться к ней напрямую; четыре ангела окружают ее и отделяют от человечества”.[396] Страшного старательно избегали. “По весьма значительным соображениям художник, воспроизводя различные эпизоды Страстей, избежал самого болезненного - Распятия”.[397]

Все указывает на то, что Святая София была специально задумана для обеспечения больших светлых пространств, необходимых для таких функций, как те, что изображены в Сан-Витале, и отчет Прокопия о ее возведении подтверждает это предположение. Согласно Прокопию, Святая София была хобби Юстиниана, который не только выбрал архитектора Анфемия, потому что он был самым гениальным механиком своего времени, но и выделил средства и “помогал ему трудом и силами своего ума”.[398] Купол “, судя по легкости здания ... кажется, что он покоится не на прочном фундаменте, а покрывает место под ним, как будто оно подвешено к небесам на легендарной золотой цепи”; а интерьер “необычайно полон света; вы могли бы заявить, что место не освещается солнцем снаружи, но что лучи исходят изнутри, такое изобилие света льется в эту церковь”.[399] Об украшениях невозможно говорить с уверенностью, поскольку, вероятно, существующие сейчас мозаики были более позднего периода.

Возможно, однако, самым значительным явлением в церкви является ее одиночество; ничего подобного нигде не строилось, и причина кажется очевидной. Был только один императорский двор, которому требовалась столь великолепная обстановка, и только один император, который мог за это заплатить. В этом заключается радикальное расхождение между Востоком и Западом; великая константинопольская скиния стояла особняком, потому что она олицетворяла

богатство, помпезность и воображение пастуха-варвара, которого судьба вырастила начальником полиции города, где сосредоточились мировые богатства. Во Франции каждая епархия имела храм, великолепный в соответствии со своими средствами, некоторые из которых превосходили по величию храмы Парижа; и причина заключалась в том, что во Франции каста артистов и наделенных воображением образовала теократию, которые не были наняты королем или императором, но которые сами были сильнейшей силой во всей стране. На Востоке проникновение воображения было недостаточно сильным, чтобы вызвать распад, и художники всегда оставались наемными работниками. На Западе общество откатилось на тысячу лет назад, и консолидация началась заново. Шесть столетий прошло между смертью Галлы Плацидии и знаменитым сном монаха Гозона, в котором содержалось откровение плана аббатства Ключни, и все же шестьсот лет никоим образом не представляли собой пропасть между франками и бургундами и Восточной империей, даже когда она пала сильнее всего при Иракии. Для Юстиниана строительство Святой Софии было вопросом времени и денег; для святого Гуго церковь Ключни была чудом.

Во Франции церкви долгое время были чудесами; хроники полны откровений, ниспосланных монахам; и никто не может переступить порог одного из этих благородных памятников и не постичь его значения. Это самое сильное из всех проявлений страха перед невидимым. Готический архитектор не обращал внимания ни на одного из ныне живущих властителей; он презирал королей и чаще представлял их низвергнутыми в ад, чем восседающими на своих тронах. С врагом, притаившимся во тьме, никто, кроме святых, не мог справиться, и их он идеализировал. Нет скульптуры более ужасной, чем демоны на стенах Реймса, нет более величественной и трогательной скульптуры, чем над дверью Богородицы в Париже, в то время как по цвету никогда не сравнятся окна Сен-Дени и Шартра.

С тринадцатым веком начался приток восточной торговли и расцвет коммун. Сразу же слава готики начала увядать; к царствованию Людовика Святого ее расцвет миновал, а при Филиппе Красивом она пришла в полный упадок. Люди, которые клали мертвых кошек в святилища, вряд ли вдохновлялись религиозной скульптурой. Разложение и его причины можно легко проследить по цвету.

Монахи, которые создавали окна двенадцатого века или рисовали изображения святых, всего лишь стремились передать эмоцию с помощью условного символа, который должен был вызвать отклик. Следовательно, они использовали чудесные сочетания цветов, в которых преобладал синий, и гармонировали со своими цветами золотом. Виоле-ле-Дюк подробно объяснил, как это было сделано.^[400] Но такая система не была претенциозной и была несовместима с перспективой. Средневековый бюргер, как и римлянин, был богат и хотел казаться таковым. За свои деньги он требовал большего, чем торжественный портрет святого. Он жаждал иметь изображение самого себя или своей гильдии, и прежде всего он настаивал на том, чтобы его выставляли напоказ. Четырнадцатый век был периодом, когда красные и желтые цвета вытеснили синие, и когда чувство гармонии начало подводить. Более того, бюргер был реалистом и нуждался в представлении мира, который он видел вокруг себя. Отсюда возникла перспектива, отказ от золота и окончательная деградация цвета, которые стали утраченным искусством. На протяжении сотен лет было невозможно подражать работе монахов Сен-Дени. В Италии экономические явления были еще более поразительными; ибо Италия, даже в средние века, всегда была коммерческим сообществом, которое смотрело на искусство экономическими глазами. Будет достаточно одного примера — обработки купола.

Оказавшись между шедеврами Востока и Запада и не обладая собственным воображением, флорентийский банкир задумал объединить две системы и украсить их дешевым и эффектным образом. Соответственно, на готических арках он поместил восточный купол и вместо того, чтобы украсить свой купол дорогостоящей мозаикой, заказал роспись интерьера примерно за четверть цены. Замена мозаики фреской - один из наиболее типичных приемов современности.

До наступления экономической эры, когда воображение пылало со всей страстью религиозного энтузиазма, монахи, строившие аббатства Ключни и Сен-Дени, не думали о деньгах, ибо они не считались с ними. Защищенные своими монастырями, они были обеспечены к существованию; их хлеб и одежда были в безопасности; они не торговали на рынке, потому что у них не было покровителя. Их искусство было не имуществом, которое можно было купить, а вдохновенным языком, на котором они общались с Богом или учили людей, и они выражали поэзию в камнях, которые они вырезали, которая намного превосходила слова. По этим причинам готическая архитектура в расцвете сил была спонтанной, возвышенной, достойной и чистой.

Появление портретной живописи обычно считалось предзнаменованием упадка, и это было справедливо, поскольку наличие портрета демонстрирует превосходство богатства. Портрет вряд ли может быть идеалом энтузиаста, как фигура бога, поскольку это коммерческий предмет, продаваемый за определенную цену и изготовленный по вкусу мецената; если бы он был сделан в угоду художнику, он мог бы не найти покупателя. Когда портреты входят в моду, экономический период, должно быть, уже далеко зашел. Портретная живопись, как и другие экономические явления, расцвела в эпоху Возрождения, и именно тогда художник, больше не защищенный своим монастырем или гильдией, начал зарабатывать себе на жизнь продажей своих товаров, подобно венецианским купцам, которых он встречал на Риалято, чьему тщеславию он льстил и чьи дворцы украшал. Начиная с шестнадцатого века, человек с богатым воображением, неспособный удовлетворить экономический вкус, голодал.

Это корыстолюбивое качество образует пропасть, отделившую искусство средневековья от искусства нового времени, — пропасть, которую невозможно преодолеть и которая с течением веков расширялась, пока, наконец, художник, как и все остальные члены общества, не стал объектом коммерческого рынка, подобно тому как грек был продан в рабство римскому плутократу. С каждым изобретением, с каждым ускорением движения проза все более полно вытесняла поэзию, в то время как экономический интеллект становился все менее терпимым к любому отклонению от тех представлений о природе, которые привлекали наиболее одаренных представителей богатого типа среди последующих поколений. Отсюда властность современного реализма.

Таким образом, история искусства совпадает с историей всех других явлений жизни; ибо опыт показал, что со времен Реформации архитектурная школа, подобная греческой или готической, стала невозможной. Никакая такая школа не могла существовать в обществе, где воображение пришло в упадок, поскольку греческий и готический языки олицетворяли идеалы воображения. В экономический период, подобный тому, который последовал за Реформацией, богатство - это форма, в которой энергия ищет выражения; поэтому с конца пятнадцатого века архитектура отражала деньги.

Виоле-ле-Дюк сказал о римлянах, что, подобно всем парвеню, истинное выражение искусства заключалось для них скорее в пышном орнаменте, чем в чистоте формы,^[401] и то, что было верно для третьего века, верно и для девятнадцатого. Поскольку тип мышления один и тот же,

его функционирование должно быть схожим, а экономика, одновременно показная и скупая, создает дешевую сердцевину, фантастически украшенную. Римляне возводили пародию на греческую колоннаду на вершине бани или амфитеатра, в то время как англичанин, лишивший более слабые нации их драгоценных камней воображения, наслаждается тем, что покрывает грубыми имитациями фасад банков и контор.

И все же, несмотря на такое сходство, римская архитектура отличается от нашей глубокой разницей; римляне никогда не были полностью грязными и никогда не придирались. Когда они строили стену, эта стена была цельной каменной кладкой, а не крашеным железом; и даже до Константина оставалась одна струна, которая при ударе всегда вибрировала. Ростовщики, возможно, и заседали в Сенате, но легионы заполняли варвары, и, пока триумфальная процессия проходила по Форуму, люди знали, как воздвигать триумфальные арки в честь победителя. Пожалуй, за все века не было задумано более серьезного и величественного памятника в память о солдате, чем колонна Траяна, памятник, скопировать который было честолубивой целью нашего века.

В Париже имитация этого трофея была воздвигнута величайшему полководцу Франции, а колонна на Вандомской площади служит памятником могиле современного воина крови. Возникший в 1810 году, почти в тот момент, когда Натан Ротшильд стал деспотом Лондонской фондовой биржи, прилив оттуда пошел быстро, и, начиная с Седана, нынешнее поколение до дна осушило чашу реализма.

Никакая поэзия не может расцвести на засушливой современной почве, драма умерла, и покровители искусства больше даже не испытывают стыда за то, что оскверняют самый священный из идеалов. Экстатический сон, который какой-то монах двенадцатого века вырезал на камнях святилища, освященного присутствием его Бога, воспроизведен для украшения склада; или план аббатства, которое, возможно, освятил святой Гуго, приспособлен для железнодорожной станции.

Десятилетие за десятилетием, на протяжении примерно четырехсот лет, эти явления становились все более заметными в Европе, и, поскольку консолидация, по-видимому, приближается к своей кульминации, искусство, похоже, предвещает приближающийся распад. Архитектура, скульптура и чеканка монет Лондона конца девятнадцатого века, если сравнивать их с Парижем времен Людовика Святого, напоминают Рим Каракаллы в сравнении с Афинами Перикла, за исключением того, что у нас нет потока варварской крови, которая создала Средневековье.

[Сноски]

[1] *История Рима*, Моммзен, пер. Диксона, i. 288, 290.

[2] *История Рима*, Нибур, пер. Хареса, i. 576. В тексте соблюден Нибур, хотя "нексум" является одним из спорных пунктов римского права. (See *Über das altrömische Schuldrecht*, Savigny.) Точная форма договора, однако, возможно, не очень важна для рассматриваемого вопроса, поскольку большинство ученых, по-видимому, согласны с тем, что он напоминал ипотеку,

нарушение условия которой влекло за собой не только потерю залога, но и личную свободу должника. См. *Гай*, iv. 21.

[3] *История Рима*, Нибур, пер. Хареса, ii. 599. Но сравните *Авла Геллия*, хх. 1.

[4] *Там же.*, i. 582.

[5] *История Рима*, Нибур, пер. Хареса, i. 583.

[6] *История Рима*, Моммзен, пер. Диксона, i. 472.

[7] *Ливи*, xlv. 18.

[8] *История Рима*, Нибур, пер. Хареса, i. 583.

[9] *Там же.*, ii. 603.

[10] *История Рима*, Нибур, пер. Хареса, i. 574.

[11] Предисловие к *Вирджинии*.

[12] *История Рима*, Моммзен, пер. Диксона, i. 484.

[13] См. *Историю Рима*, Моммзен, пер. Диксона, i. 298-9.

[14] См. *Историю Рима*, Нибур, пер. Хареса, iii. 22, 30.

[15] Предисловие к *Вирджинии*, Маколей.

[16] *История Эсклаважа*, Валлон, ii. 38.

[17] *Сало. август.*, ii. 41.

[18] *Тацит, Апп.*, ii. 48.

[19] *Апп.*

[20] *Там же.*, iv. 21.

[21] *Сб.*, iii. 164.

[22] *Немецкое вторжение*, Фустель-де-Куланж, 146-157.

[23] *Диод.* xxxiv. 38. О сицилийском рабстве см. *Историю Эсклаважа*, Валлон, ii. 300 и далее.

[24] *Полибий*, ii. 15, пер. Шукбурга.

[25] *Провинции Римской империи*, Моммзен, ii. 233.

[26] *Там же.*, ii. 239.

[27] *Дейпнософисты*, v. 37.

[28] *Мартиал, Ер.*, xii. 76.

[29] *Вопискус, Аврелиан*, 35.

- [30] *Немецкое вторжение*, Фустель-де-Куланж, 190.
- [31] *Le Colonnat Romain: Recherches sur quelques Problèmes d'Histoire*.
- [32] *Финансовая организация Роменского университета*, Марквардт, 65 и далее.
- [33] Тацит, *Энн*, пер. Мерфи, iii. 53.
- [34] *Nat. История.*, xii. 18.
- [35] *Вопискус, Сатурнин*, 8.
- [36] *Провинции Римской империи*, Моммзен, ii. 140.
- [37] *Энн.*, vi. 16, 17.
- [38] See *Geschichte des Römischen Münzwesens*, Mommsen, 756.
- [39] *Monnaies Byzantines*.
- [40] *Византийцы Монне, Сабатье*, i. 50.
- [41] *Geschichte des Römischen Münzwesens*, Mommsen, 837.
- [42] *Византийские монахи, Сабатье*, i. 51, 52.
- [43] *Pliny's Letters*, iii. 19.
- [44] *Там же.*, ix. 37.
- [45] *Дайджест*, xix. 2, 15 и xxxiii. 7, 20.
- [46] *Письма*, x. 24. Обо всем этом см. *Полковник Ромен: Исследования по решению проблем истории*, Фустель де Куланж, глава i.
- [47] *Кодекс Юстиниана*, xi. 51, 1.
- [48] *Ле Колонат Ромен*, Фустель-де-Куланж, 21.
- [49] *Organisation Financière chez les Romains*, Marquardt, 240; *Les Manieures d'Argent à Rome*, Deloume, 377.
- [50] См. *Упадок*, гл. xvii.
- [51] В С. *Verrem*, IV. lxxxix.
- [52] *Письма Цицерона*, Ad Att. vi. 2; также Ad Att. v. 21 и vi. 1.
- [53] Диод. xxxvi. 3. См. также *Историю Эсклаважа*, Валлон, ii. 42, 44.
- [54] *Сатира*, viii. 89, 90.
- [55] *Буквы*, viii. 24.
- [56] *Дион Кассий*, lxii. 2.

- [57] *Nat. Истoрия.*, xiv., *ProœMium*.
- [58] *Упадок*, глава xvii.
- [59] *Мoраль*, *Пер.* 1718, 4, 11.
- [60] *Истoрия Эсклаважа*, iii. 268.
- [61] *Упадок*, глава xii.
- [62] *Немецкое вторжение*, 200, 204, 223.
- [63] *Дион Кассий*, глава 7.
- [64] *Дион Кассий*, lvi. 5-8.
- [65] *Энн.*, iii. 25.
- [66] *Там же.*, хxviii. Латинская литература полна ссылок на эти знаменитые законы. Тацит, Плиний, Ювенал и Марциал постоянно говорят о них. Было также много комментариев к ним римских юристов.
- [67] *Военная организация chez les Romains*, Марквардт, 143.
- [68] *Дион Кассий*, lxxiv. 2.
- [69] *Византийцы Монне*, Сабатье, i. 50.
- [70] *Истoрия Византийской империи*, Финли, 9.
- [71] *Вопискус*, *Тацит*, 10.
- [72] *Греция под властью римлян*, Джордж Финли, 214.
- [73] *Византийская империя*, Финли, 256.
- [74] *Византийская архитектура*, Тексье, 24.
- [75] *Склоняться к упадку*, глава ii.
- [76] *Маршрут раввина Бенджамина из Туделы*, перевод. с иврита Ашера, 54.
- [77] *Византийские монахи*, i. 26.
- [78] См. Договор с Боэмундом. Анна Комнина, xiii. 7.
- [79] *Византийское искусство*, Байет, 16, 17.
- [80] *Библия.*, iii. 661.
- [81] *Упадок*, глава хх.
- [82] Отметить ст. 28, 30.
- [83] *Хроники*, ii. 124.

- [84] *Англиканский раскол*, Сандер, пер. Льюис, 143.
- [85] *Реляция или, скорее, правдивое описание острова Англия*, Camden Soc. 30.
- [86] *Кал. х. № 364*. Ссылки на календарь государственных документов, отредактированный господами Брюером и Гэрднером. Будут сделаны только этим словом.
- [87] *История таинства Евхаристии*, Corblet, i. 474. Смотри также по этому вопросу *Диалог Чудес Цезаря; О теле Христовом*.
- [88] *Hist. Lit. de la France*, xii. 119.
- [89] *Лез-Муан-д'Окцидент*, Монталамбер, vi. 34.
- [90] *Histoire de la Grande-Sauve*, ii. 13.
- [91] *Монастикон*, v. 628, Изд. 1846.
- [92] *Лез-Мойн-д'Окцидент*, Монталамбер, vi. 101.
- [93] *Священническое безбрачие*, Lea, 129.
- [94] *Анналы Лаврессанса*, Перц, i. 188.
- [95] *Recueil des Chartes de l'Abbaye de Cluny*, Bruel, i. 124.
- [96] *Бычий текст. Клун.*, стр. 2, кол. 1. Также *Управление французских учреждений*, Люшер, 93, 95, где собраны представители власти.
- [97] *Церковные анналы*, Бароний, 1076 год.
- [98] Migne, cxlviii. 790.
- [99] *Склоняться и падать*, гл. ix.
- [100] *Архитектурный словарь*, v. 50.
- [101] *Церковные анналы*, Бароний, 1095 год.
- [102] *Семья Дальнего Мира*, изд. Рей, 3.
- [103] *Словарь архитектуры*, viii. 108.
- [104] *Арабское искусство*, 111 и далее.
- [105] *Арабское искусство*, 203.
- [106] *Меланж*, 458.
- [107] См. *Архитектурный словарь*, Виоле-ле-Дюк, vi. 446.
- [108] See *Les Églises de la Terre Sainte*, Vogüé, 217; *Notre Dame de Noyon*; *Études sur l'Histoire de l'Art*, Vitet, ii. 122; *Dictionnaire de L'Architecture*, Viollet-le-Duc, ii. 301.
- [109] *История. des Croisades*, xii. 7.

- [110] Смотрите, сирийские замки, *Этюд памятников военной архитектуры на набережной Круаз-ан-Сирия*, Реу.
- [111] Письмо 363, изд. 1877, Париж.
- [112] *Санкти Бернарди, Жизнь и возрождение*, Аукторе Гильельмо, 1-3.
- [113] *Вторая жизнь С. Бернарди Аукторе Алано*, вів.
- [114] *Exordium Magnum Cisterciense*, viii.
- [115] № 363 и 423, изд. 1877 г., Париж.
- [116] Письмо 363.
- [117] *Де Вита С. Бернарди, Аукторе Гауфридо*, iv. 5.
- [118] Письмо 256, изд. 1877 г., Париж.
- [119] *История. des Croisades*, xvi. 25.
- [120] *История. des Croisades*, xvi. 27.
- [121] *О рассмотрении*, ii. 1.
- [122] *Виллам Турский*, xvi. 11, 12.
- [123] *Семья Аутре-Мер, Дю Канж*, 405.
- [124] *История торговли Франции*, 132.
- [125] *История торговли Леванта*, Хейд, французский перевод, i. 163.
- [126] *История Леванта*, Хейд, французский перевод, i. 95.
- [127] Смотрите, по этому вопросу о более дешевых деньгах в период Карловингов, *Новый Мануэль Нумизматик*, Бланше, i. 101; также *История торговли Франции*, Пиджонно, 87 и далее.
- [128] *Монете-ди-Венеция*, Пападополи, 73.
- [129] *Вилле-Ардуэн*, изд. Уэйлли, xiv. 65.
- [130] *Тамже*.
- [131] *История Франции*, XIX. 23.
- [132] *Patrologiæ Cursus Completus*.
- [133] *Historiens de la France*, xix. 421.
- [134] *Хроника*, изд. Бюшон, 44.
- [135] *Вилле-Ардуэн*, изд. Бюшон, 51.
- [136] *Хроника Виль-Ардуэна*, изд. Бюшон, 69.

- [137] *Хроника*, изд. Уэйлли, xxxvii. 178.
- [138] *Хроника*, изд. Уэйлли, лии. 239.
- [139] *Хроника*, изд. Бюшон, 96.
- [140] *Хроника*, изд. Бюшон, 99.
- [141] *Полный курс патрологии*, Migne, ccxv. 454.
- [142] *Migne*, ccxv. 712.
- [143] *Historia Captæ a Latinis Constantinopoleos*, Migne, ccxii. 19.
- [144] *Библия. de l'École des Chartes*, 3d series, ii. 353.
- [145] *История Аббая де Сен-Дени*, Д'Айзак, i. 361-9.
- [146] *Ви де Луи ле Гро*, Шугер, изд. Молинье, 61, 62.
- [147] *Ви де Луи ле Гро*, Шугер, изд. Молинье, 70.
- [148] *Там же.*, 18.
- [149] Шугер, изд. Молинье, 18 лет.
- [150] *Там же.*
- [151] *Этюды о происхождении коммуны Сен-Кантен*, Жири, 9.
- [152] Смотрите *Этюды о ярмарках Шампани*, Буркло, 72, 74; и вообще по этому вопросу.
- [153] *Французские коммуны*, Люшер, 221-225.
- [154] *Французские коммуны*, Люшер, 85.
- [155] *Французские коммуны*, Люшер, 233-234.
- [156] *Французские коммуны*, Люшер, 260.
- [157] *Documents sur les Relations de la Royauté avec les Villes de France*, Giry, 59, 61.
- [158] *Французские коммуны*, Люшер, 189.
- [159] *Руководство французских институтов*, Люшер, 535.
- [160] *Французские коммуны*, Люшер, 283.
- [161] *Воспоминания герцога де Сен-Симона*, изд. 1874, xii. 19.
- [162] *Торговая палата Марселя в Муайен-Эдж*, Бланкар, 3.
- [163] *La Libertà delle Banche a Venezia*, Латте, 26.
- [164] *Крупнейшие коммерческие компании*, Боннасье, 23.
- [165] *Взаимопонимание между мужчинами и женщинами в Сент-Луисе*, Маршевиль, 22, 33.

- [166] *Там же.*, 42.
- [167] *Французские коммуны*, 200, 201.
- [168] Документы, относящиеся к спору, опубликованы в "*Истории различий*", Дюпюи.
- [169] Дюпюи, 48.
- [170] *Там же.*, 44.
- [171] См. Письма Бове и Лана от 1303 г., *Документы*, Жири, 160.
- [172] Дюпюи, 55.
- [173] Дюпюи, 351. Статьи представлены в июне 1303 года.
- [174] См. *Хронику Виллани*, viii. 63.
- [175] *Хроника Виллани*, viii. 80. Также *Ann. Eccl.*, Барониус, 1305 год.
- [176] *Documents Inédits sur l'Histoire de France, Procès des Templiers*, Michelet, i. 166.
- [177] *Процесс тамплиеров*, Мишле, i. 37.
- [178] *Там же.*, 264.
- [179] *Там же.*, 75.
- [180] *Хроника Виллани*, viii. 92.
- [181] *Продолжение хроники Гильельми де Нанжьяко*, msscxiii.
- [182] *Дом Тампля*, Керзон, 200, 204.
- [183] *История сельского хозяйства и цен*, Дж. Э. Торольд Роджерс, iv. 72.
- [184] *Об обосновании*, Сочинения, i. 60.
- [185] *Об обосновании*, Сочинения, i. 51.
- [186] *Институты*, I. vii. 1 и 5.
- [187] *Цвинглисская теология*, Август Баур, 319, 320.
- [188] *Институты*, IV. viii. 9.
- [189] *Джон Уиклиф и его английские предшественники*, Лехлер, англ. пер., 302.
- [190] Лехлер, 349, примечание 1.
- [191] Лехлер, 348, примечание. Выдержка из *Евангелия от Евхаристии*.
- [192] *Акты и памятники*, iii. 204, 205.
- [193] "*Похвала Фоли*", 1541. Переведено на английский сэром Томасом Чаллонером.
- [194] *Парл. История.*, Коббетт, i. 295.

- [195] *Там же.*, 310.
- [196] *Молитвенник для попрошайек*, 2. Начало на английском. Текст Соч.
- [197] *Акты и памятники*, v. 404.
- [198] *Там же.*, iii. 218.
- [199] *Акты и памятники*, iv. 196.
- [200] *Сельское хозяйство и цены*, iv. 18.
- [201] *Реформация Англиканской церкви*, Блант, ii. 222.
- [202] *Акты и памятники*, iv. 706.
- [203] *Промышленная и коммерческая история Англии*, Роджерс, 48.
- [204] *Сельское хозяйство и цены*, iv. 715.
- [205] *Сельское хозяйство и цены*, iv. 454.
- [206] *Там же.*, iv. 200. Средние цены на зерно приведены в таблицах в томах i. 245 и iv. 292.
- [207] *Сельское хозяйство и цены*, iv. 734.
- [208] Шапюи - Гранвилл, *Калифорния* ix. № 862. Государство статей под редакцией гг. Пивовар или садовником обозначаются словом “кал”.
- [209] *Акты и памятники*, v. 365.
- [210] *Государственные документы*, ii. 552.
- [211] *Хроники*, 1, clxvii.
- [212] Шапюи - Перрено, *Кал.* x. № 901.
- [213] См. *Анну Болейн*, Фридман, i. 43 и в других местах.
- [214] *Кал.* x. № 908.
- [215] *Берли и его время*, Очерки.
- [216] *Кал.* vii. № 296.
- [217] *Там же.*, xi. № 576, Шапюи - Шарлю.
- [218] *Там же.*, xi. № 576.
- [219] *Там же.*, xi. № 864.
- [220] *Cal.* xi. № 1045.
- [221] *Cal.* xi. № 729.
- [222] *Там же.*, xi. № 826.

[223] *Там же.*, xii. часть первая. № 698.

[224] *Cal.* xii. pt. i. № 976.

[225] *Марийяк в Коннетабле*, Каулек, 211.

[226] *Акты и памятники*, v. 180.

[227] *Cal.* viii. № 726.

[228] *Сандер*, пер. Льюиса, 119.

[229] *Государственные документы*, i. 538.

[230] *Cal.* xii. pt. i. № 498.

[231] Каулек, 193, 194.

[232] *Там же.*, 82.

[233] *Кал.* x. № 909.

[234] Каулек, 274; *Сандер*, Льюис, 162, и примечание 2.

[235] Каулек, 50.

[236] *Письма Генриха VIII и Анны Болейн*, Креплет, Письмо 3.

[237] Каулек, 199.

[238] *Акты и памятники*, ст. 229.

[239] *История Англии*, глава 1.

[240] *Подъем и разрастание англиканского раскола*, *Сандер*, пер. Льюис, 161.

[241] *Шапюи Шарлю*, *Кал.* vi. № 1510, дата декабрь 1533 г.

[242] *Проповеди*, Корри, 49.

[243] *Проповеди*, Корри, 56, 58.

[244] 31 Генрих VIII., ок. 14.

[245] *Акты и памятники*, ст. 368, 369.

[246] *Кал.* x. преф. xliii.

[247] Смотрите ссылки на оригинальные источники в книге *"Генрих VIII". и английские монастыри*, Гаске, i. 454, и примечание.

[248] *Кал.* ix. № 622. В *Календаре* это письмо сокращено. Полностью выдержка приведена в Gasquet, i. 261, 262.

[249] *Там же.*, № 630. Полностью в книге Гаске, i. 263.

- [250] Там же., № 630.
- [251] *Генрих VIII. и английские монастыри*, i. 439.
- [252] *Кал.* ix. № 42.
- [253] *Кал.* x. предисловие к xlv. примечание.
- [254] Там же., ix. № 1005.
- [255] Там же., ix. № 1005.
- [256] *Кал.* x. № 364.
- [257] Там же., № 1191.
- [258] Там же., № 364.
- [259] Там же., № 1191.
- [260] *Обряды Дарема*, Surtees Soc., 86.
- [261] Райт, 260.
- [262] Эллис, 1-я серия, ii. 99.
- [263] Райт, 261, 262.
- [264] Эллис, 1-я серия, ii. 99.
- [265] *Сельское хозяйство и цены*, iv. 64.
- [266] 6 Генрих VIII, ок. 5; 7 Генрих VIII, ок. 1.
- [267] *Драгоценность радости*, Бекон. Также *Англия в правление Генриха VIII.*, ранняя Англия. Текст Собр., Дополнительная серия, № xxxii. стр. 75.
- [268] *Первая проповедь перед Эдуардом VI. Проповеди епископа Латимера*, изд. Паркер Соц., 100, 101.
- [269] 22 Генрих VIII., ок. 12.
- [270] 27 Генрих VIII., ок. 25.
- [271] 1 Эдуард VI., ок. 3.
- [272] Брит. Муз., Коул, МИСС xii. 41. Цитируется в *Генрих VIII. и английские монастыри*, Гаске, ii. 514, примечание.
- [273] *Escl. Met.*, ii. pt. 1, 260.
- [274] Проповедь о восстании, Кранмер, *Разные сочинения и письма*, 194-6.
- [275] Проповедь о восстании, Кранмер, *Разные сочинения и письма*, 195, 196.
- [276] *Кал.* ix. № 193.

- [277] *Eccl. Met.*, ii. pt. 1, 152.
- [278] 5 и 6 Ред. VI., с. 2.
- [279] *Письма и речи Кромвеля*, Карлайл, Речь XI.
- [280] Роли - Берли, *Жизнь сэра Уолтера Роли*, Эдвардс, ii. 76, письмо xxxiv.
- [281] *Реформация Англиканской церкви*, ii. 68.
- [282] *История Англии*, v. 432.
- [283] Подборки Реформации Горэма, 61.
- [284] Диспут Ридли в Оксфорде в 1554 году, *Акты и памятники*, vi. 474.
- [285] *Благочестивое послание к верующим*, *Труды*, iii. 176.
- [286] *Там же.*, 177.
- [287] *Верное предостережение*, *Труды*, iii. 283.
- [288] *Там же.*, iii. 281, 282.
- [289] *Об истинном послушании*, изд. Хейвуда, 73.
- [290] *Учреждение христианина*, Предисловие, "*Формулы веры Генриха VIII*", Ллойд, 26.
- [291] Смотрите *Историю реформации Бернета*, *записи*, часть I. книга iii. задание. 9.
- [292] *S. P. Dom.* Издание. том 176, № 69.
- [293] *Цюрихские письма*, 1-я серия, 287.
- [294] *Доработать законопроект и книгу, представленные в парламенте 1586 года, для дальнейшего реформирования церкви*, *S. P. Dom.* Элиза. 199, № 1.
- [295] *История людей, не являющихся присяжными заседателями*, Латбери, 50.
- [296] См. *Историю Реформации*, Бернет, изд. Покока. *Записи*, часть I. книга III. задание 9.
- [297] *История Англии*, ч. 1.
- [298] *История Англии*, глава iii.
- [299] *Там же.*, глава vi.
- [300] *История Англии*, глава xiv.
- [301] *Королевская конференция по поводу окончания Следующей Седмицы и т.д.*, 1584. *Государственные документы*, *Дом. Элизиум.*, 176, № 69.
- [302] *История Англии*, глава iii.
- [303] *Кал. х.*, № 570.

- [304] *Посольства*, v. 150. Цитата из *Истории Англиканской церкви*, Диксон, iv. 450.
- [305] *Притворный развод Генриха VIII.*, Харпсфилд, Общество Камдена, 291.
- [306] *"История реформации"* Бернета, изд-во Покока, i. 428.....
- [307] *Там же.*, iii. 376.
- [308] *Реформация* Бланта, i. 475.
- [309] *Англиканский раскол*, Сандер, пер. Льюиса, 181. Также *притворный развод Генриха VIII.*, Харпсфилд, 290.
- [310] *Акты и памятники*, ст. 230.
- [311] *Сельское хозяйство и цены*, Роджерс, против 804.
- [312] *История Англии*, viii. 425.
- [313] *Влияние морской державы на историю*, Махан, 41.
- [314] *Английские моряки шестнадцатого века*, 6.
- [315] *Anderson's History of Commerce*, i. 400. в
- [316] *S. P. Dom. Элизабет.*, 53.
- [317] *Богатство наций*, книга 4, глава i.
- [318] *Рассуждения о торговле*, Child, изд. 1775, 8.
- [319] *История Англии*, глава iii.
- [320] *Рассуждения о торговле*, Джосайя Чайлд, изд. 1775, 8, 9, 10.
- [321] *Там же.*, Преф. xxxi.
- [322] *Там же.*, 41.
- [323] *Американская биография*, sparks, ii. 388.
- [324] *"Богатство наций"*, bk. iv. c. 3, pt. 1.
- [325] *Государственные документы Терлоу*, v. 433, 434.
- [326] *Анналы чеканки монет Британии*, Рудинг, iii. 378.
- [327] *Анналы чеканки монет*, Рудинг, iii. 470.
- [328] *Расследования в области валюты и финансов*, Джевонс, 140.
- [329] *Анналы чеканки монет*, Рудинг, iv. 26.
- [330] *"Богатство наций"*, bk. iv. c. 1.
- [331] *"Богатство наций"*, bk. ii. c. 2.

[332] *Лорд Клайв.*

[333] Эссе Маколея в последнее время подвергались многочисленной негативной критике; но в отношении разграбления Индостана против него не было выдвинуто ничего существенного. Ко всем недавним историческим работам, касающимся Индии, следует относиться с подозрением. Все официальное влияние было направлено на искажение доказательств, чтобы оправдать правительство.

[334] *Лорд Клайв.*

[335] *Лорд Клайв.*

[336] *Уоррен Гастингс.*

[337] *История производства хлопка*, 115.

[338] *Путешествие по всему острову Великобритании*, изд. 1753, iii. 136, 137.

[339] *Жизни Бултона и Уотта*, Смайлс, 484.

[340] *Первое письмо о Цареубийственном мире.*

[341] *Теория и практика банковского дела*, i. 507.

[342] *Соображения о снижении интереса. Сочинения*, изд. 1823, т. 49.

[343] *Ротшильды*, Ривз, 51.

[344] *Ротшильды*, Ривз, 192, 199.

[345] *Там же.*, 200.

[346] Везде, где делаются ссылки на сравнительные цены товаров, используются таблицы, опубликованные У. С. Джевонсом в *Исследованиях в области валюты и финансов*, стр. 144.

[347] *Анналы чеканки монет*, Рудинг, iv. 37.

[348] *Тракты Оверстоуна*, 49.

[349] *История цен*, i. 158.

[350] *Политическая жизнь сэра Роберта Пила*, Doubleday, i. 218, примечание.

[351] *Теория и практика банковского дела*, Маклеод, изд. 1893, ii. 103.

[352] Смотрите "Хансард", Новая серия, viii. 189.

[353] *История Банка Англии*, i. 348.

[354] *История Банка Англии*, i. 347.

[355] *История валюты*, Макларен, 161.

[356] *Теория и практика банковского дела*, Маклеод, ii. 117, 118.

- [357] *Тракты Оверстоуна*, 325.
- [358] *Там же.*, 191.
- [359] *Там же.*, 318.
- [360] *Теория и практика банковского дела*, ii. 147.
- [361] *Оверстоунские тракты*, 573, 574.
- [362] *Кобден и Лига*, Эшворт, 174.
- [363] *Теория и практика банковского дела*, Маклеод, ii. 169, 170.
- [364] "Хансард", Третья серия, хсv. 399.
- [365] *Теория и практика банковского дела*, ii. 170.
- [366] "Хансард", Третья серия, хсv. 398.
- [367] *Оверстоунские тракты*, 319.
- [368] См. *Журнал Роя. Статистика. Soc.*, liv. 464.
- [369] Описание 1891 года, 261.
- [370] *Ежегодник экономической политики*, 1894, Блок, 18.
- [371] *Французское население*, ii. 214.
- [372] *Отчет комиссии, назначенной в Индии для расследования причин беспорядков, имевших место в 1875 году в округах Пуна и Ахмеднагар Бомбейского президентства*, 12.
- [373] *Отчет комиссии, назначенной в Индии для расследования причин беспорядков, имевших место в 1875 году в округах Пуна и Ахмеднагар Бомбейского президентства*, 159.
- [374] *Отчет Комиссии и т.д.*, 25, 26.
- [375] *Там же.*, 167.
- [376] *Отчет Комиссии и т.д.*, 168.
- [377] См. *Мусульмане и ростовщики в Пенджабе*, Торберн.
- [378] *Отчет Комиссии и т.д.*, 168.
- [379] См. *Краткую историю индейских народов*, Хантер, 50.
- [380] См. *Историю римлян*, изд. 1852 г., Меривейл, ii. 81, где собраны авторитетные источники.
- [381] *Plutarch's Lives*, пер. Клафа, iv. 123.
- [382] *Там же.*, 298.
- [383] *Там же.*, 142.

- [384] Бытие xxxiv. 11, 12.
- [385] Аристотель, *Пол.*, ii. 9.
- [386] *Жизнеописания* Плутарха, пер. Клафа, iv. 507.
- [387] *Королева фей*, Спенсер, iv. 5, 1.
- [388] *Entretiens sur l'Architecture*, i. 102.
- [389] *Ann.*, xv. 44.
- [390] *Ann.*, xv. 44.
- [391] *Марк-Орель*, Ренан, 600.
- [392] Тертуллиан, *Объявление Скапулама*, 5.
- [393] *L'Antechrist*, 163 и далее.
- [394] *Études sur l'Histoire de l'Art*, Vitet, i. 200.
- [395] *Батистовое искусство, Византийский дворец*, Шуази, 5, 6.
- [396] *Recherches pour servir à l'Histoire de la Peinture et de la Sculpture Chrétiennes en Orient*, Bayet, 99.
- [397] *Там же.*, 99.
- [398] *Здания Юстиниана*, Прокопий, пер. автор: Стюарт, i. 1.
- [399] *Там же.*
- [400] *Словарь архитектуры*, арт. "Peinture."
- [401] *Entretiens*, i. 102.